

ГРАНИ

GRANI

174

1994

Verlagsort: Frankfurt/M, Oktober-Dezember

”ГРАНИ”

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; почти полвека журнал способствовал публикации произведений, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в ”Гранях” были опубликованы произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Еунина, Г. Владимирова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского, Н. Заболоцкого,
Б. Зайцева, Е. Замятина, Н. Коржавина,
В. Корнилова, А. Куприна, С. Левицкого,
Н. Лосского, В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского, А. Платонова,
Г. Подъяпольского, Р. Редлиха, А. Ремизова,
Ф. Светова, А. Солженицына, В. Солоухина,
В. Тарсиса, М. Цветаевой, И. Шмелева,
В. Шульгина и многих других отечественных и
эмигрантских авторов.

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь способствуя публикации произведений, помогающих освобождению от остатков тоталитаризма в душах людей и восстановлению прерванных им традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947 - 1952 Е. Р. Романов

1952 - 1955 Л. Д. Ржевский

1955 - 1961 Е. Р. Романов

1962 - 1982 Н. Б. Тарасова

1982 - 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984 - 1986 Г. Н. Владимов

Главный редактор
Е. А. Самсонова-Брейтбарт

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLIX

№ 174

1994

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Александр ЗАКУРЕНКО
Иринола. Вечер с одалиской (Рассказы) 5
- Виктор ОБУХОВ
Обрывки 1994 года (Стихи) 58
- Алексей ВАРЛАМОВ
Старое. Тутаев. Чистая Муся. (Рассказы) 67
- Алексей КУБРИК
"Параллельные места" (Стихи) 99

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Евгений БЛАЖЕЕВ
Роман Булгакова как опыт русской бездны 109
- Мария ШНЕЕРСОН
По разным дорогам – в одном направлении
(А. Твардовский – А. Солженицын) 126

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- Леонид КЕРБЕР (Г. ОЗЕРОВ)
На воле (Вторая часть воспоминаний автора
"Туполевской шараги") 164
- Сергей БЕЛОВ
Новое о Ф. М. Достоевском в архивах США 225

ЭКОНОМИКА

Борис ГАБЕ

Социальная сторона проблем российской экономики
(Окончание. Начало в предыдущем номере)

242

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Владимир МАХНАЧ

Имперская традиция в России

275

Сергей ФЕДЯКИН

"Литература для себя" или

Когда психология вытесняет культурологию

298

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Николай ОСИПОВ

Святые демоны

(В. М. Зензинов. "Пережитое". Изд. им. Чехова.
Нью-Йорк, 1953)

303

СОДЕРЖАНИЕ "ГРАНЕЙ" №№ 171-174 за 1994 год

309

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Александр ЗАКУРЕНКО

Иринола

Рассказ

По матери он был Себастьян, по отцу – Иоган. После победы третьего Рима над Рейхом с тем же порядковым номером мать и отец Цыплеры представили собой две Германии: мать – новую и справедливую восточную, отец – по-прежнему злобную, эксплуатирующую всё на своем пути западную. Так оно потом и вышло. Когда после всех громких дел в странной чужой стране немцев выпустили из поволжских резерваций, мать поехала в Лейпциг – к старому отцу-штурмовику, а отец – в Бонн, к старой матери-нацистке. Разобраться с сыном они не смогли, отец милостиво предлагал ребенка законной родительнице, та же считала, что сыну лучше жить с отцом. Так что семья разъехалась, а сын остался. И фамилия его осталась прежней – Цыплер. Соловьиным посвистом она несколько смягчала арийский суверенитет, но Цыплер жизнью решил доказать, что даже с фамилией Цыплер можно стать человеком.

Им он и стал, достигнув шестнадцати лет. В доказательство успеха ему вручили паспорт. При этом из Иогана Себастьяна Цыплера вышел вполне приличный Иван Северьянович Цыплер. В кругу же друзей, вспомнив Цыплера изначального, юный неофит показывал свидетельство о рождении. Делал он это исключительно ради смеха. Друзья по-

нимали его и – смеялись, оправдывая тем самым назначение подобных документов. Экстремисты требовали вручать новорожденным гражданам одновременно со свидетельствами о рождениях и свидетельство о собственных кончинах, положив тем самым конец мистике и чертовщине, пацифисты вздыхали, сожалея о столь раннем уходе добропорядочного немца Иогана Себастьяна, но радовались появлению настоящего русского – Ивана Северьяновича Цыплера.

Цыплер блестяще закончил столичный университет по классу романо-германской филологии, к двадцати семи годам защитил кандидатскую диссертацию и сел писать докторскую. Докторская, правда, обескуражила не только начальство, но и его самого. Рабочее название диссертации звучало так: "О хоровом пении в православных храмах", и на вопрос научного руководителя – какое, собственно, отношение имеет романо-германская филология к православным культам? – Цыплер отвечал, что именно разгадке этого вопроса он посвятит свой научный труд.

Цыплера не тронули, поскольку мать его вышла большим партийным работником у себя в Германии, а отец неожиданно обнаружил в душе писательский талант, после чего выпустил несколько нашумевших книг о далеком Поволжье. В книгах Цыплер-старший клеймил фашизм, тосковал о русских степях и почему-то прославлял Сталина и Мао Цзе дуна.

Иван Северьянович оставался спокоен в суматохе известий. Родители давно ушли из его жизни, заботиться ему было не о ком, жил он в центре столицы, в большой двухкомнатной квартире, писал докторскую и приближался к тридцатилетнему юбилею, доказав трудовой жизнью, что и Цыплер может стать человеком. На письма родителей он не отвечал, потому что их не было.

По роду своей деятельности Ивану Северьяновичу часто приходилось заглядывать в церкви. В одном из храмов он познакомился и сблизился с о. Александром. Они были одних лет, святой отец также легко поднимался по иерархической лестнице, они нравились друг другу и чем дальше, тем чаще Цыплер приглашал о. Александра к себе на чашечку чая. Не брезговали они и коньяком, и водкой, но, разумеется, в самых скромных и безболезненных дозах. Креститься Цыплер не хотел по двум причинам. Во-первых, он боялся испортить этим шагом свою научную карьеру, во-вторых, он и сам толком не мог понять, верит ли он в Бога, а если верит, то в какого, и долгие разговоры с о. Александром были больше интеллектуальной разрядкой для него, чем духовной необходимостью. Часто они беседовали на французском, немецком, любили итальянский, латынь и, к чести батюшки, лишь в немецком будущий доктор Цыплер мог блеснуть филологическим превосходством. Так бы и шла дальше жизнь Ивана Северьяновича, если бы не один случай и, как позднее скажет о. Александр, если бы не Божественное Провидение.

После возвращения из Будапешта без пяти минут доктор наук И. С. Цыплер сидел в валютном ресторане сердца России. В капстраны его не пускали, побаиваясь провокаций со стороны верующих буржуев, в братской же Венгрии доклад о протопопе Аввакуме вызвал сенсацию, и Иван Северьянович совершенно неожиданно получил заказ от одного иностранного издателя с золотым зубом вместо зуба мудрости, а вслед за заказом — аванс.

Цыплер пылко поглощал волшебные деликатесы, изредко попивая виски из тяжелого хрустального бокала, как вдруг ощутил на себе пристальный взгляд. Он шел из темного угла. Там стоял отдельный столик с проступающей сквозь мрак

табличкой – "Заказной". Иван Северьянович всмотрелся, зацепился за изучающие его зрачки и вздрогнул. Подобных глаз он в жизни еще не встречал. Видимо, глаз, подобных этим, не встречал никто в жизни. Даже на фоне таинственной угловой тьмы они выделялись неправдоподобной чернотой и глубиной. В них пульсировали бездны других измерений. Только за одни эти глаза – понял неожиданно Цыплер – он встал бы на колени перед обладательницей оных.

Но тут из мглы, навстречу свету, вынырнула сама хозяйка. Легкой, будто на пуантах, походкой девушка направилась к Цыплеру. Она была столь гибка, что в течение каждого шага, – нет, скорее – перелета, ее трепещущий стан находился сразу в нескольких местах пространства. Позже Цыплер узнает, что даже самые отъявленные иностранцы, миллионеры и скупердяи, а также отечественные потребители женских красот терялись и краснели, договариваясь с Иринолой о цене ночных услуг. А сейчас Иван Северьянович понял лишь одно – его жизни пришел конец. Последняя мысль перед тем, как девушка села напротив Цыплера, перед тем, как носок Цыплера в югославских кожаных ботинках почувствовал прикосновение чудной ножки, была несколько странной. "Хорошо, – пронеслось в его голове, – что мой папа не Тарас Бульба!" Ему даже стало стыдно за то, что в школе он шельмовал Андрея Бульбенко. И еще он решил, что если уж родине довелось родить такую женщину, то кто прикажет цыплеровскому сердцу любить мать больше дочери?

Но Иринола уже сидела напротив, подошва ее плетеных туфельек покоилась на коже югославских животных, и девушка то слегка ослабляла нажим, то даже чуть толкала кандидатскую ногу. Щеки Цыплера набирали красноту, словно планета Марс

стремительно врывалась в суровый перигелий над обильным столом. Что такое перигелий, Иван Северьянович так никогда и не узнал. Из души его вылетело русское восьмиголосие и в образовавшиеся каверны ворвались дикие звуки дионисийских пиршеств. Этой ночью все звезды в небе поменялись местами и прямо над головой Ивана Северьяновича замерцала лазурная Венера.

Тот первый разговор во всех подробностях Цыплер смог вспомнить лишь через два месяца, когда Иринола уже жила в его квартире. Ей было девятнадцать лет, два года тому, сразу после школы, она приехала поступать в столичный университет — на журналистику. Провалилась, родителям сообщать было стыдно, и домой она решила пока не возвращаться, а готовиться к следующему разу. Тут же нашлись люди, готовые ей помочь. Одним из них был декан факультета. Цыплер знал его и даже здоровался за руку. У декана имелось двое детей и жена-филолог. Декан пообещал Ириноле поступление через год и неожиданно признался в вечной любви. Иринола привыкла к признаниям в любви, декан же не привык к отказам. Кончилось всё медовым месяцем на даче друга — главного инженера важного "ящика". Тот также не преминул влюбиться в горскую красавицу, и потянулась чередва воздыхателей. Декан как-то незаметно ушел в туман, вакансию замещали попеременно: директор парфюмерной фабрики "Октябрь", известный модельер со вставным глазом, толпа великих режиссеров, актеров и художников, два поэта в очках и один прозаик в шляпе, который отличался от всех вышеназванных лишь цветом и длиной бороды, а также скоростью произнесения словосочетания "трансцендентальный экзистенциализм", в котором он не выговаривал букву "з". Затем снова возник директор, но на этот раз

ресторана "Октябрь", затем крупный партийный чин, единственный, кто не носил ни очков, ни бороды, ни даже усов, затем зам. генерального директора объединения "Октябрь" по производству тайного оборудования, который носил очки, бороду, усы и заикался. Словом, весь интеллектуальный цвет нашего общества. Иринола рассказывала, что привыкла жить богато и свободно, могла выбирать и форму, и содержание, предложения опережали спрос, но уже через полтора года она испугалась того, что в памяти ее живут лишь два воспоминания: первый вечер на даче с деканом и потные руки его многочисленных друзей и друзей его друзей. И Иринола ушла к иностранцам. С ними не нужно было разговаривать, а это вполне устраивало гетеру.

Цыплер легко забыл о многочисленных мужьях Иринолы, но первый вечер с деканом, обрисованный Иринолой тогда в ресторане, нет-нет да и всплывал в больной памяти. Гордая семнадцатилетняя богиня сидела на веранде, сквозь ее черные, почти до колен волосы просачивался лунный свет, скрипучий стол восемнадцатого века был украшен вазами с цветами, подносами с апельсинами, виноградом, хурмой. Таинственно мерцал изнутри янтарный коньяк "Наполеон", таинственно отсвечивала лысина декана, подчеркивая череп мыслителя, воздух был сражен женской красотой и лежал, благоухая, у ног Иринолы. Они разговаривали о Лермонтове. Иринола чувствовала вину перед поэтом. Она сказала, слегка картавя на звонком звании, что живи она в те времена, непременно добилась бы права называться женой лейб-гусарла, — не только с лишней буковкой, но и влажно, — несмотря на его внешнюю непривлекательность, постоянное разлитие желчи и непостоянство. После столь интимного признания декан поцеловал пах-

нушую бальным ветром прошлого века ладонь, отдавая этим дань и Лермонтову, и Ириноле. При наклоне головы лунный луч упал и под тем же углом восстал из блестящей лысины, уносясь за пределы нашей смертной системы.

Стоило Цыплеру представить тот вечер, как он заболел на несколько дней. Иринола ухаживала за ним, хотя не догадывалась о причинах внезапной тоски Ивана Северьяновича.

Цыплер также помнил, что в день их знакомства Иринола долго говорила о Верлене. Она жалела, что не могла быть рядом с поэтом, чтобы поддерживать его слабую голову после очередной попойки. Ей хотелось оттирать его виски грязным полотенцем, почему грязным, — подумал Иван Северьянович, — когда можно постирать? и смахивать с тяжелого сократовского лба большие капли пота. Стоило пробиться сквозь чердачные ставни парижскому огню, как она прикрывала целебными ладонями припухшие красные веки с прожилками ликерной синевы.

Иринола долго читала Верлена по-французски. Помнится, Цыплер даже всплакнул. Это и решило тогда его судьбу. Но позже, у себя на квартире, Иван Северьянович понял, что чуда не произойдет. Он предложил Ириноле руку и сердце. Она в ответ рассмеялась и заломила несусветную сумму. Тогда Цыплер отдал ей ключи от дома, машины и дачи, Иринола вначале отказалась, затем согласилась, и теперь они жили в одной квартире, в разных комнатах. Иногда Иринола исчезала на несколько ночей, но подобное происходило всё реже и реже. Цыплер мог любоваться ею почти ежедневно, Иринола привыкла к Цыплеру, деньгами он ее обеспечивал, ничего не требуя взамен, они сдружились, но полюбить его она не смогла. Цыплер не был красив.

Однажды она призналась, что всегда считала

Цыплера евреем, Он удивился, но затем задумался. В конце концов он даже решил написать отцу письмо. Но отец его в это время выпустил клеветническую книгу о России, о жизни в резервации, признался, что на самом деле он был евреем, но по ошибке в 1946 году его взяли как немца, что, собственно, и спасло ему жизнь в пятьдесят втором и что поэтому он по гроб благодарен Сталину, хотя и ненавидит его. Еще Цыплер-старший написал, что ненавидит людей, призывает их к третьей мировой войне, сам же хочет жить на необитаемом острове и строить там коммунизм, что вполне вероятно на острове, где некого эксплуатировать, кроме себя самого. Хотя всякое бывает, — добавлял он в конце книги.

Цыплер понял, что писать отцу бессмысленно. Размеренная жизнь с Иринолой, постоянное присутствие ее красоты и даже боль от безответной любви гнали Цыплера вперед, приближая заветный миг докторской. Цыплер работал как одержимый. Несколько его сочинений о православной церкви были напечатаны на Западе, имя его приобрело известность. Даже внезапное сообщение о том, что мама-Цыплер (недавно мне называли предпоследнюю ее фамилию, кажется — Цыпенко) попросила политическое убежище в Гондурасе, с грохотом бросила партию и пошла клеймить восточную Германию, западную, азиатскую Россию, Кубу и Эфиопию за отсутствие свобод, не выбило Цыплера из седла.

Чуть позже, когда страсти вокруг маминого предательства улеглись, Цыплер с удвоенной энергией взялся за работу. Компетентные органы нашли его непричастным к деятельности стариков. В это же время в гости к нему приехал Рахим.

Рахим был одной национальности с Иринолой, красив, умен и писал стихи. Стихи Цыплера удив-

ляли. В них все слова постепенно трансформировались в слово "я". Вселенная спала, положив голову на звездное ухо, Рахим спал в одной комнате с Цыплером.

Ровно через неделю после приезда Рахима, когда все трое гуляли в парке над рекой, Цыплер попросил слова. Он был в лучшем своем костюме, от него пахло дорогим мужским одеколоном, кроме того, от него пахло коллекционным шампанским. Он был торжествен, но закашлялся, когда начал говорить. Он соединил руки Рахима и Иринолы, отчего те покраснели, удержал их ладони в своей (большой, как и он сам) – кстати, это было первое прикосновение к Ириноле – и сказал, что понял всё с первого взгляда. Он рад, что столь достойные люди полюбили друг друга, и считает своим долгом поздравить их со счастливой жизненной развязкой. При этом он отнял руку, чтобы вытереть пот со лба (лоб его был высоким и тяжелым), влюбленные тотчас разняли ладони, и Цыплер, неловко обхватив ладонь Иринолы, ткнулся мокрыми губами в пульсирующую на запястьи жилку. Жилка была теплой. От Иринолы пахло то ли небом, то ли бальным ветром прошлого века. Кстати, это был первый и единственный поцелуй в адрес Иринолы, да и тот односторонний, как наш мораторий.

Еще через два дня Рахим увез Иринолу к себе. На прощанье она плакала, Рахим говорил, что Цыплер – лучший человек в мире, она говорила, что если когда-нибудь Цыплеру станет так худо, так... тут она запнулась и всхлипнула, не подобрав эпитета к слову "худо", в общем – чуть протяжно и картаво, она всегда говорила "в общем", когда волновалась, – так худо, что хуже не бывает, пусть Цыплер, тут она снова спохватилась, Господи, сколько же можно, всё по фамилии да по фамилии,

Ванюша, приезжай, обязательно приезжай, ты даже не знаешь, как мы тебя любим – Рахим поцеловал ее в щеку, она слегка отмахнулась, ее рука мелькнула в воздухе и Цыплер увидел, как просвечивает солнце сквозь трепещущую кисть и мерцает таинственным алым светом – в общем, поклянись, что приедешь. "Приеду", – сказал Цыплер и подумал, что тогда ему придется ехать сразу же вслед за ними, потому что куда уж хуже может быть, чем сейчас... И еще он понял, что сейчас ему хуже, чем было минуту назад, и через минуту ему станет хуже, чем было сейчас, и что это будет продолжаться всегда, независимо от времени, даже от хода его судьбы, что боль и любовь будут существовать отдельно от течения времени, что всегда он будет любить э т у Иринолу, и когда сама Иринола постареет и он постареет, он будет любить ее всё сильнее и сильнее, потому что будет любить э т о лицо в каждую из э т и х – приблизивших Иринолу к нему и отнявших ее от него – минут, с каждой сильнее и страшней, и если выход есть, то он лишь один – расстаться с ней, выбросить ее из жизни, как соринку из глаза, чтобы не затуманивать слезами мир, и еще он понял, что даже если уберет из своей судьбы Иринолу, он всё так же будет ее любить и разница между тем новым – без нее – существованием и теперешним состоит лишь в том, что тогда, без нее – он не почувствует в ответ на свою любовь живое и теплое безразличие.

И еще он понял в эту минуту, что через минуту будет любить Иринолу больше, чем любит сейчас, и что минуту назад он любил ее меньше, чем в эту минуту, и что столь грустный график будет тянуться по возрастающей, так, что перерастет его собственную жизнь и станет в стороне, как наблюдатель, вернее, встанет или повиснет над его жизнью, его судьбой и движением во времени, и что бы он ни

предпринял теперь: любить Иринолу – есть и будет его существованием, впрочем, это он понял еще в первую минуту их встречи, но тогда была надежда, и до последнего момента была надежда, а теперь вот останется любовь, в общем – перехватив ее вставку в чуть картавую и протяжную речь – я приеду, дорогие Иринола и Рахим – это, чтобы поставить точку – решил Цыплер – раз и навсегда думать о них, только вместе называя, – приеду; конечно приеду, – еще раз сказал он.

Собственно, на этом мы могли бы закончить рассказ, над каждой буквой "i" порхает присущая ей точка, самые свободолюбивые прописаны авторским пером над соответственными крючками, жизнь Цыплера зафиксирована, жизнь Иринолы и Рахима (дай им Бог долгие лета) течет счастливо и легко, в общем – чуть протяжно и картаво – и я там был, мёд и безалкогольные напитки пил, к сожалению, по усам текло, просто напасть – в пасть попадало, но мы всё же задержим еще чуть-чуть ваше внимание, любезный читатель, на судьбе Ивана Северьяновича.

Ощувив пустоту и безжизненность оставленной квартиры, Цыплер заболел. По ночам к нему являлась Иринола, он видел ее юной и непорочной, видел веранду и стол из венского дерева с оранжевыми ликами апельсинов, видел лысину декана, посеребренную пылью Селены, видел лица всех друзей Иринолы, видел в подробностях все сцены ее жизни, о которых она успела поведать ему за два года соседской жизни, видел всё это отчетливей и живей, чем реальную дневную жизнь.

Диссертацию он бросил, запил, квартира приобрела вид парижского чердака, на котором умер Верлен. Ходить по улицам становилось всё трудней. Его шатало от слабости и горя. Часто среди толпы он видел Иринолу. Видел ее прозрачную ладонь,

когда смотрел на солнце. Видел взмах ее тонких рук, ее шаги-перелеты, бесшумные и слишком длинные для обычного шага. Он стал дичиться людей, однажды в дневной толпе он не выдержал и помчался за Иринолой. Ей длинные, почти до колен, волосы мелькали перед глазами. Он догнал девушку, бессвязно шепча что-то, и схватил за плечи. Девушка обернулась женщиной лет сорока, а волосы - черной шалью, тут Цыплер вспомнил, что Иринола после ночи с деканом убила свои небесные волосы, женщина закричала и Цыплер тоже закричал от испуга. Кончилось тем, что его, грязного и постаревшего, уложили в больницу ученых, в неврологическое отделение. Вышел он через два месяца, но заниматься наукой уже не смог. Неотвязно преследовала его мысль увидеть Иринолу вживе.

Наступил новый год, кончился январь, и на Масленицу, в лютые морозы Цыплер очутился в церкви, где служил о. Александр. Внутри было тепло, пахло ладаном. Свечи стрекотали, как сверчки. В углу, у иконы Богоматери стояли два молодых человека с высокими лбами. Они истово крестились и кланялись. Цыплер им позавидовал. Когда служба кончилась и о. Александр переоделся, Иван Северьянович подошел к нему. О. Александр давно не видел Цыплера, но сразу понял, что тому плохо. Они вышли на улицу. Теперь снег под ногами скрипел то ли подобно свечкам, то ли - сверчкам.

"Отец Александр, - сказал Цыплер, - я задам вам только один вопрос. Можно?" "Можно", - ответил о. Александр. "Как вы думаете, нужен ли я Богу - больной, издерганный, страдающий бессонницей и депрессиями, разуверившийся во всем человек?" О. Александр, памятуя прошлые интеллектуальные игры, пытался уйти в сторону. "Сын мой, - сказал он, положив руку на цыплеровское плечо. - Это не вы нужны Богу, а Он нужен вам.

Поймите же". Цыплер выслушал эти слова и так же мрачно сказал, вернее, попросил даже, будто и не у о. Александра: "Святой отец, скажите, ведь Ему не нужны такие, как я. Мы никому не нужны". И уже с упрямством добавил: "Пусть Он меня отпустит, я хочу уйти отсюда, я ведь не нужен Ему здесь. Зачем я Ему? если я даже ей не нужен?" И тут же, предупредив заинтересованный вопрос о таинственной "ей", сбиваясь, постоянно возвращаясь к одному и тому же центру – вечеру на веранде, внутренне убедив себя в том, что причина его несчастий идет оттуда, рассказал о. Александру всё, что было с ним за эти годы. Иногда он всхлипывал и тут же вытирал глаза уголками рукавиц. На длинных ресницах лежали кристаллики льда. В конце он снова попросил разрешение у о. Александра, как будто подразумевая нечто большее за отцом, чем право давать советы. "Я так не могу дальше. То, что я делаю, не есть жизнь, – сказал он, горько усмехнувшись. – Мне надо уйти из мира. – И тут же неожиданно для себя добавил, – но перед этим я должен увидеть ее, – и попросил, как ребенок, – еще хоть раз". О. Александр ухватился за эти слова. "Само Провидение подбрасывает соломинку несчастному, – подумал он. – Езжайте, милый, езжайте, а после возвращения обязательно ко мне загляните. Я очень ждать вас буду. Может, вам креститься пора?" "Как же креститься? Я ведь еврей", – обреченно произнес Цыплер, ставя этим как бы последнюю точку в своей неудавшейся судьбе.

"Господи, – подумал о. Александр, глядя вслед уходящему. – Господи, когда же Ты сойдешь на землю и спасешь всех несчастных? Господи, ведь они же виноваты только в том, что беспомощны и больны". А еще он почувствовал, глядя на ставшего уже точкой Цыплера, как мала земля, как быстро она бежит к горизонту, уменьшая людей, и как ма-

ло на земле людей, и как они растеряны и беспомощны, и как он их любит всех и жалеет. А еще он любит Бога больше всего на свете, больше себя, и этих маленьких людей, и земли – по размерам людским, и Бога он любит и очень боится прогневить Его, но если Бог скажет – оставь этих людей и иди ко Мне, он откажется, он откажется, веруя, что Бог погорячился и простит его, и останется жить среди людей так же, как они, и будет так же мучиться и страдать, и умирать вместе с ними, и по-прежнему жалеть их.

А Иван Северьянович через день очутился на черноморском побережье. Здесь вместо снега шел дождь, было сыро и тепло. На горы сел туман. Там, видимо, шел снег и гремел ветер. От города, где находился аэропорт, до города, где жила Иринола, ездили автобусы. Автобус, на который Иван Северьянович взял билет, отправлялся через два часа. Иван Северьянович решил прогуляться. Он брел по широкому бульвару. Справа шумело море. Слева, по ходу, он заметил стеклянную забегаловку. На витрине местный Пиросмани изобразил подвыпившего краба в окружении больших кружек со сдвинутыми набекрень шапками пены. Краб мог полностью поместиться в любой из кружек. Это привлекло Цыплера. Было рано, но внутри, чего нельзя представить теперь в России, продавали пиво. Иван Северьянович взял пять бокалов и сел в угол за расшатанный столик. За соседним сидели два милиционера в тулупах и зимних шапках. Они пили пиво и ели чахохбили. Открылась дверь и появился сумасшедший. Его ждали и пока он пробирался к стойке, буфетчица успела выложить на узорчатую алюминиевую тарелку мясо и хлеб. Мясо дымилось.

Сумасшедший ходил с трудом. Он то приседал, то вскидывался, руки разлетались в разные стороны, а голова вращалась вокруг шеи независимо

от остальных телодвижений. Несмотря на это он добрался до стойки, после нескольких приседаний ухватил тарелку и теперь пытался сесть за свободный столик. Все знали его и никто, кроме Цыплера, не обращал внимание на происходящее. Сумасшедший садился долго и, когда сел, не мог сразу успокоиться – радостно что-то мычал, вздергивая головой и размахивая руками. Затем он постепенно сосредоточил внимание на тарелке, хотя голова его по-прежнему дергалась.

Он протянул левую руку к мясу, продолжая непрерывно двигаться, хлопнула дверь и появился кто-то из местных. Сумасшедший оторвал взгляд от еды, хрипло закричал, приветствуя вошедшего и вновь, видимо непроизвольно, начал раскачиваться на стуле, загребая воздух руками. Вошедший кивнул ему, взял пиво и подсел к милиционерам. Сумасшедший долго успокаивался, затем снова сосредоточился на тарелке, почти замолк и продолжал вздрагивать и кривляться, но значительно меньше.

К сожалению, Иван Северьянович так и не увидел, удастся ли сумасшедшему поесть или он вновь начнет трястись и мычать, встречая очередного посетителя. Цыплер торопился на автобус, он быстро допил оставшееся пиво и выскочил на улицу.

В салоне он занял место у окна. Дневным рейсом, в основном, ехали старухи. Они были в черных платках и черной одежде. Спереди сидело несколько мужчин. На одном красовалась плоская серая кепка. Затем вошла женщина с девочкой лет пяти и попросила Цыплера уступить ей место у окна. "Пусть на море сверху посмотрит", – сказала она ласково. Цыплер пересел. Судя по выговору, женщина была приезжей. Она разговаривала с девочкой по-русски.

Автобус тяжело полз вверх. Вначале Цыплер косился в окно. Дорога шла серпантином, и Цыплер

видел попеременно то склоны приближавшихся влажных гор, то зимнюю серую воду внизу. Как только поднялись чуть выше, пошел град. Он оставлял на тыльной стороне стекол косые следы. Потом следы расплылись, и стекло стало мокрым. Цыплера разморило после пива, ему захотелось спать и он закрыл глаза. Сквозь дрему он слышал слово: "Оползни". Очнулся от сильного толчка и удара в нос. Его швырнуло вперед — на спинку переднего сидения и тут же отбросило назад. Стало больно, из глаз непроизвольно потекли слезы. Впереди кричали. Девочка испуганно плакала. Цыплер почувствовал, как голова соседки уткнулась в плечо. Он взглянул в ее сторону. Стекло треснуло, и от дырки на уровне глаз разбежались паутинные нити. Видимо, пошел камнепад и один или несколько камней угодили в автобус. Он стоял поперек дороги, правым краем зависнув над обочиной.

Цыплер осторожно приподнял женскую голову со своего плеча. Голова тут же упала назад. Цыплер в ужасе вскочил. Левая часть лица была залита кровью. Вместо виска зияла страшная рана.

Ивана Северьяновича затошнило и он бросился к выходу. Навстречу, что-то крича на непонятном языке, видимо, ругаясь пробирался водитель. Цыплер вернулся вслед за ним и они вместе вынесли бьющуюся в истерике девочку. Двое других мужчин, один из которых был в кепке, вынесли женщину. Ее положили на обочину, после чего стали выводить старух. Старухи кричали и плакали. Одной переломало руку, другой, скорее всего, выбило челюсть. Она прикрывала дрожащими ладонями лицо и тихо стонала. Почти у всех были разбиты лица. Цыплер отошел от автобуса и взглянул вверх. По склону еще сползали мелкие камни. Спереди и сзади автобуса стояли машины. Из многих выскакивали водители. Только теперь Иван Северьянович

заметил, что идет сильный град. Он сел на глиняную кромку дороги и протянул вдоль по склону ноги. Ему стало грустно и он подумал, что сегодня вряд ли увидит Иринолу, разве что его подбросит другая машина. А может, дорогу вообще перекроют, пока не пройдут грады и не кончатся осыпи. Затем он подумал, что града уже нет, лишь немного моросит, но это, видимо, ненадолго – небо вверху было черным и море внизу тоже. Прямо на глазах оно становилось всё темней и тяжелей.

Потом он подумал, что ему не повезло, потому что он не смог доехать до Иринолы, а скорее, повезло, всё-таки остался жив и, значит, рано или поздно доедет, но эту мысль он от себя отогнал. А потом он перестал что-либо думать, потому что заснул, сидя на обочине и упираясь спиной в покосившийся белый столбик.

Вечер с одалиской

Рассказ

С чего же мы начнем? Зрители уже собрались и смотрят на лист бумаги в наивном трепете предпадающего листа дерева – им хочется, чтобы смешные и нелепые тельца букв выразили правду и суть той жизни, которая заключена в их растопыренных фигурках, зрители с нетерпением ждут, когда же сочетания нелепых и странных букбочек, называемых словами, обрисуют и представят во плоти реальность, отличную от жизни и в то же время обозначающую жизнь со всеми ее внутренними остановками и рывками, движением красных телец, шуршанием сердечной мышцы, дрожанием пульса и гневным биением полногубой аорты, толкающей красную теплую жидкость по телу столь

ному, сколь реальны зрители и актеры, реквизит пьесы и реквизит зала, так же наблюдающих друг за другом, как зрители – за актерами, как актеры – за зрителями, в той же степени странных, что и сами актеры рядом со зрителями, что и сами писатели рядом со своими героями, что и сами герои рядом с теми, кто их представляет в извращенном нелепыми и страшными значками, обозначающими реальный мир с реальной болью и страданием, пространстве, которое некто назвал Искусством, решив, что название способно объяснить или хотя бы указать путь к разгадке, которую-то и можно высказать лишь теми же нелепыми и бессмысленными значками, описывающими весь мир с теми же зрителями и героями, писателями и актерами, реквизитом театра и реквизитом жизни, шуршанием сердечных мышц и пульсированием теплой красной жидкости внутри реального тела, настойчиво требующего нереальности, чтобы осознать свою реальность и поспорить с ней, победить ее.

Мальчиком мы назовем главного героя, а тело и душа его вольются в жизнь и пребудут в ней, чтобы остаться правдивыми, уже по ходу слов, хотя название мальчик несет в себе ложь, ибо кто же скажет: мальчик – о пережившем шторм страданий, в котором пропадает человек, впервые касаясь телесного мира, наивно цепляясь за правду телесного мира, соломинку любви в океане потерянности, нет, мальчик – это лишь знак непорочности или, если хотите без строгости и назиданий, знак Незнания, надежды на лучшее, пробужденной страсти, не ведающей себе применения и цели, ради которой она тратит все силы тела и души, итак, мы выпускаем мальчика в наше повествование, развернув перед ним сцену – распластанное летнее море и терпкий южный город, лежащий в корнях высоких гор, гостиницу на желтом берегу и соседа

Лёву, сорокалетнего хрипловатого инженера, вечер одного дня, столь тягучий и смутный, как предыдущие, столь же дрожащий в черном нагретом воздухе, обтекающем набережную и черную нагретую воду, предсказывающий будущее так же, как день смерти предначертывает бессмысленность дня рождения и дня свадьбы подопечного, мы разворачиваем сцену и заполняем ее теплой красной жидкостью, придаем ей вид и форму, суть и содержание, начинаем ее жизнью и пускаем в нее мальчика с бьющимся сердцем...

Мальчик целился из рогатки в царя. Царь стоял на фоне окутанных солнцем гор и хитро щурился, поглаживая усы. Мальчик выстрелил, и голова самодержца покатилась по мышинного цвета столу. Она лежала на самом краю – голова убитого мальчиком царя, чуть продолговатая и серая, с пустой шахтой на том месте, куда раньше входила шея, и поэтому напоминала мальчику резинку, обычно прикрепляемую к затылку карандаша. Время стерлось, и мальчик почувствовал, что с этого момента мир должен измениться, на пост старого придет новый караульный, свободный и праведный, он придет охранять новый мир, в котором всё будет по справедливости, так что можно успокоиться, и мальчик, улыбаясь, проснулся.

На соседней койке храпел Лёва, устремив лицо в потолок, и мальчик принялся внимательно рассматривать черты своего соседа, так же, как во сне рассматривал голову убитого царя. Он вглядывался, будто в карту, в лицо, пытаясь отыскать надежный путь к правде по морщинам и припухлостям, носу, векам и ресницам, и видел, что кожа коричневатая не только от южного загара, но и от потертости во времени, он пытался представить на своем месте жену Лёвы, оставшуюся в далеком го-

родке, где она вместе с Лёвой работала на заводе, он хотел почувствовать то же, что чувствовала эта женщина, просыпаясь вот уже двадцать лет и находя рядом лицо самого близкого человека, чувствовала ли она вообще и думала ли об этом лице хоть что-нибудь, изучала ли его, удивляясь странности самого существования человеческого лица или, приняв раз и навсегда тело, голос и лицо мужа как данность, так и жила в оцепенении постоянного действия или бездействия — быть рядом (в том же ритме, с той же скоростью старения и дления жизни, так же — просыпаясь рядом с ней, к ее лицу как естественному и непреложному, дарованному жизнью раз и навсегда так же ответно) думала ли об изменяемости тела и души, времени и жизни, лица мужа и своего, или и это она ощутила как неизбежность и смирилась с этим, затем мальчик попытался представить, что думает и чувствует случайная женщина, любовница или мимолетная спутница в страну утех (эти слова развеселили его и он улыбнулся миру вторично, продолжая разглядывать Лёву, но уже без той наивной сосредоточенности, с какой дети глядят на неясное, но требующее разгадки и ответа), но и это ему не удалось вполне представить, потому что войти в дух женщины и попытаться вообразить ее чувства и мысли он смог, но как только он смог это представить, он ощутил назойливое присутствие мужского начала в себе, и оно, это наивное и суровое начало, припав к подчинившему его и подчинившемуся ему, возможному рядом с ним, дало простой и честный мужской ответ вместо заблудившегося в памяти женского, поэтому он переключился с невозможного на более реальное и попытался обрисовать и спрессовать в короткую и ясную цель свой будущий день и отделить его от всех предыдущих, чтобы сделать новым и полнокровным.

Он осмотрел и прочувствовал комнату и утро,

просочившееся сквозь шторы, пелену пыли в лихорадочных фрагментах света, вспомнил, что сегодня вечером будут танцы и Лёва пойдет на них со своим другом Гришаком, тридцатилетним татуированным холостяком, пребывающем в постоянной тоске и растерянности из-за неумения говорить и боязни женщин, которые стали единственной темой тайных его помыслов и косноязычных объяснений, вспомнил, что для него самого это является главным если не в ежедневной жизни, то в ежедневных видениях и мечтаниях, свободных от его разума и воли, неподчиняющихся ему, он понял, что убитый царь – не просто оговорка сонных мозгов, но символ разрушенного порядка, который ему предстоит восстановить, чтобы не заблудиться окончательно, что новый мир, который придет на смену старому, может быть страшней и смертельней прежнего, но он будет иным, и есть шанс освободиться от того, что навязано ему помимо воли и разума, он подумал, что именно сегодня он может выздороветь, вылечиться или хотя бы начать лечение, что у него есть смелость (может, именно к сегодняшнему дню трусость накопилась внутри в той мере, которая превратит ее в смелость, а не нервный всплеск освобожденного страха), смелость и освобождение от страха – два разных состояния души и тела, они столь же различны, сколь различны постоянный слабый ветер и насыщенный краткий циклон, тут он понял, что отошел от мыслей о будущем дне, перешедшем в сегодняшний, и, как всегда, как каждое утро и каждый вечер, как молитву на каждое утро и каждый вечер, подумал о своей девушке, о той, которую любит и которая любит его, на которой он женится, как только она закончит школу (она на два года младше него), но мысли о женитьбе он не связывал с тем, что происходило мужского в нем, это были чистые и

свежие мысли первой любви, милая моя, как я люблю тебя, как я скучаю по тебе, как я хочу увидеть тебя, короткие и ясные слова, одни из немногих ясных в его непрощенной жизни, затем он расправился в кровати, выпрямляя кости, и вскочил, краем глаза, банально как! – краем боком каймой рамкой некролог смерть траур – трауром глаза заметив (что еще хуже, хотя и небанально), краем траура глаза заметив, что Лёва уже не спит, лучше просто – краем глаза заметив, что Лёва уже не спит (так будит чутко спящего напряжение соседского бодрствования), а смотрит в потолок, чуть прищурив голубые глаза со светлыми ресницами – две медузы шевелят щупальцами – чёртвов пижон, всё хочешь повыпендриваться, он сделал несколько резких движений, сгибая послушное тело в пояснице, Лёва заворочался, напевая до приятного хриплым тенорком ”пара па бабам, парапабабам”...

Мальчик закончил делать утреннюю зарядку, он понял, что сегодня к вечеру сможет разоблачить тайну, самую мучительную и непостижимую для него тайну, ускользающую постоянно из поля (луга, степи – авторские варианты) зрения, как микробы не даются зрачку микроскопа (не ясно), он сел на край кровати, снова вглядываясь в Лёву – своего избавителя и мучителя, того, кто может ему помочь, но не знает об этом, потому что он сам, мальчик, не хочет признаться в необходимости помощи, а Лёва не хочет или не может заглянуть в его душу, да и зачем ему заглядывать в меня, я ведь не сын его, не жена, тут мальчик вспомнил, что пытался представить мысли и чувства Лёвиной жены и попытался теперь сделать то же в отношении к сыну, но внутри разума тут же выросла стена – запретная тема, она ведет к полному раскрытию, и если я думаю о Лёве, то ведь я могу задуматься о своих родителях, и снова возникает

эта страшная тайна, но я не смогу ее разгадать, потому что родители – неприкосновенно, это сидит внутри само по себе, как и сон, неподвластно воле и разуму, и не дает думать о тайне, если в ней замешаны родители или любимая, извини меня, что я думаю о тебе и тогда, когда думаю о тайне, но, в конце концов, даю тебе слово, это не потому, что я извращен или очень слаб, об этом думают все – и Лёва, и Гриша, и я не верю, что не думаешь ты, хотя нет, извини, что я говорю, ты не можешь и не должна об этом думать, а если я спрошу себя – почему? – то отвечу, что эта убежденность так же постоянно внутри, помимо воли и разума и самой жизни, – ни ты, ни мать, ни отец, а ты и мать – женщины, Новая тайна, бредовая, но до реальности живая София, от которой хочется бежать в жизнь, но которая по сути и диктует, независимо от нашего желания или нежелания, жизнь и любовь, тайна, связанная с той, первой, мучительной и осязаемой, но не итогом – опустошение и слезы, а началом – всплеском всех душевных сил, радостью первого чувства, ты и мать – будущая Мать и Мать, вы не можете думать об этом или быть хоть как-нибудь с этим связаны.

Мальчик всё время прикасался к тайне в разговорах с товарищами, в услышанных от старших историях, в книгах, горячечных и тоскливых, как бунинские аллеи, и тут же, рядом – на фотографиях, где тайна становилась явной и обозначалась в мужских и женских телах, сочетавшихся естественно и неестественно (хотя что значат эти слова? когда неестественно только отношение, а сама жизнь верна независимо от нашего к ней отношения, может, от этого и мучительна и безразгадна, хотя представима, как точный и ясный ответ на любые сомнения) и от подобной наглядности тайна становилась еще в большей степени тайной, потому

что ни мертвые или живые в похоти физического дурмана лица с фотографий, ни обнаженные напряженные тела, отдельные и не вяжущиеся с выражением женских счастливых лиц и сосредоточенных мужских, черные и белые тела рядом, или женщины с женщинами, а мужчины с мужчинами, или все вместе, или, наоборот, по отдельности – укрупненно и от этого нелепо и беззащитно открытые сотням глаз, выглядевшие без одежд еще более закрытыми, потому что не могло в этом быть основное счастье, не могли люди во всем мире терзаться этим и стремиться к этому, если это так легко отдавалось чужим, нелюбящим взглядам (неужели те, на фотографиях, такие же люди, со своими средними делами, кухнями, телефонными звонками?) – их лица ничего не говорили, их тела ничем не объясняли тайну, а скорее делали ее еще болезненней, не показывали счастье, а лишь будили в мальчике потребность узнать, попробовать, ощутить, но опять отдельно от мыслей о повседневной жизни с матерью, отцом, любимой – тут он даже представить ничего подобного не мог, это была другая жизнь, к этой, другой жизни, принадлежал и он сам, но та, тайная, скрытая, звала к себе и мучила его, и Лёва, тоже мучая его, говорил о ней, особенно здесь, на курорте, в гостинице, в двухместном номере, но говорил как о реальности, а не тайне, он совершенно не мог подумать, что в этом возможна тайна, и даже глаза молчаливого Гриши, уже отведавшего, но так или почти так же, как мальчик, боявшегося этого, наливались красной влагой, а ноздри дрожали, когда Лёва предлагал помочь ему, Грише, познакомиться с кем-нибудь, освободить место в номере, и вот сегодня, во время танцев, Лёва обещал найти что-нибудь – слышь, Гришак, я тебе что-нибудь к завтраму отыщу, на вечерок, и тебе могу, малыш – мальчик испуганно

закачал головой – нет, Лёва, если я захочу, я сам найду, – ну ладно, мое дело малое – предложить, – и мальчик знал, что сегодня Лёва станет помогать Гришаку, а он, мальчик, скрывая интерес, будет следить и ждать, когда же появится Лёва с женщиной, но тут воображение мальчика отказывало ему, он не мог представить ни одной женщины – ни лица, ни тела, ни одежды, ни слов, ни того, как она войдет в номер, зная цель своего прихода, и при этом будет говорить совсем о другом, неважном и ненужном, а потом, но этого потом не вырисовывалось, не облекалось в плоть реальных поступков, он не мог представить ни одной женщины, способной на это тайное и скрытое, просто и спокойно, сразу же после танцев, с почти незнакомым мужчиной или его другом, нет, он не мог представить, что это возможно, именно это и казалось ему выдумкой, мужским хвастовством, это было невозможно даже в его мыслях и тем более не могло быть возможно на самом деле, тут же, в номере, рядом с ним, снова вступал в силу запрет иной жизни – мальчика и его родителей: отца и матери, и его любимой – я подожду, и там увидим, – подумал он, всё еще сидя на краю кровати, наполненный ожиданием и нетерпением – скорее бы вечер, чтобы увидеть ее, – мальчик начал собираться на пляж, – ты уже идешь? – спросил Лёва, – ну, валяй, орёл, – Лёва подмигнул ему, хрипловатый, компанейский Лёва, – а я за бухом с утра схожу, чтоб к вечеру глаз с Гришаком навести, на тебя брать, малец? – возьми, – сказал мальчик, выходя из комнаты.

Море сидело в двадцати шагах от гостиницы, свесив соленые ноги с края земли, мальчик шел по аллее, струящейся среди пальм и кипарисов, вглядываясь в лица мелькающих мимо женщин, пытаясь увидеть в их глазах ту же тайну и ответ, угадать, кто же из них может стать той, лёвиной,

пришедшей вечером, чтобы остаться в номере мужчин, той, которая сделает тайну и мечту правдой, реальностью; на пляже, рядом со своим привычным местом он увидел Алёну, девушку, живущую на одном с ним этаже – кому-то пофартит, – цокая, сказал Лёва, увидав ее в первый раз, глупости, уж тут я могу быть спокойным, хотя бы красота поможет сохранности тайны, – подумал мальчик тогда, – она отдыхала вместе с родителями, пожилыми спокойными людьми, была величественной и красивой, неприступной, отдельной от них всех, она жила в той, второй жизни, где нет места тайне, она находилась в одном пространстве с родителями, почти никогда не отлучалась одна, не ходила на танцы, мальчик даже не стал заглядывать ей в глаза, он был уверен, что там нет того, что он ищет, что за Алёну можно быть спокойным, ее не мучает то, что его, ее никто не приведет в свой номер, чтобы испортить спектакль, чтобы интригу и загадку разрушить реальным поступком там же, в номере, лишив сцену занавеси и уравнив в правах зрительный зал и актеров, нет, Алёна не подходила для этой роли, и мальчик принялся вновь всматриваться в лежащих и купающихся, пытаюсь проникнуть в суть их жизней по движениям, отдельным доносящимся до него словам, взглядам, смеху, неожиданно опадающему с губ, словно пена срывается с края волны, – пижон, – по соприкосновениям с морем и солнцем, желтым шуршащим песком и разноцветными подстилками, он купался, затем лежал и загорал, затем снова купался, чувствуя, как теряет вес его тело, становясь частью природы, и как успокаивается от усталости душа и мозг, размеренно и лениво уходя от тайны к простым поступкам – лежать и дышать, встряхивать весело мокрой головой, разбрасывая черные кудри, вытягивать до хруста ноги, играя свободой движений, стирать с

лица соленую воду, касаясь припухших и затвердевших от морской воды губ, мальчик наслаждался своим одиночеством и густотой внутри себя, сменившей утренний хаос, а затем, днем, сидя за столиком под красно-синим тентом, он пил прохладный сок шиповника и ел мороженое, а напротив, за другим столиком, сидела женщина лет тридцати и тоже пила шиповник, и вновь ушли от мальчика покой и усталость, на смену им, обновить пост — старый мир и новый, мертвый царь, — вступило беспокойство, он снова вглядывался в женщину, пытаясь ответить на вопрос — может ли она быть той, которая придет сегодня вечером, а если не может, то как она связана с тайной, как тайна происходит в ее жизни, будет смешным предположить, что в ее жизни не происходит этого, а если происходит, то как тайна движет ее жизнью и чувствует ли она, что эта тайна существует, или относится к ней как к данности, независимой от разума и воли, он пытался представить всё это наглядно, именно с женщиной, сидящей напротив, но опять просыпался в нем запрет, проводил черту между можно и нельзя, возводил между есть и не может быть стену и относил тайну к "нельзя" и "не может быть", а женщина, почувствовав внимательный взгляд на себе, провела рукой по волосам, поправляя их, переменила позу, чуть вытянув правую ногу вперед, отчего узкая юбка плотнее отполировала бедра и в разрезе ее появилось колено, глянцево блестящее и коричневое, как давно надкушенное яблоко, что за мальчик? хотя ничего, кудрявый, красавчик, ой, о чем это я, что делать вечером, надо взять Таньку и пойти в бар на корабле или просто прогуляться, женщина забыла о мальчике, оставив при себе только воспоминание о еще одном пытливом взгляде на ее фигуру, живущую под постоянными

чужими глазами отдельно от нее самой, принимающую самостоятельно определенные положения, она медленно встала, зашагала по набережной, сумочка и каблочки, длинные ноги, мальчик смотрел ей вслед, снова тайна осталась внутри женщины, может, она всегда остается внутри, надо сегодня задать вопрос моей знакомой адвокатке, у нее такая же плотная облегающая юбка, но она всегда носит пиджак, видимо, привычка, правда, я вижу с ней только по вечерам, во время прогулок вдоль моря, хотя она живет в одной со мной гостинице, Лёва ее тоже отметил, мальчик вспомнил, как познакомился с адвокатом, это было пять дней назад, вечером, когда он, ошалев от неизбежности тайны и невозможности прикоснуться к ней, шел почти в ослеплении по набережной и решил, что у первой же встречной спросит правду, и увидел перед собой женщину лет сорока – в строгом синем костюме, в строгих очках в роговой оправе, и подошел к ней, но она не захотела с ним вначале знакомиться, лишь когда он объяснил, что ему требуется, рассмеелась, представилась – я работаю адвокатом в суде, а вы, видимо, студент? – нет, я школьник, в девятом классе (это, чтобы совсем ее успокоить – решил мальчик – чтобы она знала, что я не стану к ней приставать) как же вас отпустили? – это просто мне доверяют, – что ж, это интересно, но мне кажется, что при вашей впечатлительности вам еще рано жить одному в гостинице, в разгар курортного сезона, – а вы будете со мной откровенны, я прошу, отвечайте мне на мои вопросы, – это почти моя профессия, хорошо, – сказала она, и затем во вечерам они гуляли вдвоем, разговаривали, он и она, но она не могла объяснить ему тайну, ее существование в жизни, она говорила, что просто надо чуть подрасти, стать мудрей и терпимей и относиться к этому так же легко, как и к остальному, что всё подчи-

нено элементарным законам в жизни, но это понимаешь только с возрастом – человек должен работать и жить в семье, иметь детей, – а любовницу? – спросил мальчик, – если ему мало жены, в конце концов можно и любовницу, не надо только делать из этого трагедии, чтобы не разбить людям жизнь, – а вы-то сами как? – если хотите знать правду, я иногда изменяю мужу, редко и только тогда, когда мне нравится тот, кто за мной ухаживает, я это делаю не из особых потребностей, так, отвлечься и узнать что-нибудь новое, бывает, от скуки, так принято, после этого еще лучше чувствую спокойствие семейных отношений, их надежность, – а ваш сын? – что мой сын? – вы не хотели бы, чтоб он знал об этом? – естественно, вы вот подрастаете и поймете, что естественного не надо бояться, – но ведь это безнравственно, – а что, по-вашему нравственно ходить и мучиться, подозревая всех в безнравственности, как делаете вы, хотя вы не знаете еще правды любви, а уж хотите облить ее грязью, просто надо попробовать, вам уже пора, у вас же есть любимая девушка – да, конечно, но я не хотел бы, чтобы она рассуждала так, как вы, – пока она вас любит, она так рассуждать не будет, а вы поймете, какое счастье обладать любимым телом, а через много лет поймете, что и без особой любви можно чувствовать счастье, и не меньшее, зная, что рядом преданная, надежная душа, – даже, если вы ей изменяете? – я изменяю телу, а не душе, потом, я не считаю это изменой, это обыкновенная разрядка, мы же все – слабые люди, нельзя ваш юношеский максимализм переносить на всё, а особенно на любовные отношения.

Мальчик беседовал со своей новой знакомой, гуляя по набережной вечерами, и встречал каждый раз Алёну со своими старыми родителями, на Алёну оборачивались, смотрели ей вслед, качали голо-

вами, а она шла невозмутимо между отцом и матерью, словно не чувствовала взглядов, обращенных на нее – красивая девушка, – сказала адвокат, нет, ни Алёна, ни адвокат, ни одна из тех, кого я вижу, не может быть той, которую приведет Лёва, – подумал мальчик, – но кто же, кто? – может и вправду тайны нет, а я просто хочу защититься от необходимости действовать и жить нормальной, как говорит адвокат, жизнью, выдумывая тайну и какие-то несуществующие нравственные преграды, в конце концов, что же такое девственность – состояние тела или души, ведь если души, то я развратник, потому что всё время об этом думаю, хотя не действую, а о чем я думаю, кто об этом не думает, давайте быть честными, об этом думают все, а если не думают, то только потому, что запрещают себе думать, чтобы не обнаружить тайны и не встать перед необходимостью разгадки и ответа...

Мальчик уже кончил пить шиповник, кончил есть мороженое, он лежал на пляже, затем вздремнул, искупался, снова задремал, а к шести направился назад, к гостинице, он снова шел и смотрел на женщин внимательно и требовательно, гадая, кто же из них будет той, ответившей на тайну, затем он вошел в холл, большой и прохладный, и присел в кресло, вытянув ноги, присел отдохнуть и освежиться после жаркого пляжа и острого солнца, и своих горячих неотступных мыслей, наверное, я болен, ведь есть же вокруг мир, нормальный, живой, и в нем обитают люди, не думая обо всех этих вещах, живут себе спокойно, не сомневаясь в истинности своей жизни, сел, откинул голову назад и в это время увидел главного администратора гостиницы – красивого мужчину лет тридцати, с орлиным носом, гордой посадкой головы, длинными вьющимися волосами, администратор ходил в сабо и от этого казался выше и строй-

нее, он стоял в конце холла, у начала коридора со служебными комнатами, там был и его кабинет – с магнитофоном, мягким диваном, баром и холодильником, мальчик случайно заглянул туда, когда устраивался в гостиницу, администратор стоял и смело улыбался проходящим мимо женщинам (может, одна из них, – сквозь опущенные веки подумал мальчик), у него были красивые белые зубы, женщины оглядывались на него, и их тела, независимо от воли и разума хозяек, предпринимали новые походки, тоже стройные и смелые, как администратор, женщины улавливали в его взгляде силу и уверенность хозяина, мальчик увидел, как по лестнице сбегает Алёна, у него задрожало в груди – так она была свежа и красива, она резко остановилась, счастливо и чисто улыбаясь, как ребенок останавливается после быстрого бега, внезапно удивленный чем-то, перед администратором, и он, предварительно осмотрев холл и увидав лишь одного мальчика – вроде бы спит, козленок длинноногий – обнял Алёну за плечи – жест ласкового отца – и повел к себе в кабинет.

Сейчас выйдут, ей понадобилось зайти на минутку, – решил мальчик, подтянул ноги и встал, он стоял в начале коридора и затем медленно пошел мимо дверей администратора, щелкнул по замку, словно выстрел, ключ, повернувшись изнутри, мальчик прошел мимо двери, за которой была Алёна, оттуда доносилась музыка, наверное, сейчас выйдет, пока я дойду до конца – здесь шагов тридцать, она выйдет, он шел по коридору, так же пристально всматриваясь в двери, как до этого всматривался в женщин, и за каждой дверью, не только за той, стояли администратор и Алёна, победители в жизни, герои, ловцы удачи и счастья, для нее не существовало тайны, неужели же она сейчас не выйдет, глупые старые родители, прово-

ронили девчурку, беленькую, чистенькую, ее женишок ждет, ах, он ее дождется, кто же будет знать об администраторе, мальчик медленно дошел до конца коридора и уперся лбом в стенку – пусть дверь откроется, пусть раздастся выстрел, Бог мой, я молю, я приговорен к расстрелу, жду затылком, спиной, всем телом, всей жизнью – пусть выстрелят, и кончатся мучения и сомнения в правильности той жизни, которой меня лишает дверь за моей спиной, затем мальчик повернулся и так же медленно – последний шанс для Алёны – выйти, пока дойду до их дверей – пошел назад, дверь безмолствовала, вот и есть ответ, но самое страшное, что я не могу его представить, я не могу поверить, что Алёна – красивая, молодая, что она скажет – ты где была, дочурка – я на полчаса, присев рядом с отцом – ласковую руку на старое колено – мороженое вкусное, папа (Машенька ест персик), мальчик снова прошел мимо дула двери, там играла музыка, там была Алёна, мальчик вышел в холл и увидел сквозь стеклянную стенку Лёву и Гришу с большой сумкой, почему же ты – обратился мальчик к Алёне, – пошла к администратору, почему не к Грише, Лёве, ты хочешь удовлетворить свое самолюбие, хочешь, чтоб тебя лишил тайны он – красивый и настоящий – вот и всё, чего ты хочешь, а вдруг она влюбилась в него? Лёва помахал рукой – эва, идем, пацан, горлышки промоем, – но ведь это тоже тайна, как она могла полюбить его, она – чистая, красивая – развращенного тупого самца, откуда я знаю? ты что, паря, очумел, на тебе ж лица нет, глупый Гриша, на твоей груди есть лицо, а ты боишься женщин, может, и ты тайну видишь, смешно, почему боишься? любви нет, есть тщеславие и похоть, но, будь ты администратором и Алёна сама бы пришла к тебе, да оставь ты его, Гришак, у него как это? переходящий возраст, – сказал Лёва,

что же, что же происходит сейчас в той комнате, как это бывает, что они говорят, говорят ли вообще, может, всё происходит молча, что она чувствует, бедные родители, наливай, – сказал Лёва, они сидели за столом в номере, надоть и того, на вечер оставить, а то ж я не того, не смогу, – пробурчал Гриша, – всё будет о́кей, малыш, может, всё-таки и тебе найти кого, – Лёва положил руку на колено мальчика, ласковый отцовский жест, – да пошел ты, Лёва, что же чувствует Алёна, – насколько она должна этого хотеть, чтобы пойти, боясь, скрываясь, в перерыв, когда родители спят – что, ради этого, значит, стоит жить, в чем же тайна или тайна в ее отсутствии, может статься, никакой от века загадки нет и не было, Алёна уедет к себе домой и станет чьей-нибудь женой, почему она пошла к этой скотине? – мальчик выпил портвейна, стало чуть теплей в груди и животе, ему захотелось сказать что-нибудь очень большое и верное Лёве и Грише, а если бы получилось, то и Алёне, и даже администратору, сказать, как неправильно и скучно они живут, лишая себя тайны, как теряют они в жизни главное – чистоту, как обкрадывают себя, закрывая глаза на неправильность своей задымленной и однообразной жизни, но тут он вспомнил, что в это же время в комнате администратора находится Алёна, непорочная и красивая, что это означает крах тайны, Бог с ней, с тайной – мир и в правду живет по элементарным законам, вы правы, госпожа адвокат, сколько же Алёна пробыла у него в комнате, что, уже заиграли? – спросил Лёва, – тогда я пошел, он стал одеваться – галстук и пиджак, брюки со стрелкой, – а ты, Гришак, пей покуда и малыша не забывай, они пили уже два часа, понемногу хмелея, и разговаривали, у мальчика шумело в голове, ему было страшно и холодно, но в то же время его существо охватило нетерпение, мешая сосредоточить-

ся или, наоборот, расслабиться и отдаться пьяному ожиданию, он всё время мелко дрожал, мелко и обреченно, как щенок после грозного оклика хозяина дрожит, ожидая удара, надеясь, что его не будет, а будет ласковое поглаживание, он ждал прихода Лёвы, как ласкового поглаживания, знал, что Лёва придет не один и он увидит тайну и поймет наконец, как же жить дальше, стоит ли жить ради этой тайны, что говорить и что думать о своей девушке, но нет, это из другой жизни, это запрет, стена, родители, мать и отец, это его девушка, это Алёна, вот и всё, и запрета нет – мальчик глотнул портвейна – после Алёны и запрета нет, глупые старые родители, оберегающие девушку от бесчестия, нет запрета, а значит, нет чести, а сегодня не станет и тайны.

Дверь открылась и вошел Лёва, почему открылась эта дверь, а не та? с дамой, кивнув им, всё-таки с одной – подумал мальчик, это для Гриши, Гриша испуганно встал и протянул руку – Гриша, Маша – ответила дама, а Лёва стоял сзади и водил языком по губам, подмигивая мальчику, а потом показал большой палец – толстый злой палец-баобаб, Маленький Принц корчевал такие – усмехнулся мальчик – зачем я так много читал, для кого? он сидел и смотрел на героев сегодняшней тайны грустно и завистливо, Алёна была за дверью, а Маша здесь, их что-то связывало, шестнадцатилетнюю красавицу и пятидесятилетнюю, толстую и потасканную женщину, их связывало то, что они обе пришли, одна к тому, кто достоин ее, и другая к тому, кто достоин ее, вот и вся разница, каждому по потребностям, может, Алёна могла прийти ко мне, глупости, это длинный-длинный коридор, по которому идешь, ожидая за каждой дверью ответа на тайну, понимаешь, малыш – сам себе – за каждой дверью, они все одинаковы, их объединяет

то, что они приходят, даже если их приводят или заманивают ложью и позой, все до одной приходят, а остальное неважно, это не так, ты же сам знаешь, у тебя есть девушка, и она не будет в том коридоре, где зовут и где приходят, но ведь я не зову, не все зовут, значит, не все приходят, моя милая, это запрет, ты не можешь так думать о ней, почему? – спросил мальчик себя, – я ведь на самом деле не могу так думать о ней, независимо от того, хочу этого или нет, может, пройтись, прогуляться? – спросил Лёва, сейчас, – сказал мальчик, – я только посмотрю, на кого? – спросила Маша, на вас, – сказал мальчик, тебе сколько лет? – пятнадцать, а моему двадцать шесть, постарше будет, как мне, – ляпнул Гриша, я только допью и пойду, Лёва, ты не беспокойся, да нет, можешь оставаться, всем места хватит, ну, я пойду, наверное, – сказала Маша, вставая, она сидела до того рядом с мальчиком на кровати, касаясь его, и он дрожал мучительно и беспомощно, ну что вы, оставайтесь, еще столько вина, это я пойду погулять, я люблю гулять у моря, – мальчик взял Машу за руку и усадил снова, Гриша сидел сзади насупившись, ты мне нравишься, ты красивый, – сказала Маша, – тебе говорили об этом, да, – сказал мальчик, он смотрел на Машу, на всю фигуру, а затем в ее глаза, она отвечала на его взгляд, ей было под пятьдесят, несколько золотых зубов, крашенные под каштан волосы, короткие, завитые на бигуди, большое полное тело, коричневый гольф и темно-серая матерчатая юбка, на груди – светлые бусы (к танцам), большие ноги и большие ладони, мальчик понял, что может и не выдержать и остаться с Машей, что еще немного и он бросится на нее, за что ты так со мной, природа? подумал он, кем ты меня сделала? руки у него покрылись липким потом, я пошел – сказал он и быстро встал, перешагнул через машины ноги, толстые, с высту-

пающими венами, толстые вены, чувство вины, много вина – бред созвучий, еще одна игра вместо жизни и краска вместо крови, еще одна ложь ко всей лжи в мире и на сцене, привет, ты приходи, – сказал Лёва, он был уже сильно пьян, мальчик вышел, хлопнув дверь, она сказала, что ее сын старше меня, чушь, значит, и за моей дверью сейчас будет тайна, значит, это возможно и за моей дверью, если все они (женщины) одинаковы, какой у нее сын, какой будет у Алёны?

Мальчик спустился в холл, там шли танцы, за стеклянными дверями жил вечерней жизнью южный теплый город, за каждой дверью всех без исключения домов шла жизнь, одинаковая и разная, скучная и веселая, грязная и чистая, ряд бесконечен, подумал мальчик, он увидел адвоката, она танцевала со знатным краснощеким шахтером, ежеквартально перевыполнявшим план, к вечеру шахтер еле стоял на ногах, он иногда заходил к ним в номер и рассказывал похабные истории, позвякивая медалями за трудовые доблести, адвокат смотрела на мальчика из-за насупленных плеч, когда мальчик улыбнулся и кивнул ей, она отвернулась, не хочет показывать шахтеру, что знает меня, боится, что шахтер может подумать о нас, а ведь он только одно и может подумать, значит, и она – элементарные законы, свод правил, юриспруденция, описывающая жизнь, "я не считаю это изменой", но почему с ним, почему Алёна с администратором, Маша с Гришей? им стыдно где-то в глубине, что бы они ни говорили, и они спешно находят для себя тупых самодовольных самцов – решил мальчик – бред, они бы могли найти и меня, может, они этого хотят больше, может, им даже нужно это больше, если бы и я захотел, а чего я хочу, милая моя, ты одна... – он снова подумал о своей девушке, – если бы они могли, они бы выбрали

и меня, но они чувствуют, что я этого не хочу, враньё, я этого хочу, а что они чувствуют, Алёна, Маша, адвокат, если им задать вопрос – почему? что они ответят? что это жизнь, это элементарно, как же без этого жить, а тайна? мальчик, тайна – для девственников, рано или поздно каждый понимает, что тайна – насмешка, это ширма для трусости и неуверенности, ты просто боишься быть естественным, вот и всё, нет, – сказал мальчик, – я не боюсь, я не могу, потому что я чувствую тайну, она есть, ведь есть моя девушка, которую я люблю, есть родители, есть горы и море, есть воздух, пропитанный звездами, есть зеленоглазые гибкие волны, есть небо, многослойное, пышное как пирог, есть в конце концов я сам, знающий о существовании тайны, танец кончился и адвокат пошла по лестнице с шахтером, мальчик распахнул дверь и вышел на воздух, к морю, шевелящемуся сонному зверю, пахнущему солью и йодом, влажными скользкими водорослями и рыбьими кочевыми телами, пахнущему тающей пеной, шипящей, круглой, со звонкими воздушными пузырьками, пахнущему резкими вздохами чаек, насытивших взмахами крыльев черное теплое небо, взявшее в себя мальчика, втиснувшее в себя его жизнь.

Странное классическое наследие, единство времени, пространства, действия, хочешь втиснуть в одну фразу, от звонка до звонка, сцену со всеми героями, морем и городом, горами и людьми, живущими просто и незамысловато, с мальчиком, его мыслями и поступками, отделить всё это от автора, автора от меня, и меня от мальчика, каждому своё, по потребностям, заполнить фразу началом и концом, сделать ее фрагментом жизни, глупость, всё это игра и если дать себе отчет, то вынужден будешь признать: это игра и для автора, и для читателя, и

самое страшное, что это игра для всех, для всех, кроме героев, которые живут, кроме мальчика, ушедшего от автора и ставшего живым, мальчика, который так же спросил бы и автора, и меня – а вы сами девственники или живете так же, как все они, если вы писатели, вы не можете жить так же, как все, без тайны, вы обязаны быть чистыми, даже зная грязь, хотя бы для того, чтобы я мог быть спокоен и уверен в вас, как я могу быть уверен в своей девушке, родителях, друзьях, вы должны, даже понимая и прощая Алёну, быть не с ней, а со мной, но вы знаете, что всё это игра, что я придуман и все остальные, и если бы вам пришлось выбирать, скажите честно, вы бы выбрали, будь мужчинами – Алёну, а будь женщинами – администратора, но не меня, и не потому, что он красив, хотя это тоже существенно, существенней всего для вас, я ведь тоже красив, нет, за то, что с ним вы можете отдохнуть и успокоиться, что еще нужно, кроме спокойствия, ведь вы знаете, что только спокойствие дарует счастье, и забываете, что спокойствие даруется только счастливым, то есть чистым, так что и вам я верить не могу, ведь вы не верите в меня, господа модельеры и режиссеры, правда, оригинальная мизансцена: обращение героя к автору (это я придумал), обращение автора в героя, порабощение героем автора, сытая улыбка читателя, знающего себе цену и место, отделенное непроницаемой стеной от того, что он видит перед глазами, оттого и спокойная, всё понимающая улыбка – а запрет быть открытым, тайна исповеди и тайна любви? а ведь и вы думаете об этом, автор и читатель, вы ведь тоже не верите, что всё элементарно, и вам знакомо чувство опустошения, заменившее тайну, иначе не стали бы вы читать и следить за наивной игрой, за детскими рассуждениями, и для вас есть запрет, хотя бы внутри, в

глубине, там, где светит звезда и даже если она погибла, свет идет и будет идти через пустоту и черный холод тысячи и тысячи лет, загорается свет рампы, если признаться честно, то ведь правила игры определяете вы сами, глядя на небо и не замечая звезд или глядя под ноги, но чувствуя, как давит на ваши виновные невинностью плечи тяжесть чужого света, как чужие глаза пытливо всматриваются в вас, так же, как вы – в мальчика и мальчик в вас, выискивая тайну и пытаетесь ответить на ее молчаливое приветствие, на мягкое бесформенное рукопожатие, на касание ваших пальцев, листающих страницы и ласкающих руки любимых, мерцающие и таинственные руки любимых, надежные своей любовью и чистотой, принимающие вас по-матерински устойчиво, как принимают вас горы и город, и море черное теплое мягкое, всего лишь вода и в то же время родоначальница самого времени и судьбы, праматерь, первая капля жизни, хлябь морская, давшая жизнь и убившая ее раз, и готовая уничтожить во второй за грехи наши и неумение жить безгрешно, густая взвесь, бесформенный комок дыхания и деления, породившего и вас и нас, и всё и вся, и оставшийся тем не менее тайной, которую надо разгадать и которой нельзя касаться, даже если идти непрерывно к ней.

Мальчик шел по набережной, с одной стороны шумело море, с другой стояли плотные остролистые кустарники с мясистой сочной зеленью, под ними, присев на корточки, жались друг к другу скамейки, некоторые одиноко прятались в тени платанов, перемежавших своими мощными мужскими телами подростковые тельца самшита, мальчик видел шагающих навстречу, вглядывался в их лица, пытался поймать чужие взгляды, чтобы выяснить

присутствие тайны, но взгляды прохожих блуждали по зрачкам мальчика и рассеивались в воздухе, взбивая его, словно коктейль, насыщая его пьянящим запахом магнолий и хмеля, делая его еще напряженной и вызывающей, так же мальчик вглядывался в спины обгонявших его, но кроме знака безразличия и ухода те не выражали ничего, лишь равномерно двигались крепкие мужские плечи под легкими рубашками и гибкие женские лопатки под летними невесомыми материями, предназначенными для того, чтобы скрыть естественное, давно ставшее неестественным, взятое под запрет, недосказанное и оттого еще более желанное и в то же время отпугивающее внутренней непреклонностью запрета, не меняющегося век от века вместе с изменениями человека и жизни вокруг него, как не меняется в пустом пространстве свет погибшей звезды, настойчиво и непреклонно идущий к Земле, чтобы захлебнуться там в глазах поэта, кто же дал нам этот запрет и свет, кто поставил запрет на пути к тайне, кто прикрыл им, будто непроницаемой стеной, громадный сад-видение, похожий на этот южный город, такой же теплый и щедрый, такой же пьянящий и обещающий – глаза мальчика блестели, он вбирал полной грудью насыщенный морской воздух, улыбался и чувствовал, как бежит внутри тела разгоряченная злая кровь, согревая его, и кружит ему голову ее шатание, голова его с обращенным попеременно то к морю, то к городу лицом, находилась в постоянном движении, отличном от движения ног, как отличаются движения разума от движения желаний, но глаза уже устремились вперед, нащупав человеческую группу, привлекавшую всеобщее внимание, и по мере приближения к ней он понял, что это старые родители вывели Алёну на вечернюю прогулку, и она идет между ними, мать – с одной стороны, отец – с другой, под

руки, как всегда красивая и белая, и взгляды, жужжащие вокруг нее, грустные усталые пчелы, ни с чем возвращаются назад, в соты глаз, темные и светлые отверстия, предназначенные природой для того, чтобы человек видел красоту, которую он заменил уродством и самообманом, а она шла, неприступная и неизменная красота, на этот раз воплотившаяся в облике девушки по имени Алёна, и настолько красота эта была замкнута в себе и значила больше, чем простая гармония и верные пропорции тела, лица, всего того, что выражает внешнее бытие человека, что никто не думал даже о возможности завладеть или подчинить себе, хотя бы на краткий миг ночного блаженства, эту красоту, и мальчик, тоже вглядываясь в Алёну, не мог поверить, что она сегодня входила в комнату к администратору, как входила за неделю до этого в ту же комнату другая женщина, а еще раньше – третья, а через неделю войдет еще одна, ему показалось, что т о т длинный коридор возник только в его воображении, воплотил его ощущение набережной с ее продольным потоком людей и замкнул в рамки стен, а людей, проходящих мимо – в рамки комнат – и спрятал т а м, за дверьми, чтобы скрыть их тайную жизнь, опять – тайную, значит, тайна есть, она есть хотя бы потому, что я смотрю на Алёну, а ее лицо ничего не выражает, оно не выражает того, что произошло сегодня, даже если это произошло с ней не впервые, а особенно, если произошло впервые, мальчик чувствовал, как ему хочется коснуться ее лица, чтобы убедиться в его реальности, в том, что оно живое, но как же оно живое, если не выражает того, что случилось, а может, потому оно и живое, если оно не выражает, может, то тайное, что есть в Алёне теперь, после комнаты, скрыто в глубине, в душе, сердце, в ее женском естестве, материнском начале, тут мальчик вспомнил о Маше и

Грише, у которых тайна происходила сейчас, за его дверь, в его комнате, но от этого не становилась ближе или представимей, лишь завлекательней, как тела под одеждой, тайна вновь будоражила мальчика, мешала только недавно возникшему чувству свободы и воздуха, мешала так же, как проплывшее мимо, невозмутимое и до лживого непорочное лицо Алёны с двумя спокойными и счастливыми лицами справа и слева, справа — отца и слева — матери, мешала так же, как величие и спокойствие гор справа и величие и движение моря слева, мальчик понял, что не людям его успокаивать или давать ответ, что люди способны лишь скрывать тайну, убегать от нее, закрывать на нее глаза или делать ее ложью, отрекаясь от нее, и он сошел с набережной на хрустящую влажную гальку, ближе к воде, к ночному дыханию громадного существа, непонятного и таинственного, зовущего к себе и убивающего в себе, он шел и шел вдоль моря, подальше от набережной, туда, к диким пляжам, тихим и спокойным ночью, и когда отошел достаточно, чтобы скрыться от людей и от света в окнах своей гостиницы, и от света на лице Алёны и ее родителей, и от света в глазах прохожих, и от света фонарей, по-детски глядящих в небо, он сел на гальку у самого края земли, обратив лицо к морю и снова вдыхая полной грудью, дрожащей от быстрой ходьбы, густой насыщенный воздух — солью и йодом и черными подводными водорослями, и высохшими их собратьями на берегу, невесомыми и рассыпающимися в руках, он стал смотреть на море, и пока он смотрел на море, он чувствовал, как становится таким же спокойным, как горы, и таким же неподвижным, даже в движении, как море, он начинал различать значимость каждого всплеска волн, шороха гальки, крика чайки, он чувствовал, насколько они весомей и нужней человеку,

чем корявые тельца букв и попытки выразить с их помощью тайну и свет, и он уже различал голос моря и простые слова, простые и горячие, пылкие, как слова разлученных любовников, зовущие и ма-
нящие своей силой и страстью, море звало его к себе: *иди, глупыш, иди мальчик тебе будет со мной хорошо взгляни как я красиво какое у меня ласковое и теплое тело готовое принять тебя какое красивое и гибкое тело у тебя неужели же ему пропадать взгляни на свои тонкие мускулистые руки как они обнимут меня прижмут к твоей груди чистой и невинной взгляни на свои стройные белые ноги длинные и твердые быстрые и крепкие как они рассекут мою плоть войдут в нее и будут двигаться в такт с твоим телом иди мальчик растворишься во мне стань мной и миром забудь о людях чтобы вспомнить и понять их но уже другим успокоенным и чистым с влажной свежей кожей крепкой морской кровью пропитанной солью и йодом черными блестящими волосами вьющимися как пена на гребнях волн с чистыми гладкими и мягкими от ласк воды руками; мальчик слышал всё это и смотрел сосредоточенно и требовательно на свои руки, вытягивая их перед собой, на свое тело, он разделся уже, готовый войти в море, на свои длинные ноги, стройные и сильные, на самом деле я красив, но зачем, для чего, для своей девушки и только? или этого хватит с избытком, или это должно радовать многих, моя красота и невинность, но если многих, то где невинность, или невинность не зависит от окружения, только от меня? мальчик перестань думать забудь слова лишь тогда ты станешь невинным иди ко мне оставь там на берегу среди людей свой разум и волю стань свободным и лишь тогда ты будешь невинен иди ко мне иди без сомнений и терзаний не зная следующего*

шага и не пытаясь предугадать его и узнать последствия и лишь тогда ты скажешь сам себе да теперь я чист и непорочен как девственница я готов к любви ты поймешь что запрета нет и тайны нет если истинно любишь но для этого ты должен всё забыть только совесть оставить слушай – только ее оставь и если она скажет тебе – плохо значит сказала правду и если она скажет тебе – не бойся это хорошо хотя бы все вокруг и грязнили и топтали то что для тебя после слов совести хорошо и свято верь ей мальчик иди ко мне не бойся никогда твоя совесть не скажет что любить это плохо иди ко мне правда во все времена одна как свет от погибшей звезды как голос совести как мой голос и голос гор но оставь сомнения они убивают правду хотя лишь они не дают прийти в ложь но путь один мальчик и он ведет ко мне к горам небу миру не думай о людях плохо даже видя весь ужас и безумие их дел иди ко мне мальчик они не любят люди они забыли это чувство они не различают моих слов и слов своей совести но ты не бойся ты еще непорочен иди ко мне мой мальчик будь решителен если любишь знай что сомнения убьют любовь и сделают тайной истину простую и верную во все времена и снова придется очищаться и мучиться чтобы понять это но ты забудь это, любовь – тайна лишь для тех, кто ее боится, тайна, скрывающая чистоту и оттого похожая на ширму или стену, загородившую грязь и непристойность – чьи это слова? – спросил мальчик себя – мои или моря – чистоту не надо скрывать иди ко мне – сказала море – мне больше нечего тебе сказать будь спокойным и уверенным мальчик.

Мальчик попытался взлететь. Он вошел в маленькую лошадку с крыльями, лошадку размером с котенка, он взмахнул крылышками и оторвался

от гальки, продолжавшей так же беспрестанно шептаться с набредающими волнами о своих безумных женских секретах, давно надоевших суровому берегу, мальчик взлетел в небо и вошел в воду, его тело растворилось в море и небе, он почувствовал, как струится под сердцем чужая, горячая и тяжелая кровь, будто бьется в нем ребенок, и в то же время смотрел на свое раскинувшееся по-лягушачьи белое тело среди воды, тело с плавными взмахами рук и ногами, разрезающими упругую воду, он шевелил крылышками, стараясь всё время держаться над собой, и в небе ему было еще лучше, чем в море, хотя он понял, что начинает уставать с непривычки владения крыльями – похож на лягушку, распластанную на лабораторном столе, и меня осматривает Биолог, самый главный и умный Биолог в мире, лучше – в море, подсказал ему автор, лошадка тихо засмеялась, удивительно, что у меня человеческий голос, хотя с чем сравнивать, если у всех лошадок человеческий голос, то они всё равно что уже лошадиные, – подумала лошадка, помахав крылом, тебе там хорошо? – еще бы, ответил мальчик сам себе, останавливаясь в воде, он стоял в воде, высунув голову к небу, и разводил руками, будто удивляясь, для равновесия в море, сколько подо мной воды! – с радостным ужасом думал он, – может, там вообще нет дна и я повис над ничем в невесомости? во вселенной? сколько звезд над головой и сколько огней внутри воды, нет! – крикнула сверху лошадка, – это я вишу во Вселенной, это надо мной звезды, а ты, лягушка, висишь в море и под тобой рано или поздно будет дно, – нет! – засмеялась лягушка из моря, – ты не права, лошадка с крыльями, ты висишь в воздухе, это да, но ведь и воздух висит над чем-то, значит, и под тобой есть дно, – какое? – Земля! наша Земля! вся земля! – это

твое дно, — сказала лошадка — ладно, я устала, ты еще долго будешь плескаться, чёрт ненаплавный? — да нет, я уже подустала, — закричала лягушка из моря — летим обратно, плывем, — закричала лошадка из неба, они соединились в странном пространстве оторванности от всего, в пространстве счастья, где не бьется толстогубая аорта, и не гневится мерными ударами пульс, и нет теплой красной жидкости, напоившей человека, где нет ни рахитичных буквенных тел, ни писателей, ни читателей, ни зрителей, ни театра с актерами, в пространстве безмерной радости, полной, как Ваша любовь, и, соединившись, поплыли и полетели назад, к обыкновенной жизни южного теплого города, забывшего о крыльях и бешеном лошадином храпе, города, погруженного в замкнутые человеком бессонные страсти и беззвездные ночи, слепые и жаркие, с теплой дрожащей кровью в горячих гнущихся телах любовников, в южный терпкий город в корнях гор, ушедших от города и людей в небо, по которому совершали они — мальчик и мальчик, лягушка — справа и лошадка — слева, свой радостный безразмерный путь к земле, по морю, небу и суше совершали они обратный путь и, приближаясь к городу, подрубившему людей, к набережной, поросшей людьми, вначале издалека и ненадежно — группками людей, еще букашек, не понятно для чего заполнивших своими нелепыми тельцами — не то буквы, не то муравьи — набережную и остальную плоть города, а после — ближе — уже отдельными фигурами и парами, пока без лиц, но отчетливо видных по странным вьющимся границам тел, а после — и лица крупным планом, крупней и крупней, и глаза, постепенно заполнившие весь мир, заслоняя город, и горы, и небо со звездами — прямо перед собой — глаза, лживые, порочные и в то же время чистые, как только что пережитые мальчи-

ком мгновенья, глаза, знакомые по холоду в груди, по длинному пути, по долгому коридору и двери, не пожелавшей выстрелить (ружье стреляет в последнем акте, господа зрители, мы в театре, не забудьте отвести бинокли от ваших прослезенных глаз), странные и непонятные глаза, полные безответности и тайны, зовущие и уже успевшие оттолкнуть мальчика, а по бокам, справа и слева, другие – доверчивые глаза, спокойные и уверенные, справа – более жесткие, но проще и честней, и слева – более мягкие, но с нерастраченным прошлым и незабытой иной любовью, и всё это мальчик увидел, став уже мальчиком, справа – мальчиком и слева – мальчиком, ощутив под собой дорогу и конец ее, упирающийся в стеклянную дверь гостиницы, прозрачную и порочную, мальчик стоял перед ней и смотрел с тоской назад, туда, где исчезали очертанья хрупкой лошадки, в свете серебряных фонарей похожей на тяжелую странную бабочку, и лягушки, нелепо растопырившей лапки, уходящей в море, похожей на белую кляксу, случайно поставленную природой – Биологом, подсказал автор, – кляксу на черном и теплом листе летнего южного моря.

Странно, когда пишешь, болит сердце, не выдуманное, а живое, держится комком в груди, ближе к горлу, и тяжело чувствовать неполадки и непорядок внутри него, и глаза, нависая над листом бумаги, тяжелеют, будто хотят выскользнуть из орбит, изнутри их толкает мучительная непрекращающаяся боль, и это реальность, это пишу я, живой человек, которому больно и плохо в данный момент, но я пишу, для чего? – хочется раскопать себя до глубины и вырвать ответ, вырыть его из вороха брошенных в беспорядке слов, что это, что за слова, ведь за ними я, просто человек, и мне хочется просто счастья, я думаю о другом человеке,

которого люблю, не выдуманно, не по-писательски, а обыкновенно, волнуясь и страдая от его безразличия или, что еще хуже, дружеского расположения, я знаю, что пишу, чтобы уйти от нее, чтобы побороть ее в себе, эту зародившуюся Бог весть когда любовь, я готов драться с ней, потому что мне надоело мучиться, я хочу счастья, но я пишу, по-прежнему пишу вместо того, чтобы сидеть в одной с ней комнате и говорить о чем угодно, вместо того, чтобы добиваться счастья, я пишу и не понимаю после этого себя — что же для меня важнее? или всё это самообман? но глаза болят совершенно реально, особенно левый, и не потому, что он ближе к сердцу, а потому, что он хуже видит, я хочу найти человека, которому буду нужен со всеми своими потрохами и бедами, сомнениями и болями, не бойтесь, на Вас я их не свалю, и если я пишу ради этого, то я ведь заранее понимаю всю бесполезность затеи, но я всё равно пишу, значит, я не верю самому себе, а тогда для чего писать, но я не верю и мальчику, мне кажется, что его проблемы так мелкие в мировом пространстве, что вопросы, мучающие его, ничтожны и даже безнравственны в нашем мире, готовом взорваться общим безумием, в моей стране, где нас лишают правды, где нам ежедневно лгут, опутывая ложью всё, что, может быть, единственное спасение не в забвении, чтобы не мучиться этим неразрешимым и вечным, но в возврате к тому, что мы забыли и растеряли в страхе и лжи, к вещам простым и честным, и значит, я всё-таки понимаю мальчика и принимаю то, что мучает его, но опять вспоминаю всё, что живет вокруг меня в мире — и вновь мальчик уплывает вдаль, становится мизерным зернышком в поле громадных баобабов, уродливых порождений человеческого разума и воли, и я смеюсь над мальчиком и жалею его, но у меня болит сердце совершенно реальной болью, когда я пишу о его расте-

рянности и страхе перед миром и перед любовью, для чего же я пишу, для Вас, которая сейчас и не думает обо мне, бред, я и в это не верю, неужели же я настолько неинтересен? может, я поместил себя в центр мира и нянчусь со своими мелкими делами, но я готов совершенно реально (ведь у тебя нет другого выбора!) отказаться от борьбы за счастье и любовь, готов совершенно реально вывернуться наизнанку, выплеснуть всё, отпущенное мне Богом, отдать тем, кому это поможет, но я и в это не верю, не верю, что то, что я пишу, кому-нибудь нужно, и всё равно пишу, раскрывая себя и скрывая тем самым, превращая свою искренность в игру, пишу с болью в глазах (игра, сцена, яркий свет, зритель — плачь), сейчас я снова приму таблетку анальгина, пишу растерянный и потерявшийся в этом мире и, может, пишу, чтобы всё-таки найти ответ, который поможет мне встать на ноги, но если нет ответа во мне, то как я его найду вокруг, пишу, зная, что жизнь, простая, реальная жизнь с простым человеческим счастьем нужней и важней для человека, чем то, что он сам себе создает, и что, собственно, я и пишу, потому что не имею этого счастья, то есть любви, но и это неправда, потому что была и есть у меня любовь, потому что нет человека без любви, как нет любви вне человека, потому что не стал бы я писать, если бы хоть я йоту не верил, что смогу задеть Вас, разбудить, что Вы ответите мне с той же силой и искренностью, которые есть во мне, простая банальная истина, набившая оскомину, истина, которую я чувствую всем нутром и всё-таки пишу, и гляжу на себя, на одного из своих героев, гляжу на себя, как на автора, как на мальчика, и когда пытаюсь взглянуть на себя, как на человека из простой реальной жизни, банальной, как все истины, — не понимаю его и себя не понимаю, и отдаляюсь сам от себя, хотя это не болезнь, и всё так же болят

глаза, и я пишу и знаю, что если не я, то хотя бы автор этих строк в эти мгновения счастлив.

Мальчик стоял у своей двери, она не открывалась, мальчик постучал, вначале спокойно, потом громче, с той стороны заворочались, раздался приглушенный шёпот, Лёва, наверное, спит пьяный в комнате, а эти устроились в коридоре, – подумал мальчик, он понял, что устал, недавнее счастье опустошило его, мальчик постоял под дверью и пошел обратно, он вышел из гостиницы и обогнул снаружи стеклянный холл, приблизился к своей половине корпуса, он жил на третьем этаже, в номере горел свет, Лёва стоял на балконе и курил, это ты стучал? – спросил он, я – ответил мальчик, ты что, сошел с ума? – а что? – где тебя носило до сих пор? обиделся? – нет – ты не того, малыш, ты кончай свои выгибоны, я сейчас их из коридора вышлю – а они там? – Лёва улыбнулся, – да, там, я им матрац свой вытащил, а твое местечко в цельности, я думал, ты скоро, а они заперлись, тебя-то нет и нет, слышь, Гришак выскакивал, говорит, всё мол, нету мочи, баба злая, последний срок отгуливает, так что, если хочешь, заместо Гришака можешь, спросить ее? – мальчику стало плохо, опять внутри образовались холод и пустота, ему захотелось плакать и кричать, но еще дальше, за пустотой и холодом, в самой глубине появилось чувство, обратное боли, чувство горячее и бьющее в тонкое сердце, сердце зашевелилось, холмиком выбрасывая и отпуская назад кожу над собой, Лёва – она же мать? – не понял, – я говорю, Лёва, у нее сын есть, понимаешь, взрослый сын, она его родила и воспитала, она его учила, понимаешь, она мать? – слушай, малыш, кончай бебехи разводить, не выпендривайся, я ж сказал, иди сюда, – Лёва, я не хочу, не надо их тревожить, – так Гришак же устал, а ей еще хочется, – слушай, Лёва, ты понимаешь,

Маша – мать для кого-то, это ведь свято, понимаешь? – не пори, малыш, требухи, – Лёва выругался, – при чем здесь кто-то? я ж тебя зову, – я по стене залезу на балкон и лягу спать, – не дури, пойдешь к бабе, тебе надо из головы выбить свои ляли, тебе пора мужиком быть, я в твои годы того..., мальчик стоял под балконом, он коснулся рукой цементной линии между панельными блоками, – можно залезть, если цепляться за впадинки пальцами, подтягиваться и затем упираться в них же ногами, – подумал мальчик, – здесь невысоко, я залезу, – сказал он Лёве, перебивая его, – ну, валяй, камрад, тебя ждет наград – запел Лёва, он был еще пьян, мальчик стоял у стены, надо набраться злости и тогда я быстро залезу, – подумал он, там в коридоре, в темноте, на полу, на желтом лёвином матрасе происходит тайна, именно сейчас, пока он будет взбираться по стене, цепляться за бугорки или выбоинки, там, в его номере происходит то, что выше разума и воли, помимо разума и воли, то, ради чего мучаются и страдают люди, не находя этого, и мучаются и страдают, если находят в этом не то, чего ждали, там, внутри, без света, без слов, за занавесью, уже в поту, бессмысленно отыгрывая до конца свои роли, ворочаясь, милая моя, – подумал мальчик – он уже подтянулся на руках, нащупал опору для одной ноги и теперь медленно подтягивал другую, пытаюсь найти упор для носка, – милая моя, если бы ты знала, что со мной происходит сейчас, что же там происходит в номере, его охватило нетерпение, но и пустота не оставляла груди, он продолжал плавно двигаться вверх, – там, внутри не моря, не неба, не земли, внутри камня, внутри замкнутого человеком пространства, замкнутого в стены (стена – и тайна за ней, ширма, расписанная желтоликими мастерами, занавесь, нирвана – и тайна за ней), там, в жаркой пустоте и наполненности пустотой, ворочались два

живых тела, но они не были просто телами, не просто телами их создало небо, мать, – подумал мальчик, он ободрал себе палец, пытаюсь зацепиться за выступавший кусочек засохшего цемента, тот отломился и рука сорвалась на шершавую кожу панели, на месте сорванной кожи зарезвилась кровь – чёрт возьми, сейчас свалюсь, – мальчик остановился, прижался вплотную к стене, – она мать и она – тайна и если нет для нее тайны, то тайны нет ни для кого, значит, и для меня, и для тебя, моя милая – ты чего там застрял? – Лёва перевесился через край балкона – да пошел ты, – на глазах у мальчика появились слезы, – отпустить руку и шлепнуться, и всё – было бы повыше, а так только ногу сломаю, – понимаешь ли, любимая моя, ты ведь тоже будешь матерью, вот что странно, – слезы щипали глаза, рука болела всё сильнее, и пальцы мальчика (крылья лошадки, лапки лягушки) устали с непривычки от веса собственного тела, – чёрт с вами со всеми, – мальчик спрыгнул и ударился челюстью о колено, – ты что, свалился? – спросил Лёва, – спрыгнул, – мальчик стал лизать языком ранки на ладонях, полижет и той же стороной ладони вытрет слезы, в ранках защеиплет от соли и он снова старательно лижет ранки, – иди, я тебе открою, Гришак уступит, говорю же, пацан, не дури, мальчик не стал слушать дальше, он повернулся и пошел, чуть наклоняя голову, чтобы легче было лизать руку, – понимаешь ли, любимая, если ты будешь моей женой, ты будешь матерью и что же будет с нашим сыном? ведь если нет тайны, значит нет святого в нашей жизни, что же наш сын будет думать о тебе и обо мне, что я ему скажу и что ему скажешь ты, ведь ты, я тебя люблю и мне плохо без тебя и больно без тебя, поверь, – мальчик ощутил: пустота в груди стала шире и гуще, рука чуть прошла, но стреляющая боль осталась, – мне без тебя плохо, но что поделаешь, это жизнь, если ты

будешь рядом, ты будешь рано или поздно матерью, элементарные законы, а тайны не будет, и твой или чужой сын когда-нибудь сможет тебя проклясть, как сейчас я проклиная Машу и Алёну, – мальчик снова стоял над морем, но на этот раз оно молчало, – эй, море, – позвал мальчик, ему показалось, что из глубины мелькнула тень распластанного лягушачьего тела, но море молчало и тень не стала плотью, – эй, небо, – но ни свет звезды, погибшей тысячи лет назад, ни шорох крыльев с лошадкой в серебряном свете фонарей не нарушили спокойствие неба, мальчик спиной ощутил, что и горы молчат, – что ж, они дают мне свободу, я выберу сам, – мальчик увидел прямо перед собой глаза любимой, красивые и нужные ему глаза, в них брезжило ожидание, он вспомнил глаза Алёны и Маши, – знаешь, – сказал он любимой, – ты ведь тоже будешь матерью, он стоял и плакал, и вытирал слезы больной рукой, оставляя размазанные следы крови на лице, – понимаешь, – пустота внутри разрослась и вошла в сердце и разум, разум и волю, – я не могу быть с тобой, даже если захочу, ты ведь будешь матерью и чей-нибудь сын проклянет тебя за то, что ты лишила его тайны, я не могу так, так нельзя, я не хочу, чтобы ты была матерью и тебя прокляли за отсутствие тайны в мире, я спасу тебя из любви к тебе, я не вернусь к тебе, милая, прости, но если я вернусь, это будет неправдой, мне придется лгать, что тайна есть, а ее нет, прощай, милая, – и когда он сказал эти слова, море отступилось от него и ушло в море, и горы отступились от него и ушли в горы, и небо отступилось от него и ушло в небо, и он остался один, мальчик без никого, один на один с голой и желтой землей.

21 янв. – 20 февр. 1986 г.

Обрывки 1994 года

НА РОЖДЕСТВО

Этот день не пройдет, как простые, –
Он уходит отвесно в простор,
Из пустынь заметенной России
Поднимается в небо, как хор;

И тогда – в пустоте и забвенье,
В мерном шуме привычных часов –
Различаешь далекое пенье,
Приближение иных голосов...

Длится песня, чиста и небесна,
Забывается боль и вражда;
Окликается с бездною бездна,
Говорит со звездой звезда.

И – неважно, что после и прежде
Нет и края не будет тоске,
Что слова о любви и надежде
Не звучат на родном языке,
Что растают последние ноты
И не сбудутся лучшие сны...

– Мы уходим отвесно в высоты.
– Мы сегодня опять прощены.

* * *

Пора домой. – Темно и поздно,
И времена теперь не те...
Но – Боже мой! – какие звезды
Играют в этой черноте!

То с россыпью жемчужной схожи,
А то – с охапкой свежих роз, –
Как будто праздник...
А быть может –
Бывают праздники у звезд;

И, может, не они – другие, –
Не те, дежурные для нас, –
Уже парадные стихии
Владеют небом в этот час.

...но для чего? – в свирепом, ложном,
В казнящем мире – кто им рад? –
Нелепо, глупо, невозможно...
Но – Боже! – вот они, горят...

* * *

Город спит... умолкает тревога
О неправедном завтрашнем дне:
– Что гневить милосердного Бога,
Если нужно – не так уж и много, –
Даже меньше, чем думалось мне?

– Вот и родина – всё ж приютила,
И надежды не все отняла,
И колючего года светила
На холодных высотах зажгла.

– Вот и люди – случайно и мило –
Над моей вырастают тоской,
Для меня покупая у мира
Благодатный минутный покой...

– Пусть – нечасто, – как редко! – всё это;
Но – в случайно возникшей тиши –
Просыпается музыка света,
Благодарное соло души:
– Спит земля... отступает забота...
И, в минутный обман погружен, –
Всё надеюсь, надеюсь на что-то, –
В зимнем городе, в доме чужом...

НА ПРОГУЛКЕ

...Уже взята былая милость:
Слова любви, глагол суда;
Уже не раз давно забилося
Всё, для чего я жил всегда;

И вот – гляжу, как вянет осень,
Как спит на люке тусклый пес,
Как важно женщина проносит
Своих измен павлиний хвост...

И, может, – для души недужной
Такие мелочи важней,
Чем шорох прошлого ненужный,
Звучащий сон былых теней...

* * *

...Это было всего-то мгновенье,
Вечер зимний и час никакой:

Голос чей-то... весны дуновенье...
И – совсем уж неожиданно – покой.
И наполнился снами былыми
Обступающий сумрак земной;
И нашлось непорочное имя
Для всего, что случалось со мной,
И над горькими встала годами
Бесконечного света дуга,
И пустоты покрыла садами,
И в цветы претворила снега;
И казалось: пора попрощаться
И вернуться в былое, в тепло...
Только это не стоило счастья.
И оно – не оттуда звало...

МИМОХОДОМ

Мы не врачи, мы - боль.

Герцен

Пепел сыплется на скатерть.
Из души уходит хмель.
Нам пора идти – на паперть,
На дорогу. На панель.

Больше незачем гордиться:
Нет уже ни слов, ни тем. –
Надо выйти и трудиться.
Хоть бы даже низачем.

Это – новое призванье,
Новой родины болезнь.
А былому дарованью –
Больше нету оправданья.

...Или, может, все же есть...

* * *

...и никто не умеет помочь.
И ни в чем не найти утешенья;
И в тебе начинается ночь, –
Темный сон, торжество разрушенья.

Всё грустней, холоднее в дому:
Кто поможет!.. – надежда напрасна...
И – никто – никогда – никому...
– Может, жизнь потому и прекрасна.

– Жизнь прекрасна... да что тебе в ней? –
Там, внутри, – всё отчетливей слышен
Внятный шорох оживших теней,
Грохот ветра, сносящего крыши.

(ОТРЫВОК)

★

Земную жизнь пройдя до той пустыни,
в которой каждый шаг, как десять лет, –
я догадался, что такое "возраст".

Я всё, что знал, успел уже забыть,
а всё, что приходило в новом дне,
я не почтил ни злобой, ни приветом;
– А что почтить, а что мне помнить здесь? –
Пустые сны, – и дни, как сны, пустые,
пустые люди с тенью лиц былых,
расплывчатые образы, обрывки,
шатаемые ветром и дождем,
и – к этому всему не подходящий –
запас ключей – запас ненужных слов –
отчетливый язык непониманья.

* *

Я возраста на свете не имел.
Мне, помнится, нетрудно было с каждым
поговорить, как будто по наитью
отыскивая нужные слова
на языке, для нас обоих близком:
был с молодыми беззаботно-весел,
печален неумеренно. Со взрослым
вел чинную, степенную беседу;
со стариком – на языке его
я говорил – на дремлющем и долгом;
с детьми – на мотыльковом, как дитя.
Я столько языков имел! Мелодий
Во мне жило так много, нот...

И это
как праздник было: каждого умею
я понимать, как хочется ему.
Я был как сверстник всем... А может, больше:
я был душой любого, говорящей
с ним, будничным, – из праздничного дня.

* * *

...И я не знаю, что я потерял,
чему я разучился. – Все мотивы,
все языки во мне... но только – больше
уже двадцатилетние меня
не понимают; старики – не слышат,
а взрослые – не слушают...

(И только
порою дети (им-то всё равно,
для них любой пустяк еще чудесен) –
заговорят – и убегут...
да звери, –
какое диво! – звери дружелюбно
и безбоязненно идут ко мне
и – словно говорят...)

– Не понимаю...

* * * *

И каждый раз, когда я прихожу
к себе, – и в тишине, в уединеньи
перебираю свой пропащий день,
свой длинный день, – я убеждаюсь вновь,
что не найду – ни в нем, и ни в грядущем –
ни праздника уже, ни пониманья,
ни сверстника, ни брата, ни сестры.
А так хотелось!..

...Только дальний шум,
и веет легким холодом пустыни,
и – что ни вспомнится, любой мотив –
коль вслушаюсь внимательней, – всегда –
поздней ли, раньше, – всё ж неуловимо,
неуследимо для меня – но верно
перетечет в скрипучие тона,
в плакучий голос жалобной шарманки...

* * * * *

Так и живу. Прислушиваясь к скудным,
унылым нотам. Видя вокруг себя
одни и те же бедные пейзажи,
как будто созданные для того,
чтоб их забыть. – Я забываю их,
я сам себя почти не вспоминаю,
я всё забыл... где я – а где пустыня, –
уже не понимаю...

Лишь порой –
минутные, летучие обманы
сверкнут своей нездешней красотой,
и – пробудив ли, оживив меня, –
в отчаянье забросят из унынья;
И – в миг, чудесный миг, когда яснеют
глаза (обычно это первый миг,
идуший за отчаяньем) – гляжу я
не в прошлое, не в будущее, нет, –
гляжу в открытый мне каким-то чудом

всё примиряющий, нездешний сон,
и вижу благодарно:

вдалеке

идут шарманщик с девочкой. И это –
быть может, я. А девочка со мной –
не вижу, кто она. – Мечта, быть может:
с моей рукой на худеньком плече,
усталая, – ведет меня куда-то,
еще бредет, еще не покидает,
еще поет под музыку мою...

* * *

Всё уходит. Меркнет. Стынет.
И уже – не все ль равно:
Что Россия, что пустыня;
Что цикута, что вино...

– Но – еще во мгле витает,
Что-то чистое поет, –
Наплывает или тает, –
Только всё не затихает,
Всё забыться не дает...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Всё непривычно... не такое...
Прозрачно небо. Даль ясна.
– Я жив, я снова жив... но кто я?
Куда несет меня весна?
Зачем и где, какою тайной,
В каком неизвестном году –
Без права быть, совсем случайно –
Опять по улице иду?..

– Я всё забыл...

Но сердце радо:

Кто знал, что я еще вернусь?

...А может быть, и знать не надо.

Быть может, я кому-то снюсь,

И снова – на одно мгновение –

Во имя чьих-то свежих дней –

Пришел из темных ям забвенья,

Из мира шепчущих теней

И, дня грядущего лишенный,

В чужие заскочивший сны –

Еще блуждаю, оглушенный

Девичьим запахом весны.

* * *
*

Старое

Рассказ

Так называлась деревня, где они жили. Была она когда-то большой и, как говорили, самой древней в здешней округе, но теперь осталось в ней семь старух и дед Лафтя. Остальные померли или уехали к детям, а этим ехать было некуда и смерть их не брала. Раз в месяц старухам привозили муку, соль, сахар, чай да спички, иногда конфет или крупы, еще привозили в день выборов урну для голосования, а более о них не вспоминали. Старухи никого не тревожили, и их никто не трогал.

Какая крепче была – скотину держала, летом, когда воздух гудел от слепней и оводов, забыв о болях в пояснице, старухи косили сено, по грибы и по ягоды ходили, а в глухую пору собирались у самой молодой из них Зины Мазалевой. Весьма гордившаяся тем, что именно ее изба стала местом для вечерних посиделок, Зина заваривала свежего турецкого чаю и ставила на стол сухари и конфеты. Старухи к угощению не притрагивались. Пили только чай из блюдец, и прижимистая Зина уносила тарелку обратно, чтобы снова выставить ее назавтра. Говорили старухи о пенсиях и лекарствах, вспоминали былую жизнь, иногда слушали по радио концерт по заявкам или играли в карты и расходились в одиннадцатом часу, держась друг за

дружку. К старости все они стали пугливыми, и если в деревню случайно забредал незнакомый человек – какой-нибудь охотник или грибник – то напрасно стучал он в окна: напуганные бабки никому не открывали. Они давно уже продали все иконы и старые книги вежливым, улыбчивым людям, ходившим по деревням с рюкзаками и отдававшим большие деньги – по пяти рублей за икону и по десяти за книгу, а если икона была большой, то и по двадцати пяти, и деньги эти до сих пор хранились в потайных углах осевших домов.

Но теперь чужие наведывались в Старое редко. Наверное, мало кто и помнил, что деревня такая есть. Даже скупавшие дома горожане досюда не добрались – слишком далеко и надежно было упрятано Старое.

Старухи жили сами по себе, и отношения между ними были причудливыми и странными, как между девочками-подростками. Они часто ссорились по пустякам, сплетничали, жаловались друг на друга, вспоминали старые обиды, говорили за глаза дурное, но деваться друг от друга им было некуда, и вечерами они опять собирались вместе, как сбиваются в кучу испуганные птенцы.

Единственный, кто не принимал участия в этих чаепитиях, была зинина соседка Руфина. Она рано тушила свет, но Зина давно уже заприметила, что спать Руфина не ложится, а сидит и смотрит на освещенные окна, отодвинув занавеску.

– И чё нейдет, чё себе воображат? – говорила Зина, не то довольная, не то раздосадованная тем, что Руфина сидит одна. – Могла бы уж спесь-то свою одолеть. Что я ей худое сделала? Вот люди-то какие бывают злопамятные. Сколько лет прошло, а она всё помнит. Ой, дедушко, шел бы ты курить на коридор, – поворачивалась она к Лафте, но тот ее не слушал, отрешенно курил самокрутку, и его потухшие глаза смотрели в никуда.

.- Плохой стал дедушка совсем, - жаловалась Зина, - ничуть мне не помогают по хозяйству. Всё одна делаю, всё. А к Руфине-то ходит, - прибавляла она.

Бабки охали, кивали головами, а назавтра кто-нибудь из них рассказывал Руфине, что Зинка опять ее вспоминала. Иногда Руфина все-таки заходила, и Зина встречала ее с преувеличенным радушием, наливала чаю, но Руфина к столу не садилась, отговаривалась тем, что уже попила дома.

- Попей, попей, Руфка, жареной воды, - подавал голос Лафтя, и Руфина вздрагивала, а старухи наблюдали за ними с жадным интересом и потом, расходясь по домам, подолгу обсуждали происшедшее.

Яблоком раздора между Зиной и Руфиной был дед Лафтя. История эта, о которой так любили поспудачить старские женщины, уходила в те далекие времена, когда только кончилась война и никакой Зиной в Старом в помине не было. Руфину с двумя детьми бросил тогда муж. Он пришел с войны, немного пожил и, быстро поняв, что ничего хорошего, кроме пустых трудодней, в разоренной деревне ждать нечего, подался в теплые края, где жизнь, сказывали, сытнее. Хоть и грех так было думать, но чувство у Руфины было тогда такое, что лучше б его убили и жила б она до конца дней своих как честная вдова. И скорее от обиды на свою долю, чем по любви, сошлась Руфина с Лафтей.

Жили они открыто, никого не таились - так тошно ей было, что плевать она хотела, что там еще люди скажут. Именно это бесстыдство и оскорбило больше всего деревню. Руфину не столько осуждали, сколько не понимали: ну, как так можно. Не она первая, не она последняя грешила, однако ж стыд-то надо иметь и разницу между законным мужем и любовником блюсти.

— Не вашего ума дело! — завелась Руфина. — Нечего в мою жизнь лезть!

Ну нечего, так нечего, а только пожалеешь ты потом, девка, да поздно будет.

Прожили они вместе недолго. Осенью Лафтя подался на заработки в соседний район, и Руфина собирала его в дорогу, на глазах у всех провожала и виду не подавала, что ее это как-то трогает, хоть и понимала женским сердцем: навсегда мужик уходит.

В самом деле полгода спустя Лафтя вернулся с молодой женой. Та ходила по деревне, воротя от Руфины нос, в глаза и за глаза звала ее блядью, говорила, что под один куст с ней не сядет. Руфина давно бы со всем смирилась, она ведь Лафте добра всегда желала, и, потом, сама его за буйный нрав побаивалась и, предложи он ей выйти за него замуж, десять раз бы подумала, прежде чем согласиться, хоть и согласилась бы, конечно, — однако терпеть, что молодая пришлая дрянь смеет насмехаться над ней в ее собственной деревне, это было выше даже Руфиной кротости. И ладно б одна Зинка, та, положим, ревновала просто, боялась, как бы Лафтя не стал к старой полюбовнице снова тайно бегать — худо было то, что и бабы старские ее сторону взяли. Отлилось Руфине неуважение к общественному мнению. Зинка же не унималась и говорила, что Руфина порченная, оттого ее мужики и бросают, и Руфина, когда на улицу выходила, чувствовала себя словно раздетой под любопытными взглядами. А тут еще девки подрастают и на них материнский позор ложится. Как быть?

Наконец встретила она однажды Лафтя и, гордость свою пересилив, взмолилась:

— Уйми ты Христа ради, Флавион Васильевич, ведьму свою!

— Чего еще? — буркнул Лафтя, для которого

вмешиваться в бабьи дразги было ниже собственного достоинства. Однако с женой поговорил, и та немного поутихла.

Развернулась Зинка в Старом вовсю. И года не прошло, как она прибрала к рукам деревню. Пошла работать продавщицей в ларек и завела там свой порядок: кому сколько захочет, столько и даст, а неугодных ей наказывает. Те шуметь пробовали, но Зинаида глоткой покрепче оказалась, и пришлось отступить, как отступились они когда-то перед такой же молодой и наглой советской властью.

Жизнь же в Старом в те годы была несладкой, как и повсюду. Начальство приезжало не затем только, чтоб урну для голосования привезти: кто в колхозе работал, одни трудодни и получал, а по трудодням этим — шиш, а кто сам по себе жил — а таких много в Старом было, — тем еще хуже приходилось. Обложили их налогами как волков красными флажками. Есть у тебя скотина или нет, держишь кур или не держишь, а мясо государству сдавай, яйца сдавай, молоко сдавай. Руфина бедствовала тогда отчаянно, еле-еле концы с концами сводила, до весны дотянет, а дальше хоть в петлю лезь. И простить Зинке, что та над ней измывалась и с деревней рассорила, не могла и по сей день.

А ведь была у нее возможность отомстить обидчице. И как отомстить! Знала Руфина про Зинку одну вещь, что та ей за молчание б руки целовала, но совесть у Руфины была и гордость. А еще понимала, что для того ей про Зинкин позор и рассказали, чтоб скандал вышел и чужими руками жар загрести.

Дело было вот какое. В те времена верстах в пятнадцати от деревни, в Тавеньге, работали на рубке леса заключенные. Были среди них и расконвоированные, и те, кто, срок свой отбыв, оста-

вался, жили они в поселке, и магазин там был куда лучше старского. Тогда бабы местные, страх свой перед эками пересилив, стали ходить в Тавеньгу и продавать там съестное. Мужики охотно покупали, и деньги давали живые, было на эти деньги что купить. И вот раз пошла Зинка с покойницей бабой Маней в Тавеньгу. Была она там не впервой, все ходы и выходы знала, а к тому же говорили, что при ее должности у ней излишки оставались. Все они удачно совершили и шли уж обратно, как вдруг нагоняют их трое мужиков.

- Стойте, бабы! - велят. - Вы откуда будете?

- Из Старого, - ответила баба Маня и задрожала: мужчины были важные, представительные и очень решительные.

Хотела она украдкой перекреститься, но тут один из мужиков ей говорит:

- Ты нас, бабушка, не бойся, никто тебя не тронет. Ты женщина хорошая и иди себе куда идешь. А вот эта сучка, - указал он на Зинку, - что нам в прошлый раз яйца тухлые подсунула, счас нам заплатит.

Зинка побледнела и заголосила:

- Тета Маня, не уходи, тета Маня, погоди меня.

- Иди, иди, бабушка, - ласково сказал тот же мужчина, - она сама дорогу найдет.

Маня дошла до опушки леса, села на поваленное дерево и стала ждать. Зинка появилась через час, растрепанная, с какими-то шальными глазами и бухнулась перед Маней на колени.

- Христом Богом тебя прошу, не говори никому. Лафтя прознает - убьет меня.

- Отделали они тебя? - с ужасом спросила Маня.

Зинка кивнула, и Маня пообещалась молчать.

Однако надеяться на Манино молчание было столь же тщетно, как на то, что утром петух не про-

поет. Она честно крепилась до утра, а потом пришла из магазина ее дочка и спросила:

– Чегой-то Зинка добрая такая нынче? Масла мне на весы шлепнула полкило, да исчо довесок поклала, а денег-то лишних и не взяла?

– А то, – ответила Маня, и всё ей рассказала.

Манина дочка рассказала соседке, та своей крестной, и назавтра полдеревни знало о том, что Зинку продавщицу трое мужиков в лесу отделили за то, что она им яйца тухлые подсунула. Но дальше эта история так и не пошла. Сама же Зинка была уверена, что никто об этом ничего не знает, а, когда бабу Маню закопали на старском кладбище, и вовсе уверовала в то, что всё шито крыто. Так что если между бабами вдруг заходила речь о лагере, который давно уж перевели, как только вырубili весь лес, она всякий раз уважительно говорила:

– А мущины там справедливые были.

Бабы прятали на лицах улыбку и гадали, что б сделал с женой Лафтя, если б про то прознал.

С той поры много воды в речке Мудьюге утекло к Белому морю, вымерла добитая всеми новшествами и попечительством народной власти деревня, а нанесенная в молодости обида не проходила, но становилась резче и горше.

Жили они в эти годы по-разному. Зинку вскоре выгнали из продавщиц, да едва под суд не отдали, а Руфина на удивление всем вышла замуж за одного из бывших заключенных. Звали его Арефом. Они жили тихо и нелюдимо, он ни с кем из мужиков не сходил, работал скотником в колхозе, и никто в Старом не знал, счастлива Руфина иль нет. Но пожить вместе им довелось недолго. У Арефа вдруг появилась грыжа. Руфине-то советовали мужика в больницу с таким делом не водить, а сходить в соседнюю деревню к одной бабке, которая грыжу лечить умела, но Руфина не послушалась и решила,

что по науке-то надежней будет. Да и в больнице ее успокоили: операция не тяжелая, через неделю мужик здоровей прежнего приедет, только пусть сперва тяжести не поднимает. А привезли его в гробу. Дело было в апреле, гроб везли по рыхлому зимнику на трелевочнике, затем на лодке через вздувшуюся после ледохода Мудьюгу. Руфина не плакала, не убивалась, а как-то сжалась вся и застыла.

А где-то года два спустя после его смерти попала Руфина в больницу сама - руку обожгла сильно. И там санитарка, узнав, кто был ее муж, заплакала, а потом призналась, что это она в его смерти виновата: после операции забыла капельницу вовремя убрать. Санитарка плакала, и Руфина плакала вместе с ней, а сама думала: вот женщина какая, могла б смолчать, а не смолчала.

Грустные ей тогда все мысли в голову шли: за что у нее такая жизнь, кому она что плохое сделала? Дочери давно уж уехали, одна в Сибирь, другая в Среднюю Азию, замуж повыходили, сперва писали, а потом перестали. Других баб к себе дети жить не звали, так хоть внуков на лето привозили, было для кого по ягоду летом ходить, а ей и этой радости не оставили. Так и живи одна, пока не помрешь? Эх, дети, дети, сколько сил положено было, чтоб в люди их вывести, сколько от себя отрывала, а они - на тебе.

А у Зинки и того хуже вышло. Пришел из армии единственный их сын, но в колхозе работать не захотел. Только на гулянки ходил да водку пил. Лафтя терпел, терпел, а потом и говорит:

- Иди-ка сам на водку зарабатывай.

А тот ни в какую. Лафтя тоже уперся, не дает ему денег и всё. И нашли их сына через месяц в петле: так работать не хотелось, что повесился. И не он один на себя руки наложил - тогда за год трое

мужиков по собственной охоте с жизнью расстались, точно как тюлени морские из отравленной воды на берег выбрасывались. Зинка после этого пить стала. Лафтя не знал, что с ней и делать, и бить пробовал, и из дому выгонял, и, наоборот, заперал, а она всё равно напивалась. И пила-то страшно, тяжело, так что люди от нее отшатывались. Года три это продолжалось, а потом вдруг бросила пить и с тех пор к рюмке не прикасалась.

Так что по обеим жизнь телегой груженной проехала, и кто теперь скажет, что была когда-то Зинка молодой девкой и ходила павой перед своей соперницей — нынче обе старухи. Руфина-то та, пожалуй, даже покрепче была, хоть и старше. Она сама всю работу по дому делала: и дрова рубила, и воду носила, а Зина хоть деда своего ругала, но больше на диване лежала и жаловалась на давление. Слово это было неизвестное, городское, и отношение у баб к нему было трепетным. Про город они поговорить любили: там жили бросившие их дети.

А между тем в маленькую, Богом и людьми забытую деревню стали доходить неясные слухи, что в этих самых городах жизнь меняется, всюду голых девок показывают, есть скоро нечего будет, но самое страшное, говорили, скоро и до них дойдет эта чума и перво-наперво распустят колхоз. Боялись этого в Старом все, кроме деда. Они давно уже забыли, сколько муки из-за этих колхозов, то разъединявшихся, то укрупнявшихся, было принято, как людей из домов выгоняли, как в Сибирь ссылали, как у той же Руфины, когда еще отец ее был жив, дом хотели отнять. А говорил ему еще за несколько лет до этого старик Ефим Анифатьевич Тюков, бывший старский мельник:

— Ты вот, Сашок, умный, а я дурак, это ладно. Ты героем ходишь, у Буденова воевал в коннице, за советскую власть кровь проливал, а вспомнишь старика, поглядишь, как вы этой кровью умоетесь.

И как в воду глядел – выгнали красного рубаку; за то, что налог вовремя не заплатил. Спасибо председателю, заступился тогда за солдата, дал ему время чуток, чтоб денег собрать и избу, своими же руками построенную, обратно выкупить. Вот тогда-то и побежал он в колхоз вступать и Руфине велел, не под силу нам с ними тягаться. Всё это было пережито, как обманывали их, как давили, кому больше, кому меньше, а всем от колхоза досталось лиха. Но теперь-то, думали старухи, кто теперь о них вспомнит, о несчастных старских душах, как не колхоз? Кто им мучицы и конфеток привезет, кто пенсию станет платить немощным бабам? Нет уж, горбатились они всю жизнь на энтого барина и помирать при нем будут. Так старухи между собою решили и на том стояли.

А Лафтю, для которого весть об изгнании товарищей была слаще ягоды земляники, они и слушать не хотели. Он, дурак, всю жизнь против рожна пер, и странно, как это его в бараний рог не скрутили.

Еще в те времена, когда уполномоченный придет и начнет приказывать, что да где сажать, как гаркнет Лафтя:

– Начальства развелось – на х... всех посылать не успеваешь. Без вас мужик знает, как ему быть.

Сколько раз Зинка мысленно с ним прощалась и дрожала: дождется мужик, увезут его за длинный язык, но то ли внимания на него не обращали, то ли всё ж он помалкивал, когда надо, а так Лафтю и не тронули. Всю жизнь героем, единоличником проходил. Но ведь всё равно пришлось на колхоз работать – а куда от него денешься, когда всё кругом колхозное? Личным-то хозяйством не прокормишься, мельница у него была ветряная, сломать пришлось, потому что больно высок налог у товарищей.

И пошел он работать на колхозную пилораму. Двадцать лет без малого там отработал. А потом обидели деда. Случилось это на колхозном собрании. Поскольку народ туда своей охотой не шел, всем уж давно всё равно стало, чего за них решат, а страха прежнего не осталось, то распорядилось правление каждому, кто придет, давать по пяти рублей вроде как премию. Лафтя, стало быть, тоже пришел, всё ж пять рублей деньги не малые, на бутылку хватит, а ему только трешник подали, потому что не член колхоза.

Дедушка рассвирепел, швырнул трешник бухгалтерше в лицо и ногами затопал:

— Как работать, так просят: некому, говорят, больше. А как деньги платить — не член. У, змеиное вы отродье!

Он выскочил вон из клуба и пообещал, что ноги его больше на пилораме не будет, а на следующий день в Старом появился председательский газик, и сам председатель вручил деду деньги.

Однако мнение деда о колхозе не изменилось, и теперь как с трибуны он требовал:

— Пускай землю мужику отдадут! И мельницы разрешат, а то взяли моду, всё зерно себе увозят, а мы тут жди: соизволят товарищи мучицы подбросить или нет. Еще выдумали аренду какую-то. Тока и думают, как мужика заново обмануть.

— Да кому она нужна-то теперь земля твоя, старый? — возражали бабы. — Тебе, что ль? Ну так бери — вон ее скока! Иль нам? Ты лико, дедушко, у нас мужика ни единова, в Верховье двое и оба пьяницы, в Чужге тоже одни старухи. Ну? Кто теперь землю возьмет? А у нас тут свой колхоз. Текуза корову держит, а мы для ней сено все косим. Эх, не дал Бог вовремя помереть, когда все люди добрые померли, вот и мучаемся теперь.

Дед сжимал кулаки, плевался и, если сильно

бывал заведен бабским скудоумием, то шел к Руфине, единственной, кто ему не перечил.

— Лико ты какой, — говорила Зина, и в голосе у нее сквозило восхищение, — опять к этой бляди. Дедко-то еще того, — подмигивала она бабам.

— Чего? — спрашивали те изумленно.

— Курочек топчет, вот чего.

Бабы довольно хохотали и надолго пускались в приятные воспоминания, а дед в это время сидел у своей бывшей любовницы и, зорко оглядывая ее жилище, талдычил о том, что надо б ей избу выцепить да двор переставить.

— Даром, Лафтя, даром, — махала та рукой, — че с ней связываться? Бог даст, я раньше помру.

— Работы-то не много, — размышлял Лафтя, — раскатали б и на фиг, ставь как хочешь. И передок тоже подняли б, подруб сделать ряда на два.

— Да мужиков-то где возьмешь? — вздыхала Руфина, а дед думал, нальет она ему сегодня или нет. Пьянчужкой Лафтя никогда не был, но выпить, особенно в последнее время любил, потому что после стакана язык у него развязывался, и всё накопившееся за долгие годы вынужденного молчания выплескивалось наружу. С женой говорить было бесполезно: когда дед в очередной раз пытался объяснить ей, почему надо отдать мужику землю, Зина затыкала уши и говорила:

— И слушать тебя не желаю. Поди воды лучше нанеси, дедушко.

Лафтя страдал от непонимания и с какой-то очень глубокой, выстраданной горечью говорил:

— Глупая ты, старуха!

Пока молоды были, пока были общие дела да заботы, как-то жили и ничего, а теперь тосковал Лафтя. Пьянел он катастрофически быстро и после полстакана хватал Руфину за руки, целовал их и плакал старческими слезами:

... - Не стало меня, Руфка, совсем не стало. Раньше б всё я тебе сделал и на фиг.

- Ладно, дедушко, отступись, - говорила она, не отнимая рук, - нам жаловаться не на что, отжили уж свое. А молодым-то как?

Дед выпивал еще, его худое, костлявое тело сотрясалось, и, сверкая глазами, он восклицал:

- Политика! Знаешь ли ты, глупая женщина, что такое политика? Это эск-плу-о-та-ция эксплу-о-ти-ру-е-мых, - он с наслаждением по слогам произносил эти чужие слова, - вот что такое политика! Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Ленина, Сталина!

Дед говорил, говорил, речь его становилась всё бессвязней, потом голова бессильно падала на руки, и, глядя на него, Руфине странно было представить, что когда-то была она молодой, сильной бабой, а дед - здоровым мужиком, что жили они вместе в этой избе, как муж и жена. Лафтя-то, пожалуй, этого и не помнит. Да и ей самой теперь уж мало верится - уж целую вечность, кажется, старуха. Дедушка вот всё колхозы ругает, а что их ругать? Жили себе и жили в колхозе, работали. Работа она всяко есть работа, на себя ли, на барина или на колхоз. И не колхозы всему виной, а война. До войны много худого было, но такого не было, чтоб мужики баб бросали, чтоб дети уезжали, всё шло своим чередом, а вот война все напутала. Стали женщины мужскими делами заниматься, а мужики, как вернулись, над ними изголяться. А только где они теперь, эти мужики? В какую деревню ни зайдешь - всё старухи, стариков-то не стало. Один вот дедушка уцелел.

- Ну, старый, вставай. Пора тебе - а не то Зинка домой не пустит.

- Баба... глупая, - тяжело ворочая языком, говорил Лафтя, но послушно поднимался и, нетвердо ступая, выходил.

Он шел по улице, как идет в стойло бычок, размахивал руками, что-то бормотал и спорил с самим собой, и Руфину вдруг охватывал безотчетный страх. Это был их общий страх, то, что чувствовали они все – и Руфина, и Зинка, и дед, и Ольга Ганина, и Текуза, и Шура Тюкова, и Нюра, – все оставшиеся старские жители, то, о чем они постоянно думали, но о чем даже боялись говорить вслух между собой. И страх этот был куда сильнее боязни, что разгонят колхозы.

Уже много лет смерть обходила деревню стороной, как обходит в засушливое лето дождь, но всё равно она придет, и, сами того не ведая, они стоят в какой-то очереди, как стояли когда-то в зинкином ларьке. Им не дано знать, кто умрет раньше, а кто позднее, но как жутко будет тому, кто не успеет раньше других и останется здесь последним.

Тутаев

Рассказ

Корреспондент одной из московских газет Андрей Васильевич Шорин ехал к себе на родину в Тутаев. Была середина марта, на Волге еще не сошел лед, и от Ярославля ему пришлось добираться до места на автобусе. Всю дорогу Шорин находился в несвойственном ему возбужденном состоянии, но за этим возбуждением угадывалась некоторая тревога и странная обостренная восприимчивость ко всему, что его окружало. Его взгляд останавливался на лицах ярославских старух, на цыганках, детях, он оборачивался на чужие голоса и вздрагивал, когда к нему обращались с вопросами измученные ожиданием люди. Из-за весенней распутицы многие рейсы задерживались или вовсе отменялись, и ав-

товокзал был переполнен. Шорин потерянно бродил по маленькому залу ожидания, отстоял очередь в кассу, но, несмотря на свое удостоверение, билета так и не достал, и только под самый вечер ему удалось уехать, стоя в последнем автобусе, втридорога переплатив шоферу.

За окном тянулся унылый пейзаж, голый лес, поля с почерневшим осевшим снегом, где-то на заднем сидении громко плакал ребенок, и всё это болезненно отзывалось в нем печалью и тоской. Быстро стемнело, изредка навстречу, слепя фарами, выезжал на огромной скорости грузовик, и казалось, на узком скользком шоссе автобус и встречная машина неминуемо столкнутся, но в последний момент они разъезжались, и опять тянулась пустынная темная дорога.

В салоне было тепло, уставшие люди спали, и Шорину впервые за много лет стало опять как в молодости странно, что он может написать об этих людях, об их плачущих детях, о маленьких забытых деревнях и голодных городах. И то, что он напишет, будет размножено в миллионах экземпляров, его будут читать в этой огромной стране с ее переполненными повсюду вокзалами и разбитыми дорогами, он получит официальные ответы и письма. Но как бы были, наверное, поражены все эти люди, считающие его независимым и знающим себе цену журналистом, если бы узнали, что он не любит своей работы, стыдится ее, и в его жизни есть одно обстоятельство, которое он ото всех скрывает, полагая, что его деятельность и это обстоятельство есть вещи несовместимые. Он верил в Страшный Суд. Причем верил не отвлеченно и туманно, как иные из интеллигентов, а буквально всему, что написано в Библии, и с юности в нем жило неизвестно как и кем переданное ощущение, что все люди, и он сам, и те, кто его читают, и те, кто не читают, будут судимы сообразно своим делам.

Он давно собирался креститься. Однако по некоторым внутренним причинам откладывал это намерение, и лишь годы спустя, когда, много написав, сделал себе имя, когда женился и вырастил двух сыновей, после того как стали умирать один за другим кремлевские вожди и панихиды по ним предусмотрительно и исправно служились во всех российских приходах, когда наступили не раз предсказанные им перемены, сделались год от года голоднее и теплее зимы и всё пошло к какому-то надрыву, а может быть, и концу, тогда только он решился совершить задуманное, и с этой целью поехал в маленький волжский городок.

В этом городе жила его мать. В свои семьдесят с лишним была еще полна сил, читала газеты, смотрела телевизор, живо интересовалась политикой, и ему всегда казалось, что она довольна жизнью, как бывают довольны пожилые люди, сохранившие до старости бодрость и крепкий ум. Но в этот раз какое-то тоскливое предчувствие сжимало его сердце, и, глядя на ждавшую его, растерянную и суеющуюся женщину, он вдруг поймал себя на ощущении, что его мать, бывшая учительница истории и убежденная коммунистка, в сущности такая же старуха, как те бабки, которых он видел утром на автовокзале, и она читает эти газеты и рассуждает о текущем моменте лишь для того, чтобы заполнить чем-нибудь пустоту своей одинокой старости.

Он рассеянно отвечал на ее вопросы и ему хотелось рассказать ей о самом себе, о том, что его мучает и мучило все эти годы, но снова поглядев на ее усталое лицо с какими-то одновременно жалкими и жадными глазами, на эту небольшую комнату, похожую на убогий гостиничный номер, с коллективными фотографиями учеников, из которых получились хорошие или плохие работяги, пьяницы, воры или честные люди, добрые и злые мужья

и жены, но только не люди нового типа и новой морали, он отбросил эту мысль. Да и что он мог ей сказать? Что ее сын, которым она так гордится, боится оказаться после смерти там, где плач и скрежет зубовой, и теперь озабочен более всего не спасением Родины, а спасением своей души.

"Мама, мама, — подумал он, — несчастная моя обманутая мама. С тобой-то что там будет? Осудят? Или простят, скажут, не ведала она, что творила?". И ему вдруг стало не по себе, как будто он собрался навсегда уехать и бросить ее одну.

Он долго не мог уснуть в ту ночь, ворочался, иногда садился на край кровати, отдергивал занавеску и глядел на покрытую льдом реку и темный берег над нею. Два города стояли некогда друг против друга — Романов и Борисоглебск, но теперь их имена заменило одно, на слух такое же древнее, "Тутаев, Тутаев, — пробормотал Андрей Васильевич, — а кто теперь вспомнит, кем он был этот Тутаев и за что ему такая честь? Боже мой, как же всё нелепо устроено!" Он встал, тихо прошелся по спящему домику, выпил воды и, одевшись, вышел во двор.

Ночь была звездной и тихой, пролетели над садом бесшумные птицы и уселись на березе, точно пристыв к ее голым ветвям; оттаявшие за день лужи опять замерзли, их хруст раздавался по всему саду, и в этой ночи, и в звездах, и в недвижимых деревьях чудилось легкое, еле слышное дыхание. Но тяжелое смятенное чувство лежало у Шорина на душе. Оставшиеся до утра часы казались ему невыносимо томительными. Он думал теперь о том, что завтра должно произойти нечто очень важное, быть может, самое важное событие в его жизни, и ему было страшно, что какое-нибудь обстоятельство может этому помешать.

Наконец, он вернулся в дом и уснул, но спал Андрей Васильевич беспокойно. Странные картины

преследовали его всю ночь. То виделась ему жаркая пыльная степь, толпа людей, бегущих по выжженной, вытоптанной земле, и он сам среди этих людей. То вдруг отчетливо и крупно проступало грязное с каплями пота лицо мужчины в рваной гимнастерке и красными ромбами в петлицах, и он узнавал отца, погибшего в сорок втором году за Доном. То казалось ему, что он находится в незнакомом городе и его ищут и хотят убить, он не может найти убежища и снова бежит в толпе по знойной степи, а им навстречу поднимается политрук и пытается их остановить. Но озверевшая толпа сминая его, передние падают, сзади наваливаются остальные, и Шорин оказывается в гряде тел. Он пытается выкарабкаться, ему душно, он рвется изо всех сил и хочет крикнуть, что ему нельзя, ему еще рано умирать, и с ужасом чувствует, что у него больше нет голоса — только течет изо рта кровь и наливается тяжестью тело.

От этой тяжести он проснулся и не сразу понял, где находится и почему на него одновременно смотрит столько детских лиц. За окном было совсем светло, мать куда-то ушла, и он пошел в церковь. Его сильно лихорадило. Он старался идти быстрее, но стали словно чужими ноги, пересохло в горле, и Андрей Васильевич почувствовал, что в любой момент с ним может произойти обморок наподобие тех, что часто бывали в детстве от недоедания.

На полдороге за ним увязалась облезлая черная собака. Она терлась о его ноги, иногда забежала вперед, ложилась на спину и блудливо повизгивала. Шорин попытался ее отогнать, но, отбежав на несколько шагов, она возвращалась. Тогда он поднял с земли палку и замахнулся. Собака не испугалась, вильнула хвостом, и он едва удержался от того, чтобы не обрушить кол ей на спину.

— Господи, да что же это такое, — проговорил он, отшвыривая палку, — скорей бы дойти.

Никогда не бывало ему так скверно.

Наконец показалась за домами окруженная каменной оградой высокая пятиглавая церковь с темными куполами. Во дворе стояла машина с московским номером, несколько мужиков тесали доски, и хорошо одетые мужчина и женщина фотографировали наружные фрески и резьбу.

Глядя прямо перед собой, Шорин прошел мимо двух нищенок, грызущих семечки, и стал подниматься по лестнице, но сверху на него крикнули:

— Куда? Куда? Не видно что ли, пол только вымыли!

— Мне бы священника увидеть, — сказал он, держась рукой за перила.

— Священника, — проворчала женщина в синем халате, — на что он вам? Служба кончилась, а они всё ходят. Не буду я его звать! Батюшка отдыхает.

Шорин поглядел на нее и понял, что она действительно его не позовет. Тогда он достал свое удостоверение и молча показал его женщине. Та нахмурилась и быстро пошла по галерее мимо ярких фресок, кивком позвав журналиста за собою.

Священник оказался пожилым, полным человеком. Слушая Шорина, он пощипывал аккуратную седую бородку, качал головой, а потом неуверенно и несколько недоуменно произнес:

— Мы так-то больше по воскресеньям крестим. Да и вам бы подготовиться надо, попоститься недельку, на службы походить.

— Я бы хотел сегодня, — попросил Шорин.

— Уж и не знаю, как быть, — пробормотал священник, угадывая в пришедшем тот самый тип людей, облеченных властью, с которыми ему хоть и не часто, но все же приходилось иметь дело по разным неприятным поводам. И все-таки, не удержавшись, спросил:

— Что ж вы, ждали столько лет, а сейчас торопитесь? Да и как же без исповеди в ваши-то годы?

У него был тихий ровный голос, небольшие, но очень внимательные глаза, смотревшие немного настороженно и устало, и Шорин подумал, что этот человек очень болен.

— Я, батюшка, лгал часто, — вырвалось у него вдруг против воли.

— В мире много лжи, — отозвался священник не сразу и опустил глаза. — Ну да ладно, вы приходите тогда вечером после службы. Да рубашку с собой принесите белую.

Последнее проговорил он очень торопливо и скрылся в алтаре за неприметной боковой дверью, на которой был изображен ангел с мечом.

До вечера еще оставалось много времени, идти домой и слушать рассуждения матери о политической измене в высшем руководстве и угрозе военного переворота ему не хотелось, и Шорин спустился оврагом к реке. На льду сидели рыбаки, с той стороны шли друг за другом несколько женщин, и Шорин пошел им навстречу на левый берег.

Там был как будто и впрямь другой город. Он стоял на высокой круче, перерезанной в нескольких местах глубокими оврагами, с шестью стройными церквями по-над Волгой, старинными каменными и деревянными домами, земляными валами, колодцами и садами.

Андрей Васильевич шел по главной улице, носившей имя Урицкого, заходил в магазины, в одном из них купил сорочку, и постепенно чувства его успокоились. Прелестен был этот тихий, не испорченный новостройками, городок. К полудню выяснило, стало припекать солнце, по крутым улочкам потекли ручьи, и он подумал, что в его жизни могло так стать, что он никуда бы отсюда не уехал, а прожил бы тут всю жизнь и радовался этим домам, деревьям, реке. Зимой ждал бы, когда станет лед, а весной — когда он сойдет, и тогда его

мать, наверное, не читала бы сейчас газет и не убивалась из-за того, что вожди не могут между собой договориться. Хотя, если бы эти вожди понимали, что и их ждет то же, что ждет всех, и никакие самые торжественные панихиды по всей стране им не помогут, быть может, вели бы они себя иначе.

Он думал теперь о предстоящем крещении как о деле решенном и как бы уже свершившемся, но чем ближе был вечер, тем мятежнее делалось у него на душе, и он снова ощутил то мучительное беспокойство, какое испытал этой ночью. Он не мог понять, чем оно было вызвано, то ли этим сном, то ли воспоминанием о матери, то ли разговором с осторожным священником, видевшим, что к нему пришел совершенно посторонний человек, но что-то теперь не пускало Шорина в церковь.

Смеркалось, слабо зазвучал за рекой колокол, собиравший прихожан ко всенощной, а он по-прежнему брел куда глаза глядят. Множество самых разных мыслей, перебивая одна другую, теснились у него в голове, и наконец осталась одна, очень давняя и очень важная. Он подумал, что если все случится так, как он хочет, или полагает, что хочет, и он будет крещен, то ему простятся все его прежние грехи, он умрет в своей старой жизни, чтобы родиться для новой, и никто и нигде не предъявит ему счета за прошлое. Но понимая это умом, Андрей Васильевич не мог представить, что именно должно произойти, чтобы всё простилось и как он станет после этого жить.

"Что ж вы столько лет ждали, а сейчас торопитесь?" – прозвучал у него в голове вопрос священника, и Шорина снова залихорадило. Он отчетливо представил себе этого старого немощного человека, как любят его, наверное, старушки и идут со своими печальями и скорбями, а теперь пришел вот он, Шорин, профессиональный изощренный лжец с

тридцатилетним стажем и хочет эту ложь на него вывалить.

— А что бы вы сказали, святой отец, — пробормотал он в какой-то тоске и озлоблении, — если бы узнали, что я давно еще знал, что вот так приду однажды? Но не молодым, когда я так нагрешить успею, что чертям на том свете тошно станет, а потом приду. Ведь все одно — грехи-то простятся. Скажете, дурно пахнет идеяка эта? Не достоин сей человек такой милости? Нельзя ему во Христа облекаться? А сами-то вы достойны ли? Вы-то как станете отвечать, что всю жизнь этой сатанинской власти служили, что списочки всех, кого вы крестите да отпеваете, в прежние годы в исполком подавали? А у вас тут и сейчас, может быть, всё еще подают. Так что ж вы мною брезгуете, глаза долу опускаете? Исполкома боитесь? Что жаловаться пойду? Нет уж, батюшка, не вам решать, кто достоин, а кто нет. Ваше дело меня окрестить. А если что не так, — произнес он в сильном возбуждении, — то пускай ангел с мечом мне дорогу преграждает!

Он не заметил, что забрел совсем в глухой угол, где прежде и не бывал, и не сразу оттуда выбрался. А когда спустился к реке, то в первый момент ее не узнал.

Лед, на котором утром еще сидели рыбаки, был совершенно пуст. Неуловимо изменился его цвет, кое-где показались трещины, выступила вода, и до Шорина вдруг дошло, что случилось. Но как он, здесь выросший, мог не подумать об этом заранее? Сильное мартовское солнце сделало свое дело, река тронулась и на несколько дней разделила Тутаев вновь на два несоединяющихся городка, и пока не пройдет лед и не начнет ходить катер, связи между берегами не будет.

Холодок пробежал по его спине и объял душу мертвенным страхом. Дул сильный ветер с юга, и

казалось, что река слабо вздрагивает. Вместе с ним стояло еще на берегу несколько человек, не успевших, как и он, перебраться на правый берег, и толковали о том, что ночь будет теплой, а значит, теперь уж не подморозит и надо ехать через Ярославль. "Вот и поглядим, – с отчаянной решимостью, но больше от этого невыносимого ужаса, пробормотал Шорин, – попустит Господь или нет".

За его спиной раздались крики, матерная ругань, но он уже ступил на лед и, не оборачиваясь, пошел вперед. Пройдя шагов сорок, он подумал, что надо было по крайней мере взять палку и щупать перед собой дорогу. Лед был еще достаточно толстым, но очень рыхлым, и Шорин с усилием выдерживал ноги из ледяного крошева.

В одном месте нога ушла вглубь чуть ли не по колено, но, по счастью, лед не проломился, и, оперевшись на руки, Шорин приподнялся. "Вот и будет тебе сейчас купель", – пронеслось в голове. Однако ж он шел, хоть и шел довольно странно: не кратчайшим путем, а наискосок, туда, где стояла церковь, казавшаяся ему с воды совсем небольшой и приземистой. Уставшие от напряжения ноги дрожали, хотелось остановиться и перевести дух, но он продолжал идти, в какой-то момент даже забыв об опасности.

Наконец он дошел до берега. Здесь было пусто, Шорин сделал несколько шагов и сел на перевернутую вверх дном лодку. Он не почувствовал ни облегчения, ни страха, какой часто наступает после только что пережитой опасности, а лишь одну опустошенность. Промокшие ноги стыли, но он по-прежнему глядел на реку и прислушивался к самому себе, подумав вдруг, что в его давнишнем замысле был один уязвимый пункт – он мог внезапно погибнуть, не успев креститься. И ему показалось теперь необычайно странным то, что этого не про-

изошло. Точно была тут какая-то несообразность, и им снова овладела тревога.

Стало уже совсем темно, на землю опустился туман и едва-едва виднелись огоньки на берегу, а левого берега, откуда он пришел, и вовсе не было видно. Он шел к церкви, ожидая и даже желая, чтобы встала на его пути какая-нибудь новая преграда, но всё было спокойно и тихо, как обычно. Навстречу ему возвращались от всенощной старухи. Они шли, держась друг за друга на скользкой дороге, снова мучительно напоминая мать. Показалась церковь и тускло блескующие перед воротами лужи, напряжение его стало невыносимым, и, когда стал он уже подниматься по лестнице к ожидающему его священнику, острая догадка пронзила Шорина.

Он остановился, а потом повернулся и, невнятно что-то пробормотав, бросился к дому. Он бежал, обгоняя старух, задыхаясь в плотном ночном тумане, как бежал этой ночью по выжженной степи, как шел совсем недавно по льду. Наконец он вбежал в комнату, где сидела перед телевизором мать и пристально смотрела на расплывчатого сытого мужика с холодными глазами.

— Мама, — позвал ее Шорин, — скажи, ты крестила меня в детстве?

— Крестила, — ответила она, не оборачиваясь.

— Зачем? — вскричал он, опускаясь на табуретку и не в силах справиться с этим чудовищным обманом — будто уходила у него теперь из-под ног земля.

— Зачем? — переспросила она задумчиво. — Ты когда маленький был, спал плохо. Вот нам с отцом и посоветовали тебя в церковь отнести. У меня даже где-то рубашечка твоя крестильная сохранилась.

Она подняла на него глаза, и он неожиданно

увидел в них нежность и печаль. И глядя в эти глаза, Андрей Васильевич почувствовал вдруг утешение, точно ослабла давившая на него весь день тяжесть и осталась от страха одна неизбывная тоска по какому-то далекому и чудесному миру, который он никогда не увидит, не будь на то чьей-то великой милости.

Чистая Муся

Рассказ

Мусин отец Анемподист Тихонович Опарин был в Кашине личностью примечательной. По роду своей купеческой деятельности он ведал хлебной торговлей, сочетал при этом трезвый расчет с истинно российской страстью пускать пыль в глаза. Самодурство его доходило до такой степени, что в свое время он задумал покрыть только что построенный дом в центре города чистым золотом, для чего написал особое прошение в Петербург, но получил отказ. Это его не охладило, но весьма настроило против него кашинских обывателей. В семнадцатом году, когда купца лишили всех его богатств, многие испытывали мстительное чувство удовлетворения, хотя хозяйственная жизнь в городе замерла, остановленная как часы. Сам Анемподист Тихонович этого грабежа не перенес и умер от удара, оставив свою единственную дочь расплачиваться по его долгам.

Из особняка с мраморными лестницами и лепным карнизом, отданного под уездное ЧК, Мусю выселили и взамен дали крохотную комнатку в бывшем странноприимном доме, построенном ее же батюшкой. Впрочем, этого уже никто не помнил,

зато хорошо помнили пьяные кутежи и лихую купеческую тройку, не разбиравшую дороги. Мусе не могли простить того, что еще год назад перед ее отцом все ломали шапку, и теперь узнававшие ее в голодных очередях женщины смеялись над ней, отталкивали и плевались вслед, словно почитая виновной в нынешней разрухе. Муся сносила все плевки и унижения молча, продавала немного, что осталось у нее из вещей, и вскоре кашинцы потеряли к ней интерес и привыкли к тому, что самая богатая некогда невеста работает на телеграфе.

Муся жила уединенно, посещала политзанятия, откладывала из своего скудного заработка на кинематограф и ничем не отличалась от обыкновенной служащей. Однако несмотря на полную лояльность к новым властям, избирательного права купеческую дочь лишили. Бог знает отчего, но это обстоятельство девушку потрясло. Легко смирившаяся с тем, что ее ограбили и выкинули на улицу, она не могла снести этой последней несправедливости и стала ходить по советским учреждениям, добиваясь того, чтобы ей разрешили голосовать.

Ей всюду отказывали, но она не сдавалась, и тогда Мусю вызвали в дом, где прошло ее детство, и бывший кашинский аптекарь Давид Маркович Коган грозно спросил, с какой целью она мутит воду и отвлекает занятых делом людей по пустякам.

— Это не пустяки, — возразила Муся, но Давид Маркович велел ей сидеть тихо и пригрозил, что применит всю строгость революционного закона, буде она вздумает куда-либо еще обращаться.

Муся вышла из отчего дома не помня себя. Страшные мысли приходили ей в голову, и сама жизнь казалась невыносимой. На работе она была невнимательна и еле сдерживалась, чтобы не расплакаться. Но вдруг чей-то спокойный и ласковый голос, от какого Муся уже давно отвыкла, произнес:

– Не волнуйтесь вы так, милая барышня.

Девушка подняла голову и увидела мужчину лет тридцати. Он был одет очень просто, но мусин глаз заметил странное несоответствие между одеждой незнакомца и его внешностью.

– У вас что-то случилось? – спросил он мягко.

Муся кивнула и расплакалась.

– Послушайте, – сказал он, наклонившись к ней, – почта уже закрывается, давайте я вас провожу.

Муся сама не могла понять, почему вдруг доверилась этому человеку, и дорогой рассказала ему о своем несчастье.

Он слушал ее очень внимательно, и его лицо выражало недоумение и печаль. А Муся была благодарна своему провожатому за то, что в этот вечер оказалась не одна.

На следующий день мужчина пришел на почту снова и принес Мусе цветы. Однако она о нем так почти ничего и не узнала кроме того, что он приезжий и зовут его Сергеем Александровичем.

Некоторое время спустя он уехал, обещав вскоре дать о себе знать. Муся ждала его с обычным девичьим волнением, но ни самого Сергея Александровича, ни вестей от него не было. Он приехал только через полгода исхудавший, бледный, со следами недавно перенесенной болезни, но с такой же нежностью в глазах. Муся всплеснула руками и, уже ни о чем не думая, привела его к себе.

В комнатке с купеческими шторами и зеркалом – единственным, что не продала она из прежних вещей – было уютно и тепло, лицо молодой хозяйки светилось радостью, и Сергей Александрович, откинувшись в кресле, вдруг тихо проговорил:

– Вы удивительная девушка, Мария Анемподистовна. На вас глядя, можно подумать, что ничего страшного, ну если только не считать того, что вас

лишили избирательного права, не произошло. Неужели вам не жаль той жизни?

— Нет, — ответила Муся, — я никому не обязана теперь, свободна...

— Свободны? — воскликнул он. — И вы можете это говорить?

— Да, — сказала Муся и опустила голову, — батюшка мой был человек суровый, и хоть грех так думать, но с его смертью я вздохнула легче. А что до денег, то с меня довольно и того, что я зарабатываю.

Сергей Александрович хотел было что-то возразить, но потом тихо проговорил:

— Не знаю, может быть, вы правы. Но я в этой стране, после того что здесь случилось, жить не могу. И ни в какой другой тоже не могу, — добавил он задумчиво и вдруг улыбнулся какой-то детской улыбкой: — А вот у вас так хорошо, что и уходить никому не хочется.

— А вы не уходите, — сказала Муся и покраснела.

— Я не смею этого сделать, — отозвался он печально, — потому что боюсь подвергнуть вас опасности лишиться не только избирательного права, но и всех других.

Муся вспомнила суровое лицо аптекаря, ей стало страшно, но быстро и глядя куда-то в сторону, она произнесла:

— Всё равно. Это неважно.

Через месяц Муся и Сергей Александрович поженились. У него было немного денег, и они купили отдельный домик с небольшим садом на окраине Кашина. Муся была счастлива и, даже вспоминая былую роскошь, не чувствовала себя такой богатой, как теперь, когда у них появилась эта лачужка с куском земли.

Они жили покойно и мирно, выращивали в саду цветы, читали книги и гуляли вечерами вдоль речки Кашинки, и однажды, сидя на террасе и глядя на предказатный городок, с молчаливыми поредевшими церквями, Сергей Александрович задумчиво произнес:

– Странно, но люди так же живут, женятся, рожают детей и умирают, и никому нет дела, какая над ними власть. И мне в сущности тоже.

Муся улыбнулась и промолчала.

Так прошло несколько лет. Сергей Александрович располнел, отпустил бородку и вступил в профсоюз. Он всё меньше язвил, читая советские газеты, и казалось, ничто не предвещало беды, но однажды в их дом постучался незнакомый Мусе человек.

Он выглядел так, как несколько лет назад ее муж: под обыкновенной одеждой чувствовалась офицерская выправка и глаза глядели настороженно и хмуро. Увидев его, Сергей Александрович побледнел. Мужчины прошли в комнату, и, стоя возле двери, Муся слышала, как пришелец объявил о готовящемся выступлении. Сергей Александрович сперва молчал, а потом стал говорить, что всякая борьба давно уже бесполезна. Гость возражал и обвинял бывшего товарища в трусости. Потом в комнате раздался звук пощечины, и незнакомец вышел, не глядя на Мусю.

– Кто это? – спросила она с упавшим сердцем.

– Сильвио, – криво улыбнулся муж, но глаза его остались неподвижными.

– Он больше не придет? – произнесла Муся со страхом.

– Нет, – покачал головой Сергей Александрович, и Муся облегченно вздохнула.

Однако радость ее была преждевременной. День ото дня муж становился все более мрачным,

курил и ворочался без сна, а потом объявил, что должен на время уехать.

— Куда? — спросила Муся, и всё оборвалось у нее внутри от страшной догадки.

Он ничего не ответил, но у него вдруг дернулась щека, и Муся поняла, что все ее мольбы будут напрасными: ее муж снова превратился в оскорбленного дворянина, для которого не было ничего важнее собственной чести.

Месяц спустя Муся прочитала в газете, что в Москве раскрыт контрреволюционный заговор. Все его участники предстали перед трибуналом и были расстреляны. В их числе был ее муж.

Саму Мусю почему-то не тронули, но она об этом не задумывалась. Горе ее было так ужасно, что она не могла ни о чем думать и даже пыталась понять, справедливо или несправедливо поступили с ее мужем. Вопрос этот был столь же нелепым, как если бы он попал под поезд или умер от внезапной болезни. Но ни зла, ни обиды в мусином сердце не появилось.

Внешне ее жизнь изменилась мало. Она по-прежнему ходила на службу, отдавала, как и все трудящиеся, треть зарплаты на займ, но единственное утешение находила теперь в цветах, заменивших ей все прежние радости и живо напоминавших о счастливых днях, проведенных с Сергеем Александровичем.

Одному Богу известно, какие секреты знала несчастная женщина, но таких удивительных фиалок, анютиных глазок, пионов и георгинов ни у кого в Кашине не было. Каждое утро, просыпаясь, Муся первым делом шла в сад разговаривать с цветами. Она рассказывала им обо всех мелочах, жаловалась и просила совета, и постепенно боль в ее сердце стала утихать, — Муся привыкла к тому, к

чему, казалось ей, привыкнуть она никогда не сможет.

Не могла она смириться лишь с тем, что лишена возможности навестить могилу мужа, точно так же, как по-прежнему лишена права голоса, и два этих лишения странным образом слились в ее сознании в одно. Однако настаивать на их отмене Муся не смела: покойный муж своим ужасным деянием стоял между нею и всем миром, и Муся со смирением несла свой крест, надеясь на лучшую участь.

И наступил год, когда великодушная власть простила и признала всех своих подданных независимо от того, кем были они или их родственники в прежней жизни, и дала каждому священное право голоса. Узнав об этом, Муся заплакала. В ее застывшей душе шевельнулось чувство, похожее на то, что она испытывала к отцу в те редкие минуты, когда он ее ласкал. Повинуясь этому безотчетному порыву, забыв о совете мудрого, хоть и тоже не уберегшегося Давида Марковича не тревожить собою занятых людей, Муся написала в Москву письмо, умоляя сказать ей, где похоронен ее несчастный, заблуждавшийся муж.

Две недели спустя воронок с зарешеченными окнами, каждый день объезжавший безмолвный город, остановился возле цветущего сада на окраине, и Мусю увели мимо поникших от утренников георгинов, так и не дав ей проголосовать.

Цветы в саду первые годы еще цвели, но постепенно они заросли бурьяном, потом началась война, дом обветшал, и покупателя на него не нашлось. Лишь много лет спустя в нем поселилась какая-то старуха. Грубыми неsgiбающимися пальцами она вырвала все сорняки, засадила участок картошкой, кое-как залатала крышу и зажила обыкновенной жизнью одинокого, никому не нужного человека.

Но открылось вдруг одно странное обстоятельство, понять которое никто не мог. В дни выборов, когда кашинцы отправлялись голосовать, а заодно купить по случаю пряников или конфет, на старуху нападала тоска. Она забивалась в темную комнату, весь день никуда не выходила и голосовать категорически отказывалась. Одно время ей приносили урну на дом, просили опустить бюллетень, убеждали и даже пытались пригрозить, что лишат пенсии и отнимут дом. Старуха бледнела, сжималась в комок, но не то с печалью, не то с какой-то затаенной гордостью говорила, что она лишенка, и в конце концов ее оставили в покое.

* * *
*

"Параллельные места"*

* * *

Спят мои домашние потери
город-вьюга и земля-осанна
но никто из смертных мне не верит
по словам слепого Иоанна

Как-то зябко мне и одиноко
путник на повозке деревянной
ночь не в ночь
двумерная дорога
тянется по небу Иоанна

Даже птицы улететь забыли
и застыли посреди тумана
Я держу в огне слезу Рахили
белым днем и клятвой Иоанна

Слуги камня
сложенные речи
как свобода в чреве океана
Только мне с душой не будет встречи
в вечности слепого Иоанна

* Стихи из рукописи сборника то же названия.

* * *

Кому он нужен – ранний белый снег?
Белей его, наверно, только горе.
В больничном коридоре взят разбег,
который кончится в таком же коридоре.

Иду в больницу. Снег белее дня.
Белее снега свет больничной стужи.
Колокола Воздвиженки звонят
о том, что снегу человек не нужен.

Жизнь выпадает. Снега рядом нет.
Есть коридор, которым всё уходит.
Один из нас другому смотрит вслед.
Один еще, другой уже – свободен.

* * *

Мне холодно в этом обжитом мире
не потому, что другим тепло,
не потому, что в слепой квартире
я всё чаще открываю окно
и задыхаюсь от снежного роя...
Черная иволга в кроне пустой.
Смех за спиной моего героя –
ноющий смех за моею спиной.

Корни да сучья учили Сивиллу
дельфийскому склону трясти головой.
Холодно с теми, кого не убили,
а собаки до сих пор переходят на вой.
Холодно
с вымершими облаками
и затерявшейся в них землей,
потому что к ним мы летели сами,

и каждому из нас напевало пламя:
невесомость гонится за тобой.

* * *

Листва теряет дерево заката.
Как по грибы сбежавшая тюрьма,
мир стукачей гуляет воровато,
чтоб всем хватило царского дерьма.

Как будто в ночь подсыпана зола,
и белый хор стоит в зеркальной нише.
Нам выпали семейные дела:
быть с каждым эхом всё точнее и тише.

Так между звезд скользит змея покоя.
Мечты из ада строят новый дом,
и ангелы следят из-за угла,
чтоб млечный вор не вышел из запоя
и не заметил вечность за столом.

* * *

Говорил долго, чтобы понимать сразу.
Боялся мыслей с закрытыми их глазами.
Видел, как исчезают в приказах
люди с лишними головами.

Не просил о встрече. Не умолял о разлуке.
Бывал себе в глуховатых стенах...
Думал, что есть вездесущие звуки, –
оказалась вездесущей только их пена.

Казалось, что меня никто не осудит,
если затеряюсь в чужих "если".

Думал, что бывают мертвыми люди.
Оказались мертвыми
песни.

* * *

Высокий берег меня не достал.
Сын и отец... Лунный обычай
искать беду и терять места
Богом оправленного величия.

Сам по себе сидишь у огня
и переводишь на страх Гомера:
слева – херонова ладья,
справа – троянистая триера.

Шут выбирает свой звездный час.
Облако спящих. Золото нищих.
Дед из Одессы... Весь этот джаз
был деревянным – останется птичьим.

Берег высокий в знакомой воде.
Полуразвод у мостов и соседей.
Едет по встречной никто и нигде,
умер давно, а по-прежнему едет.

* * *

Мандельштам сидит у камина,
Одиссей стоит у окна.
И прошедшей страны не видно,
и грядущая не нужна.

Не просить, не бояться, не думать...
Глас пустыни стоит на посту,

и отходят зеркальные дюны,
как горбатые сны в пустоту.

Перевод дорогого слова.
Киммерийская пена у ног.
Ежедневно душа Иова
переходит любви порог
и считает свои святыни...

Вавилон построен давно.

Если смерть никого не обнимет –
Одиссей закроет окно.

* * *

По простору Лукомора
холод сходит со спины.
Голос из дурного хора.
Дым обещанной страны.

Гнев ползти не то чтоб рядом –
гнев не то чтобы ползти –
бесконечно русским взглядом
извиваться...

День к шести
разъезжает с пьяным гиком,
возвращается домой
к бабам и великим книгам
вечно лишним меж собой.

Между вороном и воском
на игле в сухом аду
ангел возвращенья...
Бог с ним,
с серым ангелом во льду!

Он давно уже не с нами –
еле зримый сквозь дожди,
в небе
или под ногами,
или просто впереди.

ВОЗВРАЩЕНИЕ С МОРЯ

До сосновых раздумий от еловой тоски
навстречу поезду птицы летят.
Кажется, что едешь не в сторону, а вниз...
Окнам удастся мелькающая земля.

Из падения листвы уехать в недельный снег.
Помнить, что мелко. Помнить, что глубоко.
Из белого шума выбраться без помех.
Обрасти прохладой со скоростью облаков.

В зимующем доме услышать возврат часов,
по сквознякам выдумывая ветра.
Тщательно стряхивать с простыней песок.
На ровном месте ворочаться до утра...

* * *

Пока земли касается ладонь,
пока земля заносит, а не вертит,
у страха смерти мы крадем огонь,
который нас крадет у повторенья смерти.

* * *

В талантах шитых нам равнин
опасен лишь один припев –

в нем дети плановых руин
пускают пузыри толпе,
в нем, кто не спился,
пьет в уме,
чтоб изменяться на глазах,
в нем приблизительный Аллах
ползет по собственной спине,
в нем – как и сочинялось мне –
сидит в породистом холме
геологическая жуть,
и, чтобы память обмануть,
она летает по стране
несократившихся людей...

В талантах шитых нам равнин
с прибитых к дереву вершин
поет неглинный соловей.
И всё понятно. Хоть убей.

* * *

Мама моя не желает шить
и потому живет
там, где я не желаю жить
и жизнь меня не берет.

Мне бы смолчать на худую тщету,
выучить "степь да степь",
сына увидеть сквозь суету...
Жизнь короче, чем смерть.

Черной посудой молчит огонь.
Окна дорогой живут.
Всё мне мерещится – только тронь! –
гнилые нити поют.

Мама, поденный ангел семьи,
степями Зайсана живет
так, что не рвутся мои
ночи и дни напролет.

Как ты печален, ночной воробей.
Время умеет шить.
В полынной степи дорогих людей
снует горизонта нить.

* * *

Еще я вижу все ее движенья,
еще меня не различает с ней
земное время – плоть да плоть – круженье
приговоренных к точности теней.

Круги расходятся. Надежда неподвижна.
Виолончель и альт ведут домой.
Я был любим. Теперь я только ближе...
Я близок так, что звуки не со мной.

Пока за ритмом меркнувшего света
следит смычок в исчезнувших руках
я чувствую, что выбрался из бреда,
и только жизнь оставил при словах.

Для музыки, для камерного срока,
для оркестровой ямы тех, кто жив,
мое "люблю" тобою одиноко...
Да больно скрипка слухом дорожит.

* * *

Голоса в камышах и дощатый на сваях настил...
Останавливать взор может сон, могут солнце
и камни.

Но куда бы ни шел – берега зарываются в ил.
Берегущих дорогу шаги забывают плавно.

От полей до полей – то деревни, то лица и дни,
то опилки пьянеющей к солнечным склонам оравы.
Распеваает жара. Поколение плоти звенит.
В каждом звоне обида дороже славы.

* * *

...и вот ни духом и ни сном
ты провалился, словно не был,
в другое по созвездьям небо
таким же, как и здесь, шутком.

Пока всё строится и ноет,
учиться собирать песок,
родниться с выпавшей страной
на замираемый восток,
иль просто жить с казенной мамой,
играть природу для людей,
гулять с высокими домами
по гулкой памяти своей.

.....

Пророк рождается в хлеву
с тяжелой и неверной тенью
и каждое его движение
дается замертво ему.

* * *

Это из моего окна:
старая церковь, дорога, болото,
заброшенное кладбище и типовые дома
тех, кто каждый вечер идет с работы
так, что церковь им не видна.

Всё в порядке с друзьями –
каждый вечер могу поехать,
помолчать, поспорить, остаться заночевать...
Иногда мне снится твое эхо,
что кажется – я разговариваю и кричать.

Всё точнее выбираю слова от той грусти.
Трепыхаюсь в голове, что ты не спишь.
То, что надоело, сейчас тебе не придет.
Придет то, что давно тебе не нужно.

В комнате со мной много вещей, как
и незаметно для меня, что ты уходишь.
Примерно тогда же начинаю плакать –
не бояться человека, а бояться себя.

.....
В осенних дорогах слышно, как каплет вода.
Оглянешься на Орфей, а жизнь тебя потеряет.
Если бы знал, не пошел бы – куда...
Но не хватает... Совести не хватает.

* * *

*

Евгений БЛАЖЕЕВ

Роман Булгакова как опыт русской бездны

Хорошо помню мучительно-тревожное ощущение тайны, долго бередившее душу после первого знакомства с романом Булгакова "Мастер и Маргарита". То же, но еще острее, испытал, перечитывая роман заново. Старые вопросы не только приобрели новый, откровенно пугающий масштаб. Они переместились на иной уровень, сгустились вокруг других образов и потаенных глубин.

Начну с того, что сейчас представляется мне главным. Не мастер, не Маргарита, даже не Воланд и тем паче не Пилат. Иешуа Га-Ноцир - герой романа в романе.

Не вызывает сомнений, что прототипом этого образа является Иисус Христос. Во что же он превращается у Булгакова? В нечто весьма и весьма далекое от оригинала. Конечно, первое, что бросается в глаза, - перемена имени. Перемена не случайная и на нее стоит обратить внимание. Как известно, Иисус происходит от греческой формы Иешуа, означающего "Господь спасает". Христос происходит от греческого перевода слова Мессия и означает "помазанник", включая в себя одновременно должность царя и священника.

Сохранив лишь половину канонического имени, Булгаков лишает героя Божественной природы и предназначения. Но ведь он остается Иешуа, то есть спасителем, могут возразить мне. Да, но как же ему спасти, не будучи Христом?

Вспомним Священное писание. "Иудеи сказали Ему в ответ: не за *доброе дело* хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человеком, делаешь себя Богом". Свою Божественность Христос утверждал постоянно и никогда от нее не отрекался. У романного Иешуа нет и намека на подобное притязание.

Кто он? Некто без роду и племени, "подкидыш, сын неизвестных родителей". Одним словом "бродяга", как по справедливости характеризует его Пилат. Подмена в главном с роковой неизбежностью диктует ход дальнейших метаморфоз. Обвиняя Левия Матвея во лжи (пускай и невольной), Иешуа Га-Ноцри лишает достоверности все свидетельства евангелистов. "Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил". "...ровно ничего из того, что написано в евангелиях, не происходило на самом деле никогда", с готовностью вторит ему Воланд. А что же было? Взамен Боговдохновенной "путаницы" рукою мастера пишется по-дьявольски достоверное евангелие от Воланда. В котором христианство рождается из слухов и домыслов, до коих были так охочи темные и дикие жители Ершалаима с их магами, чародеями, волшебниками и стаями богомольцев. Что с них взять - "фанатики, фанатики!"

Лишенная метафизического обоснования, история начинает зиять множеством черных дыр и пустот, заполняемых малоубедительной житейской психологией. Левий Матвей бросает свои занятия и отправляется путешествовать (!). Почему? Да просто потому, что странствовать по свету в компании хорошего человека куда интересней нудной и рутинной службы по сбору податей. Мотивация по-русски понятная. Но в данном случае явно отдающая мелкотравчатостью.

Иуда, предавший Христа, не вынеся ужаса совершенного, убивает самого себя. Иуда, предавший Га-Ноцри, ничего кроме похотливого вожделения к строптивой красоте не испытывает. И в самом деле чего терзаться? Он ведь обрек на смерть простого бродягу. Как верно подмечено Воландом, "факт - самая упрямая в мире вещь". За-

то о его интерпретации этого не скажешь. Иуда мертв. Факт остается Фактом. Только суд совести подменен судом земным. Даже и не судом вовсе, а тайной расправой Пилата. А как еще может вершиться справедливость в мире, в котором Бог убит, не родившись?

Но самые катастрофические потери претерпевает центральная фигура истории. Слабым и беспомощным с жалкой просительностью в глазах предстает Иешуа Га-Ноцри на суде прокуратора Иудеи. Так и слышится невысказанная мольба, обращенная к Пилату: "Дяденька, не бейте меня!" Это воплощение человеческого добра, не ведающего о сокрушительной мощи зла. Этому Иешуа не было искушений в пустыне. Арест по тяжкому обвинению для него первая серьезная встреча со злом. Отсюда откровенная растерянность и суетливость в поведении Булгаковского героя.

Какой разительный контраст с Христом! Умаленный в Своей природе до положения худшего из смертных, беззащитный как агнец пред ножом мясника, Он не терял поистине царского достоинства. Что Ему был суд этих ничтожных правителей, когда вслед за крестными муками Его ожидало венчание на вселенское царство?

"Весь напрягаясь в желании убедить" - доминанта поведения Иешуа Га-Ноцри. Невольно напрашивается вопрос - кого? И еще более существенный - зачем? Опять не уйти от сравнений. Реальный Христос на допросе у прокуратора молчал. Ибо Им же было сказано: "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас".

Чего стоит одна фраза Га-Ноцри: "Мне пришли в голову кое-какие мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными". Пытаюсь представить себе Иисуса Христа, прогуливающимся под ручку с Понтием Пилатом и ведущим задушевную беседу о смысле бытия. Булгакова со Сталиным в этой сцене с трудом, но представляю, Христа с Пилатом - хоть убейте! - нет. Дальше -

больше. "Чем хочешь ты, чтобы я поклялся?" - спрашивает несчастный Иешуа. "А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом... ни землею... ни головою твоею не клянись..."

Или вот еще, совершенно обескураживающая просьба Булгаковского героя: "А ты бы отпустил меня, игемон". И опять не могу удержаться, чтобы не процитировать Евангелие от Матфея: "И отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! Он же обратившись сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое".

В том-то и дело, что Иешуа в романе не Один, а один из многих. В чем его отличие от множества галилейских фанатиков, которые выдавали себя за пророков? Лишь в том, что он не фанатик, а просто добрый человек? Да, и не более. Христос был поистине невинной жертвой. Слишком человеческое лишает Га-Ноцри невинности. Сам того не ведая, он совершает все апостольские грехи. Причем, вот что любопытно, - грехи тех, от кого в романе остались только двое (прочие если и были когда, то давно "рассеялись каждый в свою сторону"). Как Иуда - он доносит и предает. Как Петр - отрекается. Как все они - трусит и малодушничает.

Слишком человеческое звучит в ответе на извечный вопрос: "Что есть истина?" Она, оказывается, в головной боли тирана. Вдумаемся, чем является такая умопомрачительная боль, боль, доводящая до безумия, до отчаянного вопля о смертельном яде? Что такая боль, как не испепеляющая душу печать зла? Не свет спасения, но мрак беспросветный открывается нам в этой истине.

Слишком человеческое делает бессмысленной смерть на Лысой горе, оставляя нас с обезображенным трупом, перетаскиваемым с места на место. Пусть даже это труп лучшего из людей. Не это важно. Важно то, что здесь торжествует смерть, распад, тлен. И значит нет никому из нас никакого спасения.

Слишком человеческое продолжается и за последним

жизненным пределом, превращаясь в гегелевскую дурную бесконечность. "Они спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не мог победить другого". Га-Ноцри мастера и в посмертном своем существовании не в силах разорвать путы павшего мира. Ту несвободу и внутреннюю недостаточность, которая вынуждает его в сцене суда и сейчас на призрачной лунной дороге что-то мучительно доказывать, обрекая его на "слова, слова, слова". Тот, кто победил мир Своим духом, в романе безнадежно пытается одолеть его словом. Не тем словом, что было в начале и которое было Бог. А словом земным, отравленным ложью и лукавством. Той самой "софистикой, до которой падок дух зла и повелитель теней". Только в обществе, свихнувшемся на почве оголтелого атеизма, подобный текст могли расценить как "апологию Иисуса Христа".

Но, пожалуй, следует остановиться и умерить свой пыл. Не для того я пишу об этом, чтоб уличить Булгакова в невежестве, или того хуже - злом умысле. Ни в том, ни в другом заподозрить его уж никак нельзя. В связи с этим возникают по крайней мере два очень непростых вопроса. Первый из них почти открыто слышится в диалоге Воланда с мастером.

"- О чем роман?

- Роман о Понтии Пилате.

- О чем? О чем?.. Вот теперь? Это потрясающе!"

И действительно, неужто мастер-Булгаков не мог подыскать менее опасный сюжет? Неужели не сознавал, что во времена осатанелого богоборчества лишь примитивная карикатура в духе журнала "Безбожник" имела шансы на публикацию? Что за неодолимая сила двигала им, побуждая битого-перебитого игнорировать доводы здравого смысла, житейского и творческого расчета, перебарывая даже инстинкт самосохранения?

Представим себе русского писателя, вся литературная судьба которого проходит под знаком бесконечно тупого, наглого и циничного издевательства. Физически и нравст-

венно измотанного на русско-большевистских горках, где с тошнотно-безысходной методичностью отчаянье сменяется надеждой, надежда срывается в очередной провал беспросветности, из которого воля к жизни готова ухватиться за любую соломинку, чтобы опять... и опять... Представим, как человека честного, аристократически гордого, благородного, год за годом сгибают в бараний рог, заставляя соответствовать тому, что противно его нравственному чувству и самому естеству. Представим мужчину в расцвете жизненных и творческих сил, которого фактически убивают, изымая не только из печати, но из жизни как таковой.

И тогда мы поймем, что хотел сказать другой мученик эпохи - Альбер Камю: "Разум бессилен перед криком сердца".

"Неслыханные перемены", бывшие трагическим предчувствием века минувшего, для века нынешнего и его современника Михаила Булгакова стали свершившимся фактом. Не разделяя упований на пришествие царства свободы и справедливости, он принимает революционный апокалипсис как неизбежную данность. Как опытный врач, принимает хронически-затяжную и в обозримом будущем неизлечимую болезнь. Не роняя своего лица, нужно вживаться в новые реалии, обустривать быт, кормиться писательским ремеслом.

После бесприютных скитаний по чужим углам, голода, нищеты, разрухи мечта о собственном доме казалась не просто элементарно-естественной, но спасительной. Спасительность эта быстро обнаружила свою иллюзорность. Каменные стены служили плохой защитой для истерзанного сердца, продуваемого насквозь ледяными ветрами истории.

Рожденный и сформировавшийся как личность в лоне прежней, пусть изрядно обветшавшей и безблагодатной, но все же христианской культуры, он в годы отчаяния и тьмы не мог не обратиться к той фигуре, что являлась несущей осью потопленного в крови мира. Больше в анти-

мире победившей утопии, где всё призрачно, изменчиво, враждебно, опереться было не на что. Вспомним: первое, о чем заводит разговор Воланд с местными обывателями, это разговор о Боге. О том, что Его нет. "Убит", - как страшно-откровенно провозгласил Ницше. Распят вторично. Уже не в далеком, затерянном в веках Ершалаиме, а здесь и сейчас... Древняя история словно бы восстала из праха в обжигающей злобе дня. Но, кажется, никого в огромном городе, кроме мастера, это не волнует.

Беспощадная ясность сознания, обретенная через личный крестный путь, приводит отпавшего от веры Булгакова к краеугольной истине христианского мирозерцания. Какие бы громкие и переломные события ни происходили в жизни человечества, но по-прежнему самым главным и актуальным в ней остается та казнь на Лысой горе. Голгофа - эпицентр мировой истории. И каждой сознающей себя в ней человеческой судьбы.

Поэтому Воланд, конечно, лукавит, когда изумленно переспрашивает: "О чем? О чем?.." Ему-то прекрасно известно, что именно об этом и нужно писать.

Зададимся теперь вторым вопросом. Каким образом мог увидеть и запечатлеть историю Страстей Господних современник ГУЛАГа? И тут нас ожидает несколько обескураживающее открытие. Трактровка Михаила Булгакова вполне вписывается в рамки традиции. Традиции не только откровенно богоборческой, к моменту написания романа насчитывающей не менее двух столетий. Но и, как ни прискорбно, традиции позднего христианства. Разве не она породила целую армию неутомимых исследователей из числа теологов и библеистов? Переворотив горы археологической пыли и старинных манускриптов, бесстрастно орудуя лингвистическим анализом и законами формальной логики, они принялись очищать библейский текст от искажений, ошибок, переделок и ложных толкований. Цель была в высшей степени благородной - восстановить, так сказать, первоначальный образ Христа. А результат? Он напоминает мне буддийскую притчу о луковиче. Стре-

мясь добраться до сути, вы снимаете слой за слоем, но внутри не находите ничего. Так и здесь. Но не потому, что в основе сущего лежит исповедуемая буддизмом пустота. А потому, что научный метод познания Христа совершенно бесплоден.

Резюме профессора Воланда "Иисус существовал" дает простор для вольных интерпретаций от Толстого до Пазолини, удручающе схожих в главном. Вот как это формулируют авторы рок-оперы "Иисус Христос - супер-звезда": "Основная наша мысль была показать Христа как человека, а не как Бога. Мы стремились не к тому, чтобы высказать религиозную точку зрения, а скорее к тому, чтобы задавать вопросы. Мы преднамеренно уничтожили всякий намек на божественность Христа и предпочли закончить нашу историю его смертью, а не воскресением".

Евангельские персонажи выступают как вечные типы. Каждый художник, дерзнувший обратиться к ним, наполняет их своим собственным содержанием, в котором глубоко личное становится одновременно свидетельством эпохи. В соответствии с этим принципом мастера Булгакова, человека без имени, зовут... Иешуа Га-Ноцри. Роман в романе несет в себе бесспорные признаки автобиографии. В том мистериальном смысле, который дал итальянский кинорежиссер М. Антониони, подразумевая не автобиографию жизни, но автобиографию души.

Кульминация этого отождествления выпадает из текста и зияет ужасающей бездной. Поражает невыносимое обилие второстепенных и оттого кажущихся ненужными подробностей. В малейших деталях повествуется обо всем вокруг, но ни слова о том, что происходит на вершине Лысой горы. Потому что смотреть туда нельзя, невозможно (сердце разорвется от боли)? Да, и это, но скорее потому, что автор здесь не сторонний наблюдатель, заняв место своего героя, он сам умирает, распятый на кресте.

Образ Воланда воплощается на страницах романа из совершенно иного материала. В данном случае Булгаков больше медиум, явивший миру то, что, вызрев на протя-

жении веков, уже обитало в глубинах современной культуры. Причем культуры не столько отечественной (оттого в Москве его почти никто не узнает), сколько западноевропейской. Провидческий характер походов заграничного гастролера просто ошеломляет. Вчерашняя inferнальная фантастика в наши дни прочитывается будто газетный репортаж из постперестроечной Москвы. "О, как я угадал! О, как я всё угадал!" (да простится мне эта вольность в обращении с цитатой).

Теряя вселенское измерение земного пути Христа, Булгаков неожиданно пронизывает метафизикой перепетии современного городского сюжета. Парадоксальность такого решения поначалу озадачивает. Но лишь поначалу. В обществе тотально разрушенной духовной инфраструктуры человек тотально беззащитен и уязвим перед вторжением сил зла. Что ему противопоставить? Джазовый фокстрот "Аллилуйя", забытую иконку в темном углу да бездарные стишки Бездомного в партийной прессе? Нет, не "тонкошеи вожди" за кремлевской стеной правят этим миром. Вот он настоящий хозяин, странно приодетый в иностранный костюм.

Явление отца лжи для пестрого и разношерстного московского люда становится (вот еще парадокс!) моментом истины. Почти у всех, кого судьба сталкивает с Воландом, что называется "едет крыша", слишком даже земные и не подверженные отклонениям граждане, зависнув над разверзшейся бездной, демонстрируют полную нравственную ущербность и духовную несостоятельность. Хваленый "новый человек" на поверку оказывается фикцией, шитой белыми и к тому же гнилыми нитками. Тут, вспоминая Гоголя, обнажается "прореха на человечестве" размером чуть ли не в целый город. Одни имена и фамилии чего стоят! Все с какой-то плебейской претензией и выпендрежем, с жалкими и грошовыми потугами на значительность. Словно и не имена вовсе, а клички, как у партийно-уголовных вождей. Даже в этом глубоко личном и сокровенном что-то заемное, ненастоящее, какая-то уко-

ренившаяся до мозга костей порча. А мастер просто мастер. Не от мира сего.

Особенно беспощадна сатира Булгакова к собратьям по перу. И он прав. С этих-то спрос особый. Продажные, насквозь изолгавшиеся душонки. И, наверное, не случайно, читая главу о последних похождениях Коровьева и Бегемота, ощущаешь какую-то глубинную связь между террасой дворца Ирода, облюбованной Пилатом, и ресторанной верандой дома Грибоедова. И тут и там обитала трусость - один из худших людских пороков. И тут и там умывали руки, руководствуясь высшими шкурными и карьерными соображениями.

Булгаков словно бы безразлично отстраняет своего героя и от литературной среды, и от самого течения жизни. Ничего его здесь не связывает и не держит, кроме Маргариты и каморки в подвале. Страшная, противоестественная свобода с горьким вкусом не востребованности, в сущности ненужности. Нужны Берлиозы, Лиходеевы, Рюхины и прочая публика. Мастера этому миру не нужны. Порождение диллетантов и недоучек, ничтожных выскочек с непомерными амбициями, мир мнимостей отторгает всё настоящее как инородное тело.

Личный экзистенциальный опыт, обретенный Булгаковым на сугубо национальной почве, ставит его перед проблемой общечеловеческого звучания. Вот как приблизительно в те же годы, в физически недоступном для писателя зарубежье ее определяет Камю: "Идею о том, что Бога нет, можно истолковать двояко. Что всё дозволено. И что всё запрещено". Запрещено думать. Запрещено творить. Запрещено быть самим собой. И наконец - просто запрещено быть. Пережившим ад тоталитарных систем нет нужды объяснять, что это такое.

Мысль моя поневоле возвращается к тому, что уже было обозначено выше. Признаться, рад бы избежать этого, но не позволяет ложь поверхностно-восторженного и, прошу прощения за резкость, откровенно безмозглого восприятия романа (вопиющее свидетельство последнего стены подъезда в доме на Б. Садовой в настоящее время).

Как говорил великий прозорливец и знаток души человеческой Оптинский старец Варсонофий: "У художников в душе всегда есть жилка аскетизма, и чем выше художник, тем ярче горит в нем огонь религиозного мистицизма". Сказано будто про Булгакова. Под невыносимым гнетом безысходных обстоятельств литературный путь писателя приобретает характер религиозно окрашенной аскезы. Религиозной, потому что двигало им в первую очередь не стремление реализовать определенные идеи и задачи чистого художества. Жажда спасения среди всеобщей гибели, тоска по высшему смыслу среди торжества абсурда воспаляли его творческий дух. Под вконец опустевшими небесами бродит он по пыльным камням Палестины в поисках утраченного источника жизни. Цель требует предельной самоотдачи и жертвенности. Путь один - через ГОЛГОФУ.

Имеющий хоть каплю воображения содрогнется при одной мысли об этом. Но для ясности необходимо уточнить, о чем речь. Физическая Голгофа была казнью по жестокости мало с чем сравнимой. Растянутой на многие часы смертью-пыткой на безжалостно палящем солнце. Но внешне выраженная форма страдания часто затмевает содержание Голгофы мистической. Некий ученый-теолог на основании того факта, что Христос умер через шесть часов после распятия, глубокомысленно заключил о тщедушности Его телосложения. Обычно приговоренные мучились дольше. Интересно, выдержал бы этот умник (наверняка весьма солидной комплекции) хотя бы миг той осата-нелой и лютой злобы, которую обрушили на Спасителя все силы ада? С чем сравнить эти шесть часов непредставимого и неопишуемого человеческого, именно человеческого ("Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?") ужаса? С Освенцимом? Поистине до того пали, что не ведают, о чем говорят.

Подвизающийся в духовном подвижничестве переживает мистерию Голгофы как переборение и смерть греховного, ветхого человека. Вслед за которой через мистиче-

ское слияние с Христом обретает воскресение к новой жизни, неудержимый подъем в область горнего.

Но там, где уверовавший и претерпевший до конца находит победу, Булгакова ожидала духовная катастрофа. В одиночку, уповая лишь на собственные силы, победить эту бездну нельзя. Нет, мастера убила не газетная травля (какие в сущности пустяки!). Его убил собственный герой. Вымышленный Иешуа Га-Ноцри в отличие от реального Иисуса Христа ничего не искупил, никого не спас. И спасти не мог. Мир погрузился в беспросветный мрак.

Сопоставим. "Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город", "Опустилась с неба бездна", "всё пожрала тьма". Это о древнем Ершалаиме. О Москве мастера: "Тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город".

Давно известно, но в обыденной жизни постоянно забывается, что прочность и незыблемость существующего порядка вещей - не более, чем иллюзия сознания. Когда тонкий покров между материальным и сверхъестественным разрывается, человек оказывается лицом к лицу с истинной реальностью бытия. Реальностью бездны. Реальностью непосильной для души, не защищенной покровительством высших сил. Не об этом ли весь роман Михаила Булгакова?

С момента материализации Воланда на Патриарших прудах тема безумия разыгрывается как inferнальный аттракцион, вовлекающий в свое действие все больше участников из числа ничего не подозревающей публики, падкой до "облегченных развлечений". Но настоящее раскрытие бездны происходит в стороне от шумных и скандальных эксцессов, спровоцированных Воландом. В тихой подвальной каморке мастера. Тут безумие не фарсово-комедийное. Тут безумие незримое, целиком обращенное внутрь. И обрушивающее такие глубины, пред которыми разум человеческий изнемогает и молит о пощаде. "Я стал человеком, который уже не владеет собой". Ужас мастера с зеркальной точностью отражает ужас самого Булгакова.

"У М. А. очень плохое состояние - опять страх смерти, одиночества, пространства", "полгода он не ходил один", - свидетельствует Елена Сергеевна. "Я возненавидел этот роман и я боюсь. Я болен. Мне страшно", - признается мастер. "Я погребен под этим романом", - записывает в дневнике Булгаков. И еще: "Сейчас сижу и ищу выхода, и никакого выхода у меня, по-видимому, нет".

Исподволь, как-то неожиданно-негаданно, но с неумолимой силою в душе Булгакова назревает религиозный конфликт между художником и личностью. Конфликт, терзавший Достоевского, надломивший Гоголя и Толстого. И вот теперь настигнувший советского, далекого от Церкви писателя... Нет, Россия определенно страна фантастическая! Как? Почему?! Человек, казалось бы, не переживавший религиозного кризиса в жизни и искусстве, не осуждавший свое творчество как нечто греховное и противное Богу, тем не менее вслед за великими предшественниками упирается лбом в стену, на которой его дальним родственником С. Н. Булгаковым начертано: "Душа человека дороже целого мира и тем более дороже его художественного творчества, и, если действительно нужно принести это творчество в жертву для спасения души, пусть будет принесена эта жертва".

Перед нами тот случай настолько глубокого слияния творчества и жизни, когда уже невозможно определить, то ли роман стал судьбой, то ли судьба стала романом. В этом всегда есть что-то испепеляющее. "В печке ревел огонь, в окна хлестал дождь". Пробил час конца и расплаты, Мастер начинает жечь рукопись. И физический огонь в печи лишь слабый отблеск того огня, что бушевал в его груди. За этим жестом отчаянья - неразрешимость и одновременно преодоление. Вместе с Иешуа Га-Ноцри сгорает и его романый создатель. Так в средние века по приговору инквизиции расправлялись с еретиками и всеми заподозренными в связях с дьяволом. Булгаковский мастер и есть классический еретик, герой и автор современного апокрифа.

Существует опасный соблазн, и, кажется, именно соблазн века Булгакова, воспринимать жизнь как текст, который можно отредактировать, что-то прибавить, что-то выбросить или просто взять и уничтожить. Но "рукописи не горят". Почему-то многие истолковывают это буквально. Но буквально очень хорошо горят. Даже и там, где "художник сам сгорает над рукописью". Уж как ни воспламенялся духом Н. В. Гоголь над томом "Живых душ", а что сохранилось после печки?

Булгаков, безусловно, прав. Рукописи не горят в смысле метафизическом. Не случайно крылатые слова эти вложены в уста Воланда. Рукописи не горят, как горит, не сгорая, адский огонь в душе Понтия Пилата, как ничего не забывается, ничего не проходит бесследно, ничего не остается без воздаяния, но всё заносится в неподвластную времени книгу Бытия.

Выходит, что и вторая жертва мастера была напрасной? На первый взгляд сгоревшая рукопись оказалась слишком малой или, что вероятнее, совсем не той жертвой, что требовалась. Однако это не так. Обратим внимание на слова мастера: "Я ничего и не боюсь, Марго... потому что я всё уже испытал. Меня слишком пугали и ничем более напугать не могут". В этой опустошенной, выжженной до тла душе нет жизни, но нет в ней и прежнего страха.

"Нормальный" финал для человеческой судьбы в этой аномальной стране. Писатель-реалист с чувством исполненного долга поставил бы здесь точку. Писатель-спиритуалист, каким предстает Булгаков в закатном своем романе, прозревает много дальше пресловутой правды жизни. Туда, где гений Шекспира вынужден смиренно признать: "Дальнейшее - молчание". Я не о том, что Булгаков превзошел великого англичанина (хотя как знать?). В сущности, и у него молчание. Но молчание особого рода. Трагически пережитый опыт за-предельности (за пределами бытия и за пределами слова) составляет мощный эзотерический подтекст романа. В этом смысле и за-граничное происхождение Воланда прочитывается иначе.

И героически-обреченная метаморфоза Иешуа Га-Ноцри как бы поворачивает вспять. В самом деле, нельзя же, хлебнув *такого*, подобно Борхесу, да и всем пишущим всерьез уверовать в то, что после смерти останешься книгой. "И это всё?" - гомерическим хохотом отзывается бездна на жалкие потуги культурного псевдобессмертия.

Жажда художественного совершенства рождает прекрасную литературу. Жажда совершенства абсолютного не может удовлетвориться качеством текста, который в любом случае частность. Частность тем более невыносимая и неприемлемая, если ей вплоть до лучших времен (когда-то они наступят?) суждено быть погребенной в ящике письменного стола. Таким образом, творческое самосознание личности вступает в конфликт с самосознанием духовным. Идеал мастерства блекнет под ослепительным светом идеала святости. И его высшим, поистине запредельным воплощением в Иисусе Христе. Вот где Творец и творение едино и нераздельно, достигая того уровня полноты реализации, что не доступен никому из смертных. Но без устремления к которому культура, да и цивилизация в целом, лишается метафизической опоры и вступает в полосу распада.

Болезненно обостренной интуицией, вслепую, почти наощупь, Булгаков пытается уловить позитивное разрешение проблемы. О том, что оно возможно и, сверх того, - жизненно необходимо, страстно проповедовал другой киевлянин - философ Н. Бердяев.

Когда победы нет, но нет и поражения (бездна сразила его, но поглотить не смогла), возникает вопрос: а что же дальше? А дальше начинается творческая алхимия по превращению зла в добро. И цепь жертвоприношений, прерванную Мастером, продолжает Маргарита.

"Мне, впрочем, ее не очень жаль, так как она мне не пригодится больше", - обреченно роняет мастер. Маргарита решает иначе. "...она уже догадывалась, к кому именно в гости ее везут, но это не пугало ее. Надежда на то, что там ей удастся добиться возвращения своего счастья,

сделала ее бесстрашной". Не желая углубляться в эту тему, ограничусь одним принципиальным замечанием. Некоторым юным поклонникам писателя, испытывающим безрассудно-восторженное преклонение перед Воландом и его свитой, не мешает задуматься над очевидным вопросом. Почему сей персонаж, извечно служащий причиной гибели человеческой, по отношению к мастеру и Маргарите вдруг поворачивается бескорыстно-благодарной стороной? Ответ столь же очевиден, только, увы, далеко не для всех. Потому что с них нечего взять. Они не его! Тот, кто ничего больше не желает от мира и ничего в нем не страшится, неподвластен властителю тьмы и князю мира сего. Отождествляя себя с полюбившимися героями, примеряя на себя чужую неординарную судьбу, не следует обольщаться несбыточными мечтами. Никому другому встреча с Воландом (более чем вероятная и в нашей невымышленной реальности!) не принесет ни покоя, ни утешения. "Оставь надежду всяк сюда входящий".

После казни Иисуса последовало разрушение Иерусалима. После смерти мастера наступает разрушение Москвы. Не сопоставимое, разумеется, с масштабами библейской катастрофы, но вполне соразмерное судьбе мастера. В огне от примуса - этого непеременимого атрибута коммунального быта (какова деталь! невольно вспоминаешь топор из романа Достоевского, выведенный на орбиту космического спутника земли) - сгорает нехорошая квартира на Садовой, валютный магазин на Смоленском, дом Грибоедова. Последний дотла. Сколько рукописей и бумаг! Из которых ни одна, как следует понимать, не достойна быть спасенной для мира. Два балыковых бревна, заблаговременно вынесенных Арчибальдом Арчибальдовичем, цельная семга, прихваченная Бегемотом, небольшой ландшафтик да обгорелый поварский халат... Все, что оказалось ценного в храме-кухне советской литературы.

Прощения нет. Воскресения не наступило. Еще только суббота. И потому "он не заслужил света, он заслужил покой" - выносит свой приговор Иешуа Га-Ноцри. В ва-

рианте 1936 года (в окончательную редакцию романа не вошедшем) мастер мечтает увидеть собственного героя, но получает отказ. Рискну предположить: тогда Булгаков почувствовал себя внутренне не готовым к этой встрече. Вдумчивый читатель обратит внимание, что посмертный Иешуа Га-Ноцри совершает неожиданный и в рамках предложенной системы романа необъяснимый прорыв в какое-то новое качество. Это еще не Иисус Христос, но уж никак не прежний "бродяга" на суде у римского наместника. Ведь не к нему же обращена мольба писателя на листе с набросками главы "Полет Воланда": "Помоги, Господи, кончить роман..."

Просьба была услышана.

Что-то случилось, и ценой невероятного напряжения всех сил Булгаков перебарывает в себе заблуждение века, чтобы на пороге вечности распрощаться со своими литературными героями и в сопровождении крылатых посланников небес уйти собственной дорогой в лучший из миров. К Тому, Кто по неизречимой милости и любви Своей даровал ему не только долгожданный покой, но и нечаемый писателем свет. Сделать столь смелое предположение позволяют детально описанные обстоятельства смерти Булгакова. Приведу одно, наиболее красноречивое знамение: "Когда он умер, глаза его вдруг широко раскрылись - и свет, свет лился из них"*.

Бесконечно жаль, что свет этот не пролился на страницы романа и не воплотился в зримом слове. Хотя, кто знает, как небесное бытие Булгакова, бытие, исполненное великого труда и служения, отзовется в будущем страны и ее культуры. Но то, что отзовется, лично у меня сомнения не вызывает.

* Все цитаты документально-биографического характера почерпнуты мною из "Жизнеописания Михаила Булгакова" Мариетты Чудаковой.

По разным дорогам - в одном направлении

Будущим историкам предстоит исследовать, как исподволь, постепенно готовился крах коммунистической системы, как пробуждалось общественное сознание, укреплялась мысль и какова была роль литературы в этом процессе.

Исключительный интерес представляют центральные фигуры шестидесятих годов: автор "Одного дня Ивана Денисовича" и редактор "Нового мира", опубликовавший это произведение. "Твардовский и Солженицын - большая, исторически содержательная тема [...]/ - писал Ю. Буртин, один из сотрудников Твардовского. - ...Опыт жизни и деятельности этих двух писателей, логика их духовного саморазвития представляют, на мой взгляд, особую ценность". Буртин отмечал, однако, что тема эта еще недостаточно изучена¹.

О сложных взаимоотношениях "властителей наших дум" впервые мы узнали в середине 70-х годов, когда появилась автобиографическая книга А. И. Солженицына "Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни"². Многое тогда показалось неожиданным в этой вещи. И лишь теперь становится понятным, какие обстоятельства наложили на нее отпечаток.

К работе над очерками Солженицын приступил после того, как в "Укрывище" был завершен "Архипелаг ГУЛАГ", и незадолго перед тем, как он пошел в открытое наступление, обратившись с письмом к IV съезду писателей.

"И не знаю, что будет, даже буду ли жив. Или шея напрочь, или петля пополам", - такими словами завершается основной текст "Теленка", за которым позже последовали Дополнения. Таким образом, это произведение было задумано как своего рода предсмертная исповедь: на пороге грозных событий писатель решил "кое-что на всякий случай объяснить".

Важно учесть и другое. Изначальная часть "Теленка" написана вскоре после встречи с Твардовским (она состоялась 14 марта 1967 г., а очерки Солженицын начал писать 7 апреля). Это было время резкого обострения взаимоотношений обоих писателей. "...Круто и необратимо разбежались наши литературы", - решил Солженицын после встречи. Легко можно себе представить, в каком настроении он приступил к воспоминаниям о недавнем прошлом, которые еще жгли душу.

"Выйдя из боя", оказавшись в изгнании, Солженицын многое оценил по-новому. Он написал об этом в отрывках из Шестого Дополнения "Еще о Новом мире" (сентябрь 1978 г.) и из Седьмого Дополнения (май 1982 г.). Здесь говорится: "...при захваченности моим драконовым состязанием я был в позиции, мало удобной для спокойных наблюдений. Да, конечно, я давал простор нетерпеливым оценкам боя". Лишь позже, оглянувшись, смог он разглядеть в Твардовском то, "чего не видел рядом с ним в пылу борьбы". (Замечу, что и в начале восьмидесятых Солженицын не знал того, что открылось в недавних публикациях.)

"Бодался теленок с дубом" многими был принят в штыки⁴. Ведь критики не представляли себе реальной ситуации, в которой создавалась эта книга. Картина прояснилась 16 лет спустя, когда было напечатано Пятое Дополнение - "Невидимки"⁵, где Солженицын впервые рассказал о своей потаенной деятельности и о своих многочисленных помощниках. Только теперь мы видим, каков был размах этой деятельности, с каким риском и с какими трудностями она была сопряжена. Мог ли автор автобиографических

очерков сохранять спокойную объективность? Имел ли возможность беспристрастно анализировать свои отношения с Твардовским и его журналом? И, с другой стороны, могли ли редактор "Нового мира" и его сотрудники представить себе, какому риску подвергается Солженицын, какая опасность грозит ему, как он должен был осторожен. Взаимное непонимание было неизбежным, и в такой ситуации нет ни правых, ни виноватых.

Дополнительный свет на события проливают и другие публикации конца 80-х - начала 90-х годов. Во многом по-новому раскрывается личность Твардовского в его дневниках за 1953-1960 гг., названных им "Рабочие тетради", которые увидели свет в 1989 году⁶. Исключительный интерес представляют опубликованные год спустя стенограммы Секретариата Союза писателей СССР⁷. Важнейший материал содержит "Новомирский дневник" А. Кондратовича - второго заместителя главного редактора, проработавшего с Твардовским около шестнадцати лет⁸. Автор дневника вел записи по горячим следам, добросовестно освещая жизнь журнала в самую трудную пору (1967-1970). Интересны и позднейшие добавления к дневнику, которые Кондратович делал в 70-е годы до и после знакомства с "Теленком".

Быть может, не всё из опубликованного дошло до автора этих строк. Без сомнения, будут появляться и новые материалы. Но и перечисленные публикации дают возможность сделать некоторые существенные выводы.



Какими разными путями шли они к встрече и какими были разными, когда их свела судьба! В значительной мере это определило драматизм последующих взаимоотношений. Удивляться надо не тому, что Твардовский и Солженицын так и не смогли до конца понять друг друга, а тому, что они близко сошлись, несмотря на все различия.

В юности комсомолец Солженицын, как и комсомолец Твардовский, был отравлен идеологическим дурманом. В

переписке с другом, послужившей причиной его ареста во время войны, Солженицын во всех бедах обвинял "Пахана"-Сталина и ратовал за "очищенный социализм". Молодой офицер верил в "правду Ленина" и надеялся, что она восторжествует (об этой поре рассказано в первой части "Архипелага ГУЛАГ", в главе "Первая камера - первая любовь"). С детства убежденный, что его жизненная задача - написать историю русской революции, Солженицын считал: для этого "ничего не нужно, кроме марксизма". "Я говорил, - вспоминает он, - что революция наша была великолепна и справедлива, ужасно лишь ее искажение в 1929 году"⁹. И в "Теленке" заключает: "Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили".

По словам автора "Архипелага", тюрьма была для него "не пропасть, а важнейший излом жизни". Там формировалось новое миропонимание, закалялся характер. Двух-трех лет тюремно-лагерной страды оказалось достаточным, чтобы материалист, марксист-ленинец смог понять "подлинную меру вещей во Вселенной" и очиститься от коммунистической скверны. Когда лагерь сменился вечной ссылкой, он был уже другим человеком.

Так превратился Солженицын в писателя-подпольщика. И в последующие годы, когда пришла официальная слава, сменившаяся вскоре новыми гонениями, он оставался подпольщиком, конспиратором. Те же, кто упрекали его в скрытности, в недоверчивости, были всего лишь "небитыми фраерами". Они и представить себе не могли, какой осторожности требовала деятельность писателя, хранившего и переправлявшего за рубеж свои взрывоопасные произведения, жившего под постоянной угрозой провала.

Что мог знать Солженицын о Твардовском до встречи с редактором "Нового мира"? И почему, рискуя "высунуться" из подполья, обратился именно к нему?

Еще во время войны среди других произведений того времени Солженицын выделил "чистозвонного" "Василия Теркина". В "Теленке" говорится об этой поэме: "Не имея

свободы сказать полную правду о войне, Твардовский остановился однако перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра не переступил, нигде! - оттого и вышло чудо".

Позже познакомился Солженицын и с "Теркиным на том свете", который ходил по рукам, и эту вещь "признал за живое". А прочитав главу о Сталине из поэмы "За далью даль", тоже положительно ее оценил: "По тому времени, по всеобщей робости она выглядела смелой". И именно под впечатлением этой главы еще в середине пятидесятых впервые возникла мысль: "...не показать ли чего-нибудь написанного Твардовскому? не решиться ли?" Однако тогда - не решился. И, быть может, потому, что, вчитываясь в текст сталинской главы, увидел: "Уж слишком мягко /.../ Поэт трогал ногой рядом с мощеной тропкой, но страшно было ему сходить". Лишь через несколько лет, после XXII съезда КПСС и речи Твардовского на съезде, Солженицын отважился передать в "Новый мир" рассказ о ээке "Щ-854".

Что же в выступлении Твардовского могло привлечь писателя-подпольщика? Если отбросить формулы новоречи, неизбежные в ту пору, легко заметить, что поэт провозгласил эстетические принципы, по сути своей противоречащие соцреалистическим догмам. Он выступал против фальши в литературе, с возмущением говорил об "авторской оглядке: что можно, чего нельзя". "Солгать, притвориться в искусстве", - утверждал Твардовский, - невозможно, ибо где ложь - там нет искусства. И отвергал один из основных принципов соцреализма: "необходимость *приподнимать* действительность"¹⁰.

Всё это казалось смелым и не могло не понравиться Солженицыну, эстетические взгляды которого всегда были близки взглядам редактора "Нового мира".

Но как ни привлекал писателя автор "Василия Теркина", столь необычно выступивший на столь необычном съезде, полного доверия к поэту испытывать он не мог. В глазах бывшего ээка Твардовский все-таки оставался со-

ветским вельможей. Лауреат многих премий, член правления Союза писателей, депутат Верховного Совета, кандидат в члены ЦК КПСС (вплоть до 1966 года), он был связан с совершенно иной, враждебной средой. Да и "Новый мир", как считал тогда Солженицын, "мало чем отличался от остальных журналов". Отдал же он именно туда свою первую рассекреченную вещь, надо полагать, не потому, что доверял журналу, а потому, что, несмотря на предубеждение, его привлекала личность редактора-поэта.

* * *

В ту пору, когда Солженицын проходил свой крестный путь в тюрьмах и лагерях, обретая там новое видение мира; в ту пору, когда приговоренный к вечной ссылке, чудом излечившийся от смертельной болезни, он писал вечерами после утомительного рабочего дня и, старательно пряча написанное, опасался новых репрессий, но всё же чувствовал себя счастливым, - в ту пору прославленный автор "Василия Теркина" получал премии, выступал с речами, общался с "высоким" партийным начальством и с литературными "тузами", тратя золотое время на бесчисленные заседания, совещания, собрания, представительство. И - чувствовал себя глубоко несчастным. Год за годом угасала вера в идеалы, которым он был предан с юности. Всё чаще наступали творческие кризисы, от которых не спасали правительственные санатории и дома творчества. Слава не избавляла от проработок, от необходимости признавать свои "ошибки" и разоблачать чужие. Положение обласканного властями тяготило поэта, всё чаще нападала тоска, захлестывало отчаяние. И не видно было выхода.

Чтобы понять, кем стал для Твардовского Солженицын, надо представить себе, в какой период духовной биографии поэта к нему попала рукопись безвестного рязанского учителя. Подвиг Твардовского, пробившего дорогу Солженицыну и тем изменившего литературный климат шестидесятых годов, был подготовлен всей его предшествующей жизнью. Однако шел он к этому подвигу непростыми, непрямыми путями.

Сын раскулаченного, комсомольский активист, он, как и другие юноши его поколения, безоглядно уверовал в марксизм-ленинизм. Но в то же время не мог не чувствовать вины перед семьей, сосланной на Север, перед отцом, от которого отрекся. Не случайно у автора "Страны Муравии" в одном из стихотворений 1933 года вырвались слова, обращенные к репрессированному брату:

Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?

Как ты, брат?

Где ты, брат?

На каком Беломорском канале?

А в пятидесятых годах он записал в "Рабочих тетрадях" сюжет пьесы, к созданию которой так и не приступил. Герой ее - сын "кулака", убежденный комсомолец - тайком покидает родной дом накануне раскулачивания родителей.

С трагедией семьи связан и замысел автобиографической вещи "Пан Твардовский", которую поэт мечтал написать, считая своей Главной книгой. В "Рабочих тетрадях" неоднократно говорится об этом замысле, но и он остался неосуществленным. С той же темой связан замечательный цикл стихотворений "Памяти матери" и поэма "По праву памяти". Мысли о судьбе семьи и шире - о судьбах крестьянства - никогда не покидали Твардовского. И, быть может, первая трещина в его мировоззрении появилась в связи с этими мыслями.

С годами трещина углублялась. И тут не последнюю роль играли дела литературные. Истинный художник, он брезгливо относился к соцреалистическим однодневкам, презирал панегиристов-пенкоснимателей и официозных критиков-проработчиков. Но не теряя веры в возможность повлиять на современный литературный процесс даже в неблагоприятных условиях, Твардовский дважды берет за редактирование "Нового мира". Однако в роли редактора он встретился с такими препятствиями, которые от-

крывали глаза на истинное положение вещей. Редактор советского журнала на горьком опыте убеждался, что в Стране Советов писать можно лишь "по соображению лучшей проходимости", "на полунедосказе".

Как свидетельствуют "Рабочие тетради", особенно острый кризис пережил Твардовский в 1953 году. В записи от 6 сентября 1955 года он с горечью признается: "...нет у меня той, как до 53 г., безоговорочной веры в наличествующее благоденствие". Что же случилось в пятьдесят третьем?

До XX съезда было еще далеко. Смерть Сталина? Но это событие не могло подорвать веры. Скорее всего, уже давно пошатнувшаяся, она подвергалась особенно серьезному испытанию в пору нагнетения чудовищных событий, предшествовавших смерти генсека и по инерции продолжавшихся какое-то время после него. Поэта не могла не удручать сгустившаяся на "идеологическом фронте" атмосфера доносов, разносов, проработок, погромных кампаний, репрессий - атмосфера, в которой задыхалось всё живое в литературе.

Разгул сталинщины естественно обрушился и на "Новый мир", где уже в ту пору собирались лучшие силы. Особенно яростной атаке подвергся роман Василия Гроссмана "За правое дело", опубликованный в осенних номерах журнала за 1952 год.

Невозможно умолчать об участии самого Твардовского в разгроме романа и его автора. По гнусным правилам игры он вынужден был выступать - разносить и каяться. Но как же стыдно и горько читать теперь его выступления на заседаниях редколлегии "Нового мира" (2 февраля 1953 г.) и Президиума правления ССП (24 марта 52-го)¹¹.

"Проработка" Гроссмана сочеталась с бранью в адрес "Нового мира", который обвинялся во всех смертных грехах, включая публикацию романа, написанного "с сионистских позиций". Подобных выражений Твардовский не употреблял, но признал, что роману Гроссмана присущи "серьезные идейно-художественные пороки". И каялся:

редколлегия журнала "обязана извлечь все уроки из совершенной ею серьезной ошибки". Есть основание полагать, что эти выступления нелегко дались поэту.

Важным этапом на пути прозрения Твардовского явились и события, совершившиеся летом 1954 года, когда его самого сняли с поста редактора за "неправильную линию журнала". Имелась в виду публикация статей Ф. Абрамова, В. Померанцева, произведений Э. Казакевича и других "порочных" материалов. Основной же криминал видели в "Теркине на том свете". Поэму расценили как "пасквиль на советскую действительность", как "вещь клеветническую".

Она и в самом деле была "крамольной", ибо - хотел того автор или нет - касалась самих основ системы. "Теркин на том свете" свидетельствует, в каком направлении развивались взгляды Твардовского. Но в то же время, по его вполне искреннему признанию в письме, адресованном Президиуму ЦК, он оставался верен коммунистическим идеалам и его возмущало лишь их искажение (вспомним фронтовые письма Солженицына, где выражались сходные мысли). "Перо мое, самое главное, чем я располагаю в жизни, принадлежит партии, ведущей народ к коммунизму", - заверял поэт ЦК¹².

Однако важно отметить, что, в отличие от выступлений 53-го года, в том же письме Твардовский спорит с партократами, требовавшими от него покаяния: "Не согласен немедленно признать себя виновным - значит, ты ведешь себя не по-партийному, значит, будешь наказан. Но чего стоили такие "автоматические" признания ошибок..."

После снятия с поста редактора "Нового мира" в душе Твардовского что-то надломилось. В "Рабочих тетрадях" всё чаще мелькают записи вроде следующих: "всё противно, тошно, уныло"; "я так постарел душою". И в то же время, когда Президиум ЦК утвердил его снятие, бывший редактор приходит к заключению: "Вина главная - моя. - Решение правильное" (запись от 11 августа 1954 г.).

Но чем дальше, тем больше обостряется неприятие

официальной идеологии и конфликт с властью имущими. Так, 19 января 1955 года в дневнике появляется запись: "...не того ждут от меня вурдалаки, что я могу и хочу, а того, чего я не хочу и не могу". И вместе с тем поэт продолжает цепляться за прежнюю веру, расставаться с которой было мучительно трудно. Потрясенный разоблачением Сталина на XX съезде, он утешает себя: "Процесс социализма - естественноисторический процесс - как вода, как трава - что ни делай, - найдет путь, пробьется, прорастет".

Двойственность проявляется и в последующие годы. Когда Твардовский снова стал редактором "Нового мира", в деле Пастернака журнал занял позицию, ничем не отличавшуюся от официальной. Да и в "Рабочих тетрадях" нет записей об этом позорном деле. Лишь год спустя после исключения Пастернака из Союза писателей Твардовский замечает мимоходом: "...из Пастернака мы "мученика" сделали /.../ сами сделали, своею высоко мудрой глупостью". Здесь проявляется не столько сочувствие гонимому поэту, сколько осуждение его недалековидных гонителей.

С годами всё острее в "Рабочих тетрадях" звучит тема деревни. И еще до XX съезда возникает другая - тема репрессий. Твардовский называет ее "самой личной и неличной", "вопросом совести и смысла жизни". 13 ноября 1955 года он записывает: "Тема страшная /.../ она до всего касается - современности, войны, деревни, прошлого - революции и т. д."

Существенной вехой на пути прозрения поэта стал, по его собственному признанию, роман Гроссмана "Жизнь и судьба". Прочитав это произведение в рукописи, Твардовский подробно говорит о нем в записи от 6 октября 1960 года: "Впечатление и радостное, освобождающее, открывающее тебе какое-то новое (и *вовсе не новое*, но скрытное, условно-запретное) видение самых важных вещей в жизни, впечатление, как бы разом снимающее, сводящее к нулю удручающее тебя однообразие и условность современных романов /.../ Но впечатление - странное, тяжелое, вызы-

вающее *противостояние духа и страх, что что-то тут не так*". Выделенные мною слова говорят о том, что "крамольные" мысли Гроссмана в шестидесятом году уже не казались Твардовскому новыми. Но в то же время он еще колебался, еще не дошел до полного отрицания тоталитарной с и с т е м ы, которое явственно звучит в романе. И вместе с тем, по его словам, "Жизнь и судьба" - "из тех книг, по прочтении которых чувствуешь /.../ что это какой-то этап в развитии твоего сознания".

О том, как широко мыслил поэт и редактор - истинный Иван Калита русской литературы - свидетельствуют заключительные строки той же записи: "Напечатать эту вещь /.../ означало бы новый этап в литературе, возвращение ей подлинного значения правдивого свидетельства о жизни, - означало бы огромный поворот во всей нашей зашедшей бог весть в какие дебри лжи, условности и дубовой преднамеренности литературе. Но вряд ли это мыслимо..."

Не могла не потрясти Твардовского дальнейшая участь столь уникального произведения. В феврале 1961 года рукопись была арестована, причем один экземпляр гебисты изъяли из сейфа "Нового мира".

"После ареста романа, - вспоминает Семен Липкин, - к Гроссману чуть ли не в полночь приехал Твардовский, трезвый. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал: Нельзя у нас писать правду, нет свободы"¹³. Далее рисуется тяжелая сцена опьянения Твардовского и приводятся его слова о коллективизации, о миллионах загубленных крестьян.

...А через девять месяцев Л. Копелев передал в "Новый мир" рукопись под названием "Щ-854", написанную каким-то безвестным автором.

* * *

Это был художник, которого давно ждал Твардовский. Новый человек в литературе, с именем, не запятнанным проработками или участием в них, человек, обладающий огромным талантом, не суетный, готовый довольствоваться

ся работой скромного учителя, лишь бы не слукавить, к тому же - человек, прошедший муки лагерного ада, - таким предстал перед поэтом автор повести о мужике, солдате, ээке Шухове. Конечно, в первую очередь поразило само произведение. Но поразила и личность автора. И для Твардовского он стал навсегда, по его собственным словам, "самым дорогим в литературе человеком".

В ноябре 1962 года, вскоре после публикации "Одного дня Ивана Денисовича", В. Лакшин записал в дневнике: "Александр Трифонович просто влюблен, всё время твердит: Какой это парень! Он отлично всему знает цену. Поразительно, как это у себя в провинции он так точно чувствует, что добро, а что недобро в литературной жизни ". Но назвав чувство Твардовского к Солженицыну "отцовским", Лакшин отмечает и некую трещину, возникшую уже тогда. "Сгорая от досады и ревности", Твардовский сокрушался: "Я-то думал, что его главные друзья в "Новом мире" /.../, а выходит, что мы зажимщики, цензора, а друзья его - это Копелев с компанией"¹⁴.

Горечь, обида, ревность рождались не на пустом месте. Об этом свидетельствует "Бодался теленок с дубом". Ошибка Твардовского с самого начала заключалась в том, что он принял уже сложившегося человека и писателя за новичка и счел нужным учить (ученого!) уму-разуму. Лишь с годами, после многих размолвок, убедившись в целесообразности самостоятельных шагов открытого им писателя, редактор "Нового мира" заговорил с ним как с равным. Солженицына раздражала опека, а его "непослушание" и скрытность огорчали, порой и возмущали Твардовского. Разные условия, в которых работали редактор легального журнала и писатель-подпольщик, не давали возможности обоим как следует понять друг друга и преодолеть барьеры, разделявшие их.

* * *

Каким же увидел Твардовского Солженицын, когда состоялось их знакомство? Заранее сложившийся образ

"обласканного тронem" поэта лишь отчасти заслонил его подлинный облик. Но "неестественная жизнь советского вельможи" порою виделась там, где ее не было. Характерны такие детали. Автор "Щ-854" пришел впервые в редакцию "Нового мира" в полдень, но Твардовский там еще не появлялся. В этом усмотрел Солженицын "вельможную" привычку поздно приступать к работе. Однако не только такие стихотворения Твардовского, как "Час рассветный подъема / Чай мой ранний люблю" или "Час мой утренний, час контрольный", но и многочисленные записи в "Рабочих тетрадях" говорит о привычке садиться за работу еще до рассвета. Солженицын этого не мог знать.

Другая деталь. В "Теленке" неоднократно отмечается, что Твардовский, привыкший ездить в комфортабельных машинах, боялся переходить московские улицы. Но ведь такой же страх испытывала и Анна Ахматова, о чем рассказывают Л. К. Чуковская и другие мемуаристы. А уж она-то не была избалована ездой в автомобилях!

Неверно и нечто более существенное: якобы в "Новом мире" сложился "культовый принцип" и члены редколлегии "не имели другой цели, как угодить Главному редактору". "Никто в редакции не смел Твардовскому возражать..." Между тем, в дневнике Кондратовича неоднократно упоминается о спорах с Главным по частным и принципиальным вопросам. Нередко встречаются такие записи: "Мы долго спорили с ним..."; "Пытались ему это втолковать"; "Спор шел жаркий, ожесточенный. А. Т. несколько раз срывался на крик".

Но как бы ни ошибался Солженицын, интуиция художника его не обманула. С первого взгляда его привлекло в Твардовском удивительное сочетание детского начала с "богатырской крупностью". "Он был крупный, кругом широкий /.../, поразило меня детское выражение его лица - откровенно детское, даже беззащитно-детское, ничуть кажется не испорченное долголетним пребыванием в высоких слоях и даже обласканностью тронem". И далее, на последующих страницах: "Детскость его проявлялась не-

погасимой радостью в глазах"; "С детской обиженностью и просительностью улыбался..."; "...чистенький, по-детскому славный". То же проступает на лице безнадежно больного: "...измученное лицо сохраняет его изначально детское выражение". И - в облике мертвого: "...в первые же часы после смерти вернулось к нему детское, доброе, примиренное выражение, его лучшее". Не только наблюдательность художника, но и глубокое чувство любви проступает и в этих словах, и в Поминальном слове: Солженицын называет здесь поэта "богатырем", грудью отстаивавшим свой журнал. И продолжает: "Над гробом портрет, где покойному близ сорока и желанно-горькими тяготами журнала еще не борожден лоб, и во всё сияние - та детски-озаренная доверчивость, которую пронес он через всю жизнь, и даже к обреченному она возвращалась к нему"...

Привлекала Солженицына и "доконная мужицкая суть" Трифоныча. Ведь и о себе сказал писатель в "Архипелаге": "...я сам в душе мужик" (часть III, глава "Придурки"). В "Теленке" не раз говорится и о внешнем сходстве Твардовского с мужиком, и о его крестьянской сути. (Например: "...под тихим снегопадом проводил нас за калитку - очень похожий на мужика, ну, может быть, мал-мало грамотного...") Солженицыну даже казалось, что именно "поэтическое и мужицкое чувство" определило отношение Твардовского к Ивану Денисовичу.

И все же, несмотря на внутреннее, порой непреодолимое влечение к поэту, Солженицын не мог не ощущать дистанции, их разделявшей. "Направление мое - не его, я ему не союзник", - к подобным выводам приходил он не раз. И действительно, тактика обоих была совершенно различна. Один боролся за подцензурный журнал, исключительно легальными методами отстаивая честную, подлинно художественную литературу. Другой, не признавая никаких компромиссов, никаких недомолвок, вступил в открытый бой с тоталитарным чудовищем. Один нес ответственность за журнал, за целое направление, за ход современного литературного процесса. Другой был хозяином

своей, и только своей писательской судьбы. Наконец, один всё еще надеялся изменить что-то к лучшему в рамках существующей системы. Другой эту систему начисто отрицал.

Как бы подводя итоги, Солженицын пишет: "Я полюбил его мужицкий корень; и проступы его поэтической детскости, плохо защищенной вельможными навыками; и то особенное природное достоинство, которое проявлялось у него перед врагами /.../ Но слишком несхожи были прошлое мое и его, и слишком разное мы вывели оттуда. Ни разу и никогда я не мог быть с ним так откровенен и прост, как с десятками людей, отемненных лагерной сенью".

Однако пролегла ли между ними непроходимая пропасть? Или через нее когда-нибудь мог быть переброшен мост, да не хватило на то жизненного времени?

* * *

Мы уже знаем, каково было отношение Твардовского к советской действительности до встречи с Солженицыным. О том, насколько изменился поэт к концу шестидесятых годов, можно судить по дневнику Кондратовича. Ведь он по свежим следам, в тот же день, записывал высказывания главного редактора. Ограничусь лишь немногими примерами.

Твардовский сказал как-то о М. Исаковском: судьба этого поэта показывает, "как социализм мял и душил таланты". (Заметим: не "вурдалаки", не партаппаратчики, а - социализм!)

Или - о старой, наболевшей теме, но теперь куда острее. Речь зашла о насильственном сселении кавказцев с гор в долины, и Твардовский заметил: "...для народа ужасное дело... Это было одно из тех похожих на коллективизацию дел, когда народу говорят, не спрашивая его: делайте так, вам будет лучше". (Теперь он понимает, каковы взаимоотношения партии с народом!)

О самой же КПСС поэт говорит: "Из партии изгоняли и

таких, и сяких, и теперь оказалось, что партии-то нету! Нету! Есть хорошо организованный и послушно-дисциплинированный аппарат. А партии нет". Здесь еще ощутима идеализация той партии, которая б ы л а, но нынешняя характеризуется точно и беспощадно.

Видит Твардовский и другое: "Советской власти у нас нет. Она где-то на третьих ролях". Или о выборах: "...проведите выборы как выборы, с двумя кандидатами - и сколько посыпется. Допусти хоть малую свободу - захотят большой".

Особенно "крамольно" (совсем как в романе Гроссмана "Жизнь и судьба"!) звучит сопоставление фашизма большевистского и нацистского образца, причем речь идет уже не о сталинской эпохе, а о брежневской. Поводом для разговора на эту тему послужил цензурный запрет статьи о Гитлере, мотивированный тем, что она вызывает нежелательные ассоциации. "Еще бы, эти аналогии, конечно, есть", - заметил Твардовский.

Для редактора "Нового мира" характерен вывод, к которому он приходит: "Единственная возможность спасти положение - это открыть все шлюзы для гласности, для откровенного разговора, но именно этого они и не могут сделать". Важно подчеркнуть, что та же мысль прозвучала в письме Солженицына Секретариату СП РСФСР, хотя поначалу это письмо и возмутило Твардовского (о чем речь пойдет ниже). "Гласность, честная и полная *гласность* - вот первое условие здоровья всякого общества..." - писал Солженицын.

В высказываниях Твардовского слышится резкое противопоставление: "мы" - новомирцы, "они" - сталинисты-партократы. Под влиянием общей обстановки в стране, под влиянием рукописей, приходивших в журнал, и, безусловно, под влиянием Солженицына и его произведений - у поэта всё больше раскрывались глаза, развеивались былые иллюзии, становилась очевидной горькая правда. Менялось и поведение редактора опального журнала.

Сравним его реакцию на травлю Гроссмана или Пастер-

нака и роль в этой травле с тем, как отнесся Твардовский к суду над А. Синявским и Ю. Даниэлем. 18 февраля 1966 года Кондратович записал: "Пришел Воронков. Мы оставили их вдвоем. Был крик. Воронков уговаривал А. Т. поставить подпись под письмом секретариата СПП, разумеется, приветствующим приговор Синявскому и Даниэлю. А. Т. категорически отказался. "Пусть знают, что есть хоть кто-то, кто отказался". Воронков умолял, уговаривал... Но - не уговорил". А до этого Твардовский сказал соредакторам по поводу суда: "Как бы мы ни говорили, - совершилось. Произошло что-то. Мы уже не можем с таким весельем жить и разговаривать с авторами. Что-то в нас самих произошло".

Поворотным этапом, как и для всей мыслящей части общества, явились чехословацкие события. В августе 68-го года поэт пережил тяжелое потрясение, ибо рушилась последняя надежда на "социализм с человеческим лицом". Твардовский рассказывал новомирцам, как к нему на дачу приехал гонец из Союза писателей с письмом, одобряющим оккупацию Чехословакии, и стоял над душой, требуя подписать этот позорный документ. "А я давно принял решение, - записал слова А. Т. Кондратович 13 сентября 1968 года. - Я не только отказался подписывать, но еще и написал: "Я бы мог всё подписать, но только до танков и вместо танков".

Позиция, занятая поэтом, оказалась неожиданной для Солженицына. Сам он отказался от мысли дать на подпись Твардовскому и еще нескольким известным лицам протест против оккупации Чехословакии, считая, что они побоятся подписать подобный документ. Узнав же о поведении редактора "Нового мира", сказал ему при встрече: "Я глубоко рад, Александр Трифонович, что вы заняли такую позицию". И тот с достоинством ответил: "А какую я мог занять другую?"

Следует подчеркнуть, что Твардовский знал: его акция ставила журнал под удар. Так оно и было. Не спасло "Новый мир" даже то, что в отсутствие главного редактора,

который был в отпуске и жил на даче, редколлегия выразила одобрение оккупации. Это выглядело тогда как отступничество, и на нас, читателей, произвело удручающее впечатление. Теперь же я думаю: а многие ли из нас самих голосовали п р о т и в "оказания братской помощи"?!

Неприязнь Твардовского к партийному руководству, становившаяся с годами всё более явной, не могла не вызвать ответной реакции. Аппаратчики, привыкшие иметь дело с холоуями, не прощали поэту резкого, независимого тона. Кондратович вспоминает, как "А. Т. с наслаждением разозленного человека наговорил" начальству; как секретарю ЦК Демичеву бросил по телефону: "Я вам не верю"... А вот одно из многочисленных столкновений из-за Солженицына. Секретарь ЦК Шауро заявил, что, мол, партия опубликовала "Один день Ивана Денисовича", а Солженицын вместо благодарности ответил "Пиром победителей". И Твардовский взорвался: "Вы лжете, и знаете, что лжете. "Пир победителей" был написан в лагере". Подобного тона цекисты никому не прощали.

Конечно, Солженицын не знал о такого рода столкновениях. Быть может, иногда он был и неверно кем-то информирован. Приведу лишь один пример. В дни разгрома "Нового мира" Твардовский решил использовать последний шанс и обратился с письмом к Брежневу. Солженицын этого письма не видел, но ему передали, что там была фраза: "Я - не Солженицын, а Твардовский, и буду действовать иначе". А вот что записал Кондратович, который читал письмо и 9 февраля 1970 г. занес в дневник самые важные места из этого документа. Заявив: "...нынешние сталинисты травят меня" (Кондратович отмечает, что это крайне опасное высказывание, ибо сам Брежнев был сталинистом), "А. Т. пишет далее о Солженицыне, об исключении его из Союза и осуждает это исключение, что тоже может быть поставлено ему в вину..." Еще бы! Ведь Солженицын был исключен из ССП как "враг народа", "очернитель", "антисоветчик". Защищать его было опасно, особенно в письме, в котором надлежало не обвинять, а каяться.

Ничего похожего на фразу, приведенную в "Теленке", у Кондратовича нет.

Как бы ни складывались их личные отношения, Твардовский неизменно и перед всеми говорил о великом таланте Солженицына и защищал его от тех, кто фактически были их общими врагами. Но автор "Теленка" далеко не всегда это знал, как не знал, очевидно, насколько далеко зашло прозрение поэта. Можно предположить, что в кругу своих новомирских соратников - членов партии главный редактор был более откровенен, чем в редких беседах с беспартийным писателем. Тут сказывалось еще кастовое мышление "партийных товарищей", считавших недопустимым выносить сор из избы.

Солженицыну казалось, например, что прозрение Твардовского началось лишь после хрущевской речи на XX съезде, потом "замедлилось", ибо поэт был "в довечном зачатом плену у принятой идеологии", хотя его "природный ум бессознательно с нею боролся..."

В "Теленке" прослеживается эволюция Твардовского, но неизбежно лишь в пределах того, что было известно автору очерков. Порою он сам признается: "Нет, не разобрался я в этом человеке!" Порою с радостью отмечает: "Нет, менялся Твардовский! Менялся, и совсем не медленно". Порою видит главное: "Весь 1968 год /.../ был годом быстрого развития Твардовского, неожиданного расширения и углубления его взглядов и даже принципов, казалось бы устоявшихся, - а ведь исполнилось ему пятьдесят восемь! Не прямо, не ровно пробивалось это развитие /.../ - а шло!" Последнее замечание справедливо, но давно уже вера не была "устоявшейся" и развитие не было "неожиданным". Знаменательны заключительные слова: "Еще б нам несколько верст бок о бок, и могла б между нами потечь откровенная, не таящаяся дружба..."

С годами доверие Солженицына к Твардовскому настолько окрепло, что автор "Архипелага" решился дать поэту эту свою самую потаенную, самую опасную вещь, справедливо полагая: чтение ее должно стать новой вехой

на пути окончательного прозрения. Но Александру Трифоновичу так и не довелось прочитать "Архипелаг ГУЛАГ" - помешали болезнь и смерть.

* * *

Осталась недоступной Солженицыну, быть может, важнейшая сторона духовной жизни Твардовского. Автору "Теленка" казалось, что в последние годы поэтический дар Твардовского затухал, и поэтому "Новый мир" делался ему все дороже и дороже. Между тем, именно тогда, когда обострилась борьба за журнал, лирика Твардовского достигла новых вершин. Для преследуемого редактора она превратилась в убежище, куда не проникали политические бури, где он не был подвластен злобе дня, и мог предаваться высоким думам о жизни, о смерти, о скоротечности времени, о человеке и природе. Уход Твардовского в мир, далекий от повседневности, был тоже своего рода противостоянием советской действительности.

Но во время редких и кратких встреч с Солженицыным, конечно же, было не до "чистой лирики", не до вечных вопросов бытия. В примечаниях к журнальному тексту очерков "Бодался теленок с дубом" Солженицын отметил позже, в 1986 году: "Да по моей постоянной спешке борьбы и из-за наших постоянных разладов в тактике мы никогда с ним не углублялись серьезно в литературную протяженность - назад и вперед". Твардовский же и вообще не склонен был к разговорам о том, что с такою силой запечатлено в его стихах.

Возможно, для Солженицына он и сделал бы исключение. В "Теленке" дважды упоминается о желании поэта говорить с любимым писателем именно о себе. Первый раз - после того, как Твардовский прочитал "В круге первом", был потрясен до глубины души и готовился "идти на костер" ради публикации романа. Второй раз - после исключения Солженицына из Союза писателей, когда обреченность "Нового мира" стала очевидной. "...Ему надо говорить со мной *больше даже о себе, чем обо мне.* (Опять

эта тема, опять эта разбереженность, как и после чтения "Круга"!..)", - вспоминает Солженицын (слова Твардовского выделены автором). О чем именно хотел говорить поэт? Бог весть! Разговор "о себе" так и не состоялся. А должен он был касаться, очевидно, чего-то самого главного.

О самом главном поведал Твардовский в лирике последних лет. Вот, например, как кончается стихотворение "В чем хочешь человечество вини...", в котором слышится намек на чехословацкие события (оно датировано 1968 годом):

Перед какой безвестною зимой
Каких еще тревог и потрясений
Так свеж и ясен этот день осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой?

Строки эти вызывают в памяти одну из "Крохоток" Солженицына - "Дыхание": "Я стою под яблоней отцветающей - и дышу /.../ Никакая еда на земле, никакое вино, ни даже поцелуй женщины не слаще мне этого воздуха, этого воздуха, напоенного цветением, сыростью, свежестью".

Когда в 1963 году Солженицын предложил "Новому миру" "Крохотки", Твардовский их не принял. В ту пору ему казалось, что нужна такая же взрывная вещь, как "Один день Ивана Денисовича". В конце шестидесятых что-то в душе его изменилось, и "чистая лирика" стала вытеснять стихи о сиюминутном, что жгло и от чего хотелось уйти. Жжение, боль, тревога остались и в стихотворении "В чем хочешь человечество вини". Но над этими чувствами, отодвигая их на задний план, господствует мир природы, вечный и прекрасный.

Просветленная печаль и мудрое смирение пронизывают одно из лучших стихотворений не только Твардовского, но и всей русской лирики - "На дне моей жизни...". Оно озарено неугасимым внутренним светом. Кондратович вспоминает, как 27 сентября 1968 года Твардовский читал соредакторам свои стихи. После о про злободневных и явно непроходимых "пошли прелестные миниатюры. А. Т. волновался, когда читал "На дне моей жизни, на самом

донышке..." - я вдруг почувствовал, что он вот-вот сейчас заплачет. В нем все задрожало, он еле сдержал себя, чтобы не показать слабость". На другой день, заговорив о старости, поэт заметил, что на склоне лет появляется "какое-то особое зрение и понимание, взгляд с вершины, дальность взгляда и зрения". Эти слова помогают проникнуть в его внутренний мир, скрытый от посторонних глаз, но так глубоко отразившийся в лирике последних лет.

Мог ли Солженицын разглядеть т а к о г о Твардовского в адском вихре, который и сближал их, и разъединял?! Да и Твардовскому была недоступна духовная жизнь любимого художника. Конечно, редактор "Нового мира" читал многие его произведения, но не знал главной книги тех лет - "Архипелага ГУЛАГ", где не только обличаются злодеяния советской власти, но и выражены глубокие мысли о человеке, о народе, о смысле жизни, о вине, раскаянии и о многом другом, что выходит за пределы какой-то одной эпохи.

Общаясь в суетном, уродливом мире, каждый из них жил своей потаенной духовной жизнью, которая нашла воплощение в их творчестве, но мало проявлялась в редких, торопливых беседах.

* * *

Быть может, наиболее тяжким было расхождение Солженицына с Твардовским по кровному для поэта вопросу - в оценке "Нового мира".

Следует подчеркнуть, что с годами журнал менялся так же, как и его редактор. Поначалу и сам Твардовский сомневался: стоит ли продолжать работу в "Новом мире"? "Второй срок моего редакторства, наконец, избавляет от всяких иллюзий. Немыслим, невозможен журнал в том виде, какой иногда мне грезился, - ему просто не дадут быть. А отдавать г л а в н у ю часть жизни для того, чтобы журнал был немного грамотнее, немного приличнее и совестливее других - не стоит", - записал он 4 декабря 1959 года в "Рабочих тетрадях".

Но совершилось казавшееся невозможным: "Новый мир" превратился в центр духовного обновления общества. Он стал делом жизни Твардовского. И вот поэтому недооценка журнала Солженицыным глубоко задевала поэта.

Как уже говорилось, накал борьбы мешал автору "Архипелага" вникать в дела редакции. В цитированных выше отрывках из Шестого дополнения к "Теленку" он сам признавался, что о внутренней жизни "Нового мира" "судил по слишком беглым своим, всегда на лету, впечатлениям, да по недостаточно проверенным рассказам сотрудников". Не мог знать писатель-подпольщик о той изматывающей, но всегда упорной борьбе, которую вели Твардовский и его соратники. И вот они-то, верные помощники главного редактора, зачастую представлялись Солженицыну в ложном свете.

Конечно, это были разные люди. За плечами первого заместителя Твардовского А. Г. Дементьева стояло темное прошлое: он был одним из палачей, громивших ленинградских "космополитов". Я видела его в этой роли и запомнила навсегда. Через 15 лет, услышав выступление Дементьева на встрече читателей с "Новым миром", я была поражена: на трибуне стоял совершенно другой человек. Смело говорил он о роли журнала, сравнивая его с некрасовским "Современником". Прежнего ортодокса нельзя было узнать!

22 августа 1967 года Кондратович записал рассказ Твардовского об одном разговоре его с "Дементом". Речь зашла о том, как советская власть "делала врагов искусственно" (оппозиционеры, миллионы раскулаченных, миллионы пленных, евреи). "А сейчас делаем врагов из интеллигенции. Тоже счет не маленький. И так, если подумать, - за 50 лет сколько же мы сами врагов понаделали. Это ужасно". Сравним с "Открытым письмом Секретариату ССР РСФСР" (12 ноября 1969 г.), в котором Солженицын говорил: "Да что б вы делали без "врагов"? Да вы б и жить уже не могли без "врагов", вашей бесплодной атмосферой стала *ненависть*..." Конечно, мысль Солженицына была

зрее: он издевался над самой теорией "классовой борьбы". Но сближает автора "Архипелага ГУЛАГ" и "политического комиссара" журнала (так в "Теленке" называется Дементьев) - осуждение правительства, видевшего врага в своем народе.

Другим "охранителем Главного" считал Солженицын А. Кондратовича, об истинных взглядах которого можно судить по "Новомирскому дневнику". Мы найдем там размышления об эксплуататорской сущности советского государства, о том, как трудно будет "выбраться" из тоталитаризма, об аналогии между большевиками и нацистами. Приводя сочувственные высказывания Твардовского об А. Д. Сахарове и П. Г. Григоренко, Кондратович разделяет отношение к ним А. Т. Автора дневника, как и главного редактора, потрясли чехословацкие события. Подводя итоги 1968 года, он записывает 30 декабря: "...Крах последних иллюзий и надежд /.../ Живем уже в бескислородной атмосфере".

Но, может быть, Кондратович думал одно, а действовал по-другому, бдительно следя, чтобы в журнал не просачивалась крамола? И это не так. "Новомирский дневник" переполнен записями о борьбе с Главлитом и Старой площадью во имя того, чтобы можно было работать, "пока не стыдно". Ведь Кондратович выполнял роль посредника между журналом и его душителями. Каких невероятных усилий стоила эта борьба, какую смелость надо было проявлять, отстаивая строку за строкой, абзац за абзацем, не говоря уже о целых произведениях, о сверстанных номерах журнала!

Примечателен рассказ Кондратовича о тактике, которую применял "Новый мир", защищая свою линию. Запрещенные вещи через несколько номеров ставились опять, пока же вместо них предлагались те, что были гораздо опаснее". "А Главлиту да и ЦК еще раз ломать номер совсем уж трудно. И это обстоятельство срабатывало не раз, в результате чего в журнале появлялись вещи куда более грозные, чем снятое".

Остановлюсь на одном эпизоде, свидетельствующем, насколько Солженицын ошибался в Кондратовиче. Когда появилась шаткая надежда на публикацию "Ракового корпуса", прежде чем сдать рукопись в набор, Твардовский счел необходимым устранить одно уязвимое место. Ему казалось, будто в повести сказано, что лагеря проросли страну, как метастазы. "Тут втерся в дверь маленький Кондратович, - говорится в "Теленке", - и живенько стал носом поковыривать под страницы: у Шулубина должно быть, у Шулубина. Я стал при них пробегать шулубинские страницы и еще давал Кондратовичу смотреть, как своему же, не опасаясь, что тяпнет за ногу. Но у него разгорелись глаза - это не его были глаза, а вставленные подменные глаза от цензуры, и ноздри были не его, а снаряженные нюхательными волосочками цензуры - и он уверенно-радостно выкусил клок: Вот! Вот! "

Сравним этот отрывок с тем, как изображен тот же эпизод в дневнике Кондратовича. Он записывает 19 декабря 1967 года: "Итак, красный день! Сдали в набор первые 128 стр. (8 глав) "Ракового корпуса" /.../ о лучшем и мечтать не приходится". Когда же Кондратович предложил исключить одно место из разговора Костоглотова с Шулубиным, как явно "непроходимое" (ему ли, ходатаю по новомирским делам, было не знать, что пропустят, что нет!), Солженицын воспротивился: "Нет, это уже уступка". - "Но ведь только три строчки! Поймите, три строчки!" Не уступает. Ни в какую! Может быть, мы давно привыкли в таких случаях уступать, а для него, арестанта, не было условий для воспитания такой привычки /.../ - размышляет автор дневника. - А может быть, он смотрит из будущего?"

В "Теленке" блестяще нарисован сатирический портрет бдительного "охранителя", но приходится признать, что это портрет какого-то другого человека.

В "Новомирском дневнике" и в комментариях к нему, сделанных до и после чтения "Теленки", Кондратович неизменно говорит о великой роли Солженицына в литера-

турном процессе и в истории "Нового мира", всегда оставаясь беспристрастным летописцем журнала.

И напрашивается вывод: Твардовский не смог бы сделать "Новый мир" центром духовной жизни общества, если бы действовал в одиночку, если бы его ближайшие сотрудники гнули какую-то другую линию. Только с помощью единомышленников стало возможным добиваться, казалось бы, невозможного в условиях тотального угнетения.

* * *

Говоря об отношении Солженицына к "Новому миру", легко найти цитаты, доказывающие, что оно было положительным или, напротив, отрицательным. Мнение писателя о журнале не стало однозначным.

Когда он сравнивал путь легального органа со своим и когда сравнивал "Новый мир" с советской периодикой, напрашивались разные выводы. В первом случае уровень смелости казался низким, во втором - высоким. Вот почему на страницах "Теленка" встречаются противоречивые суждения. Это ощущал и сам автор. Так, он восклицает: "Каково жить Твардовскому? каково всей редакции "Нового мира"? Если где в этой книге я проглаживаю их слишком жестоко - исправьте меня: на муки их, на скованность их, на беззащитность".

Но нередко слышится и осуждение: "...соображения "пройдет" - не "пройдет" /.../ помрачали мозги членам редколлегии "Нового мира"..." И хотя им всё же удавалось "сохранять обстоятельный тон просвещенного журнала, как бы возвышенного над временем", - "существовал и другой масштаб: каким этот журнал *должен был бы* стать, чтобы в нем литература поднялась с колен. Для этого "Новый мир" должен был бы по всем разделам печатать материал следующих классов смелости, чем он печатал. Для этого каждый номер его должен был формироваться независимо от сегодняшнего настроения *верхов* /.../ Конечно, для этого частенько бы пришлось и лбом о стенку стучать с разгону".

Но тут же писатель как бы спорит с собой: "Мне возра-
зят, что это бред и блажь, что т а к о й журнал не просу-
ществовал бы у нас и года. Мне укажут, что "Новый мир"
не пропускал ни полабзаца протащить там, где это было
возможно. Что как бы обтекаемо, иносказательно и сдер-
жанно ни высказывался журнал, - он искупал это своим
тиражом и известностью, он неумоимо расшатывал камни
дряхлеющей стены /.../ Наверно, в этом возражении боль-
ше правды, чем у меня. Но я всё равно не могу пройти
мимо ощущения, что "Новый мир" далеко не делал выс-
шего из возможного..."

Еще раз напомним, что всё это писалось весной 1967 го-
да, в разгар борьбы "теленка" с "дубом" и борьбы "Ново-
го мира" за право оставаться журналом "с человеческим
лицом". Обстоятельства меньше всего располагали к объ-
ективным оценкам. Сам Солженицын уже делал в ту пору
ставку на зарубежные публикации и на Самиздат, считая,
что "живая жизнь всё более уходила туда", а редакция
"Нового мира" трагически не понимала этого".

Теперь, когда оглядываешься назад и спокойно раз-
мышляешь о прошлом, картина рисуется иной. Много ли в
СССР было счастливых, которые могли читать самиздат-
ские копии и зарубежные издания? А "Новый мир" попа-
дал в самые отдаленные уголки страны, и читали его мил-
лионы. И разве можно сравнить неторопливое, вдумчивое
чтение печатного текста со скоростным, поневоле поверх-
ностным чтением бледных машинописных страниц, кото-
рые удавалось раздобыть иногда лишь на одну ночь? (Су-
жу по собственному опыту.)

Наконец - главное. Можно ли согласиться, что живая
жизнь уходила из журнала, где печатались лучшие писате-
ли шестидесятых - Айтматов, Быков, Воробьев, Залыгин,
Искандер, Трифонов, Шукшин и другие?! В пределах воз-
можного (а порой - даже за пределами) журнал пробивал
дорогу встающей с колен литературе.

О том, какую линию отстаивал Твардовский и как он сам держался в борьбе с "вурдалаками", свидетельствуют стенограммы заседаний Секретариата ССП, посвященных обсуждению "Нового мира".

Еще в хрущевские времена, в феврале 1964 года, на закрытом заседании Секретариата шла речь о деятельности журнала и было решено, что Твардовский "ведет ошибочную и вредную для советской литературы линию в журнале", что недаром "за рубежом Твардовского называют либералом".

Весной 66-го, за год до того, как Солженицын написал, что "Новый мир" "далеко не делал высшего из возможного", состоялся XXIII съезд КПСС, на котором восемь выступающих критиковали "Новый мир". Осенью того же года под нож пошел целиком 12-й номер журнала, уже подписанный Главлитом. И 22 ноября Секретариат в узком кругу решил выяснить, "что сделал Твардовский после критики на съезде". 19 декабря ЦК предложил старейшим сотрудникам Твардовского А. Дементьеву и Б. Заксу (ответственному секретарю редакции) написать заявления об уходе, рассчитывая таким способом вынудить главного редактора сгоряча хлопнуть дверью и подать в отставку (что он и хотел было сделать, да соратники отговорили). 27 января в "Правде" появилась редакционная статья "Когда отстают от времени", в которой "Новый мир" критикуется за "упорство в отстаивании ошибочных позиций".

И вот, после такой "артподготовки", 15 марта 1967 года, на расширенном заседании Секретариата правления СП СССР предложено было выступить редактору "Нового мира" с отчетом о работе журнала. Это был традиционный "вызов на ковер" и, согласно ритуалу, вызванный должен был признать свои ошибки и сделать "оргвыводы".

Однако Твардовский не только не кается, но и идет в наступление. Он говорит, что две трети лучших произведений, появившихся за последние годы, напечатаны в "Но-

вом мире". И тем не менее, критика называет его деятельность "порочной, очернительской", а опубликованные им вещи - "сомнительными, принижающими нашу действительность", ориентированными на Запад. Сам же журнал обвиняют в том, что он упорно "гнет свою линию".

Здесь уместно вспомнить, что аналогичный упрек бросили "Новому миру" еще в 1954 году, когда Твардовского снимали с поста главного редактора. И тогда он ответил в цитированном выше письме Президиуму ЦК, сохранившемся в "Рабочих тетрадях": "Никакой особой "линии" у "Нового мира", кроме стремления работать в духе известных указаний партии по вопросам литературы, нет и быть не может".

Как же изменился Твардовский за 13 лет! Вот его ответ на сей раз: да, журнал "гнет свою линию", иначе он потерял бы лицо. Линия же его такова: "Новый мир" отдает "предпочтение реализму, жизненной правде, проникновению в сложность явлений подлинной действительности, какая она есть, а не какой может быть представлена, ибо воздействовать на действительность можно, именно видя ее, а не заменяющую ее схему". Линия журнала проявляется и в повышенной требовательности к мастерству, в "нетерпимости к фальши и серости".

Ни разу не употребил Твардовский термина "соцреализм", фактически отрицая основной его принцип - "умение смотреть на настоящее из будущего" (М. Горький), изображать жизнь в ее революционном развитии - не такой, какова она сейчас, а такой, какой будет завтра.

Эстетические взгляды, отличающиеся от официальных, высказал поэт и в речи на XXII съезде. Но теперь он выразил свои мысли более решительно и открыто. Так, Твардовский ополчился на цензуру, назвав ее "пережиточным органом". Без всякого возмущения говорил о распространении рукописной литературы и о зарубежных публикациях, утверждая, что и то и другое - неизбежный результат цензурных запретов. Эти явления, утверждал Твардовский, "можно изживать только публикацией у себя дома..."

Выступление редактора "Нового мира" прозвучало примерно за месяц до солженицынского письма IV съезду писателей. О готовившемся письме поэт ничего не знал, как и не знал Солженицын о выступлении Твардовского. А между тем, многие их мысли совпадают. Не случайно совпали и обвинения, адресованные обоим.

Твардовского упрекали: "Объективно вы противопоставляете правду, пропагандируемую "Новым миром", некоей официальной правде, которая выражается в наших статьях, в газетах, в партийных выступлениях, в речах руководителей и т. д."; "соцреализм /.../ выпадает совершенно из терминологии Нового мира "; "...гнусные заявления буржуазной печати о "Новом мире" /.../ Где вы их опровергаете?" И тут же о Солженицыне: "...у Солженицына соцреализма не найдешь"; он не хочет реагировать на "подлые хвалы буржуазной прессы и радио".

Это совпадение подтверждает правильность заключения, к которому приходит Кондратович в позднейших комментариях к "Новомирскому дневнику". Вот что говорится там о Твардовском и Солженицыне: "Между ними всегда было больше общего, чем различий /.../ Но этой близости в ту пору чаще они сами не замечали".

Особенно остро трагическое непонимание сказалось на страницах "Теленка", где говорится о разгроме "Нового мира". Они написаны с любовью к Твардовскому, но жалость и сочувствие сочетаются с горькой иронией. "Можно гибнуть по-разному, - заключает Солженицын, - "Новый мир" погиб, на мой взгляд, без красоты, с нераспрямленной спиной". Однако и тут, упрекнув новомирцев в "вечной пригнутости в компромиссах", писатель в скобках замечает: много "и быть не может у журнала с т а к и м режимом!".

Но вот лишь один эпизод из жизни агонизировавшего журнала. 4 января 1970 года, за месяц с небольшим до гибели (а новомирцы все еще надеялись ее отсрочить), редколлегия принимает поразительное по смелости решение: сдать в набор поэму Твардовского "По праву памя-

ти", невзирая на запрет и на шум, вызванный ее появлением за рубежом. В тот же день Кондратович записал: "Вот эти моменты в жизни редакции, хотя они и драматичны, грозят опасностями, я так или иначе люблю. В это время мы чувствуем себя людьми /.../ ответственными за ответственное дело".

Тут проявилось и единодушие соратников Твардовского, и сила духа самого поэта. В дни гибели журнала он продолжал отстаивать свою правду и правоту, не калялся и шел навстречу неизбежному с гордо поднятой головой.

Когда Бюро Секретариата ЦСП известило его о решении назначить первым заместителем главного редактора "Нового мира" некоего Большова, которого Твардовский никогда и в глаза не видел, поэт написал гневное письмо (4 февраля 1970 г.): решение "принято без моего согласия /.../ считаю этот факт беспрецедентным ущемлением прав главного редактора, носящим по отношению ко мне оскорбительный характер, и не могу не рассматривать его как *прямое понуждение к отставке*. Считаю действия Бюро неправильными и обращаюсь с жалобой в ЦК КПСС" (выделено мною. - М. Ш.)¹⁵.

На следующий день, получив извещение о снятии своих основных сподвижников, Твардовский не сдается. Он уведомляет Бюро, что до получения ответа из ЦК не уйдет, а назначенных без его ведома и согласия новых членов редколлегии не пустит на порог редакции. А затем пишет письмо Брежневу, притом - далеко не покаянное (о нем уже говорилось выше).

И только 12 февраля, так и не дождавшись ответа от генсека и, очевидно, убедившись, что атака на журнал сакционирована свыше, Твардовский подает заявление об уходе, но опять-таки - в непримиримом тоне: "...несмотря на мои неоднократные устные и письменные протесты против назначения, помимо моей воли, новой редколлегии журнала "Новый мир", которое носит оскорбительный характер..." И далее, вместо общепринятой формы: "прошу освободить меня от занимаемой должности" - нарочито,

подчеркнуто необычная: "вынужден просить об отставке". Вынужден! Как много стоит за одним этим словом.

24 июня 1968 года Кондратович записал такие слова Твардовского об уходе из "Нового мира": "Нет, если я и уйду, то не с /.../ извинительно-искательным жестом. Я не хочу ложным шагом скомпрометировать многолетнее наше дело или хотя бы бросить на него тень". Такая позиция определила его поведение и в феврале 1970 года.

Иначе виделись события Солженицыну. "В январе 1970-го стали его дергать *н а в е р х*, требовать объяснений, негодований и отречений /.../ да он и не против был..." Автору "Теленка" казалось, якобы Твардовский чувствовал себя ослабленным "своей виной - что поэма-то стала *оружием врага!*" (Речь идет о поэме "По праву памяти", опубликованной без ведома автора на Западе.) И далее: "А Воронков *каждый день*, как на службу, *вызывал* к себе этого поэта на собеседование, - и подавленный, покорный, виноватый Твардовский ехал на вызов". И следует вывод: "Сломали". "Твардовский подписал, столько лет из него выжимаемое: *"прошу освободить"*..." Получая информацию из вторых рук, автор "Теленка" не мог знать, что в заявлении было написано не "прошу", а "вынужден просить".

Позже, в Шестом дополнении, которое уже не раз упоминалось, сам Солженицын по-другому оценил события: "И в эти дни разгона - какого высшего уровня смелости я требую от руководства "Нового мира"? Что они могли сделать - не независимые издатели, а государственные служащие? Только - дать самиздатское заявление, что мне казалось тогда единственно желанным и действенным. Но ни Твардовскому, ни другим членам редакции это было не по ритму, не по навыку, совсем невозможно. Это украсило бы их падение, да, - но не изменило бы обстановку".

Интересно, что задолго до публикации отрывков из Шестого дополнения в комментариях к своему дневнику Кондратович писал примерно то же: "В книге "Бодался теленок с дубом" Солженицын как раз на нас возлагает вину: мы не сопротивлялись, не протестовали, кончились,

стоя на коленях. Он бы хотел, очевидно, чтобы мы стукнули кулаком, написали соответствующие протесты, распротестировали их и т. п., то есть поступили, как он в то время поступал. Наверно, это один из вариантов конца. И дело не в том, что у нас не хватило бы духу. Может быть, и хватило бы. Дело в том, что к такому образу поведения мы не были и не могли быть готовы. Если бы хоть раз вышли в открытую, нас с большим удовольствием разогнали бы - гораздо раньше. Со свистом, с улюлюканьем: вот смотрите, вот они какие!"

Твардовский, между тем, не был сломлен. Встретившись с ним через месяц после разгрома, 13 марта, Кондратович записал в дневнике слова поэта, подводившего итоги: "Нам всегда казалось, что кончится "Новый мир" и над мачтами сомкнутся волны. Но вот я читаю много писем, и не от писателей, а от читателей, пишут все - учителя, слесари, инженеры, студенты, - пишут о нашей беде, и пишут так, что я вижу: волны не сомкнулись, нет, не сомкнулись, - мачта наша с нашим флагом еще трепещет над волнами. Наше дело живет /.../ Вообще впереди много трудного, мне это ясно. Ясно, что как раз самые большие трудности еще впереди /.../, а всё-таки есть необратимые вещи /.../ на этом-то рано или поздно они голову сломают..." Пророческие слова!

* * *

В книге "Бодался теленок с дубом", в "Рабочих тетрадях", в "Новомирском дневнике" Твардовский предстает перед нами как фигура трагическая. На страницах солженицынских очерков не раз повторяется: "Бедный Трифоныч!"

Критики упрекали Солженицына: зачем он порочит память поэта, рассказывая о его запоях? Но об этом пишут и другие. Автор же "Очерков" далек от того, чтобы осуждать Твардовского. Вспоминая, как он сам однажды выпил водки, чтобы снять нервное напряжение, Солженицын продолжает: "И еще в одном я понял Твардовского: а ему

тридцать пять лет чем же было снимать это досадливое, жгучее, постыдное и бесплодное напряжение, если не водой?.. Вот и брось в него камень”.

Усугубляли трагедию поэта и сложные взаимоотношения с ”самым дорогим в литературе человеком” (а ведь литература была самым дорогим делом его жизни!). Годы спустя в Шестом дополнении Солженицын признавался: ”...повороты жестокости - были: в том, как я скрывался от него порою сам, и почти всегда скрывал свои предполагаемые удары. Жестоко, - но как было биться иначе? Лишь чуть расслабиться в этом одном - и бок открыт, и бой проигран”.

Только после выхода ”Невидимок” стало ясно, в каком невероятном напряжении приходилось работать Солженицыну. Он пишет: ”Кто не жил в конспирации, даже не вообразит этого отягощенного изматывающего состояния”. Ведь от твоего поведения, от твоего решения, - продолжает он, - зависят ”и многие дорогие тебе люди, и д е л о”. Это была жизнь ”в самозаточении, в томлении”, каждую ночь могли придти гебисты, каждый неосторожный шаг мог погубить всё и всех. ”Под гнетом потаенности и опасностей” мог ли, имел ли право Солженицын доверять свои тайны кому бы то ни было? Даже с помощниками-невидимками он был поневоле сдержан. ”Такая была в те годы нечеловеческая сжатость, что кроме прямых дел и поговорить ни о чем не оставалось”, - сетует он, вспоминая друзей.

Не зная этого, новомирцы недоумевали. 6 декабря 1967 года Кондратович записывает: ”Почему он скрывается так, что сплошная конспирация /.../ Словно его преследуют...” И позже, в комментариях к записи от 3 января 68-го: ”...А. Т. раздражала и отдаляла от Солженицына не разница позиций... В том-то и дело, что позиции в широком, не в частном смысле были близки. Раздражало поведение Солженицына. Он не мог, а скорее не хотел сказать прямо, что он думает /.../ Он не доверял А. Т., а А. Т. не понимал, почему. Почему остается не уголок, а целые области его

жизни, которые он скрывает, утаивает от нас? Разве мы не поймем его? А если даже и не согласимся с ним, то разве предадим его: это уже во всяком случае было исключено. Конечно, у Солженицына был за плечами такой крестный путь, какого не приведи бог иметь кому-либо. И это наложило отпечаток на его поведение. Мы это понимали. Но "играть" с А. Т. ему все-таки не стоило".

Теперь-то стало известно, что если это и была игра, то не с Твардовским, а со смертью. Да и как было поверить в осуществимость совместной наступательной тактики с новомирцами, поневоле осторожными! Приходилось скрывать порой даже шаги неконспиративного характера, ибо редактор легального журнала не мог их одобрить.

Так случилось, когда после исключения из ССП Солженицын решил распространить "Открытое письмо Секретариату Союза писателей РСФСР", где был брошен вызов идеологии, партии, всей системе. Накануне в дружеской беседе с Твардовским он решил за благо умолчать об этом отчаянно смелом шаге, заранее зная, что поэт станет яростно возражать против такой акции, опасаясь повредить "Новому миру".

Твардовский же, узнав о письме, был потрясен до глубины души. Его не только испугал непримиримый тон этого документа, но в еще большей мере оскорбила скрытность Солженицына. "Я видел А. Т. в разных состояниях, - записывает Кондратович 12 ноября 1969 года, - но в таком гневе, ярости и отчаянии, горе - не видел /.../ Это было потрясение". Казалось бы, поэт сделал окончательный вывод: "Я его похоронил... Да, похоронил". И - запил. "Ведь это не первый случай, - с горечью замечает Кондратович, - когда в тяжкие минуты он срывается и уходит от всего на свете, как бы закатывается в алкогольную тьму, тяжкую, вязкую, уже почти без счета и учета времени".

Но даже и на этот раз Твардовский не похоронил любимого писателя. Через несколько дней Солженицын прислал ему письмо, объясняя случившееся: "...всю жизнь свою я ощущаю как постепенный подъем с колен, посте-

пенный переход от вынужденной немоты к свободному голосу. Так вот письмо Съезду, а теперь это письмо были такими моментами *высокого наслаждения, освобождения души...*"

Приведя это письмо в "Теленке", Солженицын вспоминает, что Твардовский "и сам постепенно смягчился [...]/ Говорил, вздыхая: "Да, он имел право так написать: ведь он в лагере был, когда мы сидели в редакциях". И... перечитывал Иван Денисовича".

Но общаться все же они перестали. Прошло примерно три месяца. Наступили дни разгрома "Нового мира". И 10 февраля Солженицын пришел в редакцию к Твардовскому. Потекла дружеская беседа. Разрыва как не бывало! "Который раз он проявлял, насколько наши нелады ему тяжелее..." - заключает автор "Теленка".

Но... он не скрывал от сотрудников "Нового мира" своего отношения к тому, как погибал журнал. Кто-то передал его слова снятому редактору. Можно себе представить, какую боль это причинило Твардовскому, и без того потрясенному разгромом. С чувством глубокой грусти отмечает и Солженицын: "И снова, в который раз, наша утлая дружба с Трифоновым утонула в темной пучине. Придушенные одним и тем же сапогом, замолкли мы - врозь".

Но пришел смертный час поэта, и отошло всё злободневное, суетное, осталось главное, вечное. С чисто солженицынской силой рассказано в очерках "Бодался теленок с дубом" о свидании автора с другом, разбитым параличом: "Когда Трифону особенно требовалось высказаться, а не удавалось, я помогающе брал его за левую кисть, - теплую, свободную, живую, и он ответно сжимал - и вот это было наше понимание... Что между нами все прощено. Что ничего плохого как бы и не бывало - ни обид, ни суеты..."

* * *

В заключение хочу подчеркнуть: вопрос не стоит - кто виноват, кто прав? чье общественное поведение было более

прогрессивным? чья тактика оказалась вернее? Зажженный Твардовским факел погасить оказалось невозможным, как невозможно было ослабить великую роль Солженицына в духовном распрямлении общества. Вот почему мы вправе сказать: редактор "Нового мира" и автор "Архипелага ГУЛАГ" - каждый по-своему "неутомимо расшатывал камни дряхлеющей стены".

ПРИМЕЧАНИЯ

При цитировании одного и того же документа ссылка на источник дается лишь при первом его упоминании. В случае, когда слова в цитатах выделены не мною, а автором текста, это специально не оговаривается.

1. "Из истории общественно-литературной борьбы 60-х годов. Твардовский, Солженицын, "Новый мир" по документам Союза писателей СССР". Публикация Ю. Буртина и А. Воздвиженской. "Октябрь" №№ 8-11, 1990.

2. А. Солженицын. "Бодался теленок с дубом". Париж, ИМКА-Пресс, 1975. В России публикация осуществлена впервые в "Новом мире", №№ 6-8, 1991. Далее цитаты даются по парижскому изданию, сверенному с журнальным текстом.

3. Отрывки из Шестого и Седьмого дополнений напечатаны в журнале "Вестник русского христианского движения", № 137, Париж, 1982.

4. С резкой критикой выступил В. Лакшин в журнале Жореса Медведева "Двадцатый век", № 2, Лондон, 1977. Аргументация Лакшина строится на неверном цитировании; во многом обвинения, предъявленные Солженицыну, совпадают с инсинуациями советской прессы тех лет (автор "Бодался теленок с дубом" таит "злобу к стране и людям, оставшимся в ней", и т. п.). В книге воспоминаний "Открытая дверь" (Москва, 1989) и в дневнике "Новый мир" времен Хрущева, как и в позднейших добавлениях к дневнику ("Знамя", №№ 6-7, 1990), Лакшин говорит о Солженицыне совершенно по-иному и ни разу не упоминает своей старой статьи 1977 года. В статье Роя Медведева "Твардовский и Солженицын" ("Советская Россия", 26 октября 1991) повторяются многие упреки и аргументы, приводимые в лондонской статье Лакшина.

5. А. Солженицын. "Бодался теленок с дубом". Пятое дополнение. Невидимки. "Новый мир" №№ 11-12, 1991.
6. А. Твардовский. Рабочие тетради (1953-1960). "Знамя" №№ 7-9, 1989.
7. Стенограммы Секретариата ССП СССР, а также другие документы, связанные с историей "Нового мира", опубликованы Ю. Буртиным и А. Воздвиженской (см. 1-е примечание).
8. А. Кондратович. Новомирский дневник (1967-1970). Москва, 1991.
9. А. Солженицын. "Архипелаг ГУЛАГ". Собрание сочинений. Вермонт - Париж, 1980, том пятый.
10. А. Твардовский. Из речи на XXII съезде КПСС. Собрание сочинений в пяти томах. Том пятый. Москва, 1971.
11. Стенограмма заседания Президиума Правления ССП от 24 марта 1953 г. опубликована А. Берзер в кн.: С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. А. Берзер. Прощание. Москва, 1990.
12. Письмо Твардовского в Президиум ЦК, датированное 10-11 июня 1954 г., приводится в его "Рабочих тетрадях" (запись от 7 июня 1954 г.).
13. С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. (См. 2-е примечание.)
14. В. Лакшин. "Новый мир" времен Хрущева". (См. 4-е примечание.)
15. Этот документ, как и приводимые далее, опубликованы Ю. Буртиным и А. Воздвиженской. (См. 1-е примечание.)

* * *
*

Леонид КЕРБЕР (Г. ОЗЕРОВ)

На воле

ОТ РЕДАКЦИИ

В 1971 году издательство выпустило небольшую книжечку анонимного автора: Г. Озеров "Туполевская шарага" (первый выбранный редактором издания псевдоним был - Шарагин), в которой рассказывается об одном периоде работы конструкторского бюро замечательного русского авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева - оно в почти полном составе действовало в условиях тюремного заключения.

В 1991 году выяснилось, что действительным автором книги был один из долголетних соратников А. Н. Туполева, прошедший с ним и славные, и горькие сорок с лишним лет - с 1927 по 1968 год, в том числе в тюрьме и в "шараге", - Леонид Львович Кербер, сын русского царского адмирала, заместитель А. Н. Туполева в ОКБ по оборудованию самолетов. Л. Л. Кербер написал о Туполеве книгу "ТУ - самолет и человек" (1975 г.), продолжение воспоминаний о работе в туполевском ОКБ (и опубликовал их в журнале "Смена" в 1991 г.), а также целый ряд публицистических статей. Скончался Л. Л. Кербер в Москве в октябре 1993 года на 91-м году жизни.

Журнал "Смена" опубликовал как текст книги, изданной "Посевом, так и никогда ранее не публиковавшееся продолжение ее под общим названием "С Туполевым в тюрьме и на воле", а издание этого отдельной книгой готовилось в одном из авиационных издательств. Но после смерти автора по разным причинам, в первую очередь экономическим, издание не было осуществлено. Издательство "Посев" включило выпуск полной книги в свой издательский план на конец 1994 - начало 1995 года через свой московский филиал.

Наверное, первым наиболее полно и в художественной форме поведал миру о советских "шарагах" в своем романе "В круге первом" А. И. Солженицын, сам побывавший в одном из подобных "исправительно-трудовых учреждений". "Шараги" - это вершина идеи сталинских чекистов по широчайшему и целе-

направленному использованию бесплатного труда многомиллионной трудовой армии заключенных (от лесоповала до строительства дорог, изготовления бытовой техники или сувениров для туристов), позволявшее эксплуатировать лучшие инженерные и научные умы с КПД, близком к стопроцентному, и с почти нулевыми затратами (по сравнению с ценностью для экономики и промышленности полученных результатов). Можно назвать десятки всем известных в России имен ученых и инженеров, прошедших через эти уникальные заведения: Туполев, Королев, Тимофеев-Рессовский...

Во второй части воспоминаний Л. Л. Кербер продолжает свой рассказ о туполевском конструкторском бюро, о том, как и в каких условиях работали эти же люди, условно говоря, "на свободе", за пределами огороженного колючей проволокой тюремно-лагерного пространства. И общая картина, предстает перед читателем существенно отличной от официальной и помпезной картины триумфального шествия советской науки и техники. Становится более понятным, какой ценой обеспечивались эти "триумфы" одновременно с тем, как приходили в упадок сельское хозяйство, легкая промышленность и экономика страны в целом. Интересно для сравнения положить рядом воспоминания Кербера и, например, выпущенный к 50-летию юбилею ОКБ Туполева в 1973 году (сам отец-основатель бюро еще здравствовал) сборник статей долголетних сотрудников этого громадного предприятия - в нем одни успехи, и нет даже намек об арестах, лагерях и шарагах, катастрофах, зато есть большая статья "Роль партийной организации...".

Воспоминания Л. Л. Кербера в очередной раз наглядно иллюстрируют одно из самых иезуитских преступлений советского режима. Уничтожая, как теперь принято говорить - "здоровый генотип" своего народа: крестьянство, аристократию, гуманитарную интеллигенцию, церковнослужителей, большевики, будучи, наверное, самыми большими в истории прагматистами, нещадно использовали техническую интеллигенцию, "технарей" для укрепления своей власти и военной мощи, играя при этом на лучших человеческих и профессиональных качествах этой части интеллигенции. Ведь для любого хорошего инженера это вопрос профессиональной чести сделать что-то не просто хорошо, а лучше других, точнее, аккуратнее, иной раз почти невозможное, как лесковский Левша, когда морализаторские вопросы типа "а зачем?", "каковы будут последствия?" и т. п. уходят на задний план: для них наука, техника должны двигаться вперед - это и есть главное. Это не вина их, а беда. И беда тем большая, что постепенно вела и саму эту интеллигенцию к вырождению. Она понастроила плотин и космических кораблей, готовилась пово-

рачивать реки (и ведь повернули бы - "нет таких крепостей..."), а кастрюльку сегодня в России днем с огнем не сыщешь, а уж коли сыщешь, то будет она из металла "стратегического назначения"...

* * *
*

Итак, руководителей отделов туполевского бюро освободили. Теперь все наши силы нацелены на одно - всемерно увеличить выпуск полюбившихся фронтовым летчикам бомбардировщиков Ту-2. Их скорость значительно выше, чем немецких и американских, три тонны бомб, две пушки и три тяжелых пулемета, лёгкость в управлении, непритязательность в эксплуатации.

Воюют уже два полка наших машин, на очереди вылет на фронт третьего. Завод подошел к выпуску одного Ту-2 в сутки, составлен детальный план и подготовлена оснастка для изготовления 60 машин в месяц. Это для омского завода предел.

Но ведь здесь же, в Сибири, два завода продолжают клепать устаревшие, тихоходные, плохо вооруженные бомбардировщики Ил-4, которые немцы походя сбивают. Не разумнее ли перевести их на выпуск Ту-2?

И тут происходит невероятное! Вечером расстроенный директор Л. П. Соколов приносит Туполеву шифровку Сталина: "Производство бомбардировщиков Ту-2 прекратить, наладить выпуск истребителей Як-9".

Непостижимо! Никто из причастных к авиации - ни военные, ни производственники - ничего понять не могут. Сталинградская битва позади, фронт начал движение на Запад, казалось бы, тут и нужны бомбардировщики. Допустим, Сталин не в состоянии вникать во все тонкости, но не мог же он принимать такое решение, не посоветовавшись с консультантами и референтами?

Так кто же они, эти люди, поддержавшие нелепое ре-

шение? В цехах только и разговоров о чьей-то злодейской руке, о вредительстве.

Но приказ есть приказ, и мы буквально со слезами на глазах наблюдаем, как разрушают созданное в нечеловеческих условиях, на пустом месте самолетное производство. В напряженнейшие дни войны останавливают на два месяца завод лучших бомбардировщиков и не догадываются вместо него остановить завод худших!

Так или иначе, делать нам в Омске больше нечего, и туполевское ОКБ эвакуируют в Москву. Возвращаемся в родное здание, с которым прощались два года назад, далеко не уверенные, вернемся ли в него когда-либо.

Наш опытный завод переключился на выпуск топливных баков для других самолетов, заданий на проектирование чего-либо нового не поступает.

Однако, убежденный, что производство Ту-2 возобновят, Туполев поручил коллективу быстро выпустить две его модификации. Первая - очень нужный фронту фоторазведчик. Это несложная работа - требовалось установить в бомболюке вместо бомб несколько аэрофотоаппаратов и бензобак.

Вторая была значительней и перспективней. Из обычного, серийного Ту-2 путем несложных переделок получался более качественный. Требовалось установить крылья с большим размахом и посадить в кабину второго летчика. Хотя по дальности Ту-2-Д несколько уступал Ил-4, скорость у него была большей, а главное - он обладал грозным оружием - три тяжелых пулемета вместо одного на Ил-4. К сожалению, из-за неразберихи, когда выпуск Ту-2 то прекращали, то возобновляли на других заводах, воспользоваться этой машиной в войну не удалось.

Но пока наше руководство раздумывает, выходит новое решение Сталина - срочно возобновить производство Ту-2, но на других заводах.

В результате этих не особенно мудрых решений более года лучшие бомбардировщики не строились. Если допустить, что один омский завод выпускал бы их непрерывно, армия недополучила около 800 машин.

Сколько солдатских жизней спасли бы они?

А пока Туполев, глубоко убежденный, что четырехмоторные дальние стратегические бомбардировщики будут нужны и в дальнейшем, инициативно приступил к проработке такого самолета под шифром "64".

Способствовало этому то обстоятельство, что в ОКБ А. А. Микулина уже шли стендовые испытания нового двигателя АМ-42 с турбокомпрессорами, обеспечивающими полеты на больших высотах.

Предложение заинтересовало ВВС, и нам поручили эскизное проектирование и постройку макета. Вот тут и выяснилось новое трагическое обстоятельство.

Стало очевидным - проектируемая машина не может быть создана без комплекса новейшего оборудования, в котором многие функции экипажа будут выполнять автоматы и разного рода вычислители. Но таковых нет.

А когда мы, самостоятельно разработав технические требования и точностные характеристики, обращались к смежникам, нам отвечали - это невозможно. Казалось, тупик.

Еще в конце войны к нам стали просачиваться с Запада слухи о какой-то новой отрасли наук, способной значительно упростить поиски отдельных технических решений. Вскоре выяснилось, что создатель и глава новой отрасли - известный американский математик Норберт Винер. Он назвал ее кибернетикой, от греческого *Kybernetike* - искусство управлять.

Прослышав про это, в цитаделях, занимавшихся чистотой марксистской философии, подняли панику. Если выдуманная Винером вычислительная машина способна заменить человеческий мозг, следовательно, она, будучи неконтролируемой нами, может прийти к совершенно нелепым выводам, вплоть до того, что можно обойтись без марксистской философии, диалектического материализма, курса истории партии, наконец, без биографии вождя?

Кто был в те времена командующим идеологией, мне неизвестно, но этот генерал - явный персонаж Сал-

тыкова-Щедрина, - доложил куда следует. А оттуда, с самого-самого верха, последовал приказ: "Кибернетика - лженаука, а посему ее следует закрыть и о ней забыть раз и навсегда".

...Прошло несколько лет. Размеры тяжелых самолетов продолжали расти, на бомбардировщиках увеличивалось число пушечных башен, стрелков. Потребовалось, чтобы любой стрелок мог вести огонь из любой башни и даже из нескольких. Силовыми установками мощностью в десятки тысяч лошадиных сил тоже требовалось управлять как от бортинженера, так и от любого из летчиков. В системах, в том числе и в системе управления самолетом, появились всякого рода демпферы - автоматы и вычислители: к традиционному автопилоту добавились навигационные счетчики координат, инерциальные, астрономические корректоры и т. д.

Вся эта аппаратура базировалась на автоматике регулирования и электронной вычислительной технике, т. е. на основе основ "лженауки". Завязывался какой-то метафизический гордиев узел: надо было принципиально решать - что можно использовать в оборудовании новейших бомбардировщиков, а что нельзя.

После долгих, порой мучительных обсуждений как же быть, пришли к выводу: без хотя бы паллиативного решения, облегчающего работу экипажа, не обойтись.

Вспомнив, что в Ленинграде есть бюро В. И. Ланердина, специализировавшееся на элементарных счетных устройствах, решили заказать ему хотя бы технический счетчик маршрута, выдававший штурману, пусть с небольшой точностью, текущие координаты самолета. В Ленинграде у В. И. Ланердина уточнили, что по существу счетчик маршрута (ТСМ) будет фактически центральной бортовой аналоговой вычислительной машиной, но пока возьмет на себя управление движением самолета только в горизонтальной плоскости. Решиться на управление также и в вертикальной пороку у нас не хватило: задача, по нашим тогдашним возможностям, и без того была дерз-

кая. Обговорили, что управление в вертикальной плоскости предусматриваем, но задействуем лишь на втором этапе работ.

Летом 1946 года В. И. Ланердин пригласил Туполева осмотреть действующий макет ТСМ. ОКБ Ланердина занимало бывший жилой дом по улице Скороходова. В одной из комнат квартиры на втором этаже, на большущем обеденном столе нам продемонстрировали нечто, напоминающее громоздкую книжную этажерку, положенную набок. Этажерка была наполнена множеством мерцающих радиоламп, с разных сторон ее обдували с десятков вентиляторов.

Туполев заинтересовался.

- Меня интересует надежность вашего монстра. Сколько часов на один отказ?

- Надежность? - зло переспросил один из молодых разработчиков. - А никакой надежности!

- Не понимаю...

- Сейчас поймете. Лампы в нем отказывают, когда какой вздумается, вот вам и всё объяснение. Иная и часа не проработает, иная несколько часов проработает, а их здесь - добрая сотня.

Так что же делать, чтобы на борту наших самолетов завелась надежная автоматика?

Молодой инженер, не сдержавшись, почти истерично выложил Туполеву все горести, обуревавшие их коллектив: "Прежде всего разогнать этих дураков, начетчиков, осмелившихся придать целой области новых знаний кличку лженауки. Дать нам свободу действий, организовать производство транзисторов и микродеталей, обучить программистов и, клянусь вам, Андрей Николаевич, мы за год сделаем вам то, что нужно..."

Тщетно пытался В. И. Ланердин прервать и успокоить его, он не остановился, пока не выложил Туполеву всё, что переполняло души молодых инженеров. Стало ясно, что на таком уровне нечего и думать о создании современной бортовой электронно-автоматической аппаратуры.

Мы поняли: наша базовая наука - кибернетика - не может дальше оставаться в ранге "лженауки". Разумеется, это чувствовали не только мы - авиастроители, но и работники во всех остальных областях оборонной техники.

К счастью, вскоре вышло решение о создании при президиуме Академии наук ученого совета по кибернетике, и председателем его был назначен инженер, адмирал А. И. Берг!

А коллективу Ленардина так и не удалось добиться устойчивой работы "Технического счетчика маршрута". Однако его ОКБ принесло огромную пользу: в авиапроме выросли новые программисты, первые схемники, создавшие комплекс внешних связей, необходимых для работы бортовой вычислительной машины стратегического бомбардировщика.

Потеряли же мы, борясь с противниками кибернетики, минимум три года!

После войны Сталин усмотрел в отсутствии образцов новых самолетов преступную недальновидность главкома ВВС маршала А. А. Новикова и наркома авиапромышленности А. И. Шахурина. Оба были сняты с постов и репрессированы. "Виноватых" нашли, как всегда, но делу это, естественно, не помогло.

...Во время войны японская ПВО, случалось, подбивала новейшие стратегические бомбардировщики США "Суперфортрессы" (В-29), тогда пилоты оказывались перед дилеммой: тонуть в океане или садиться на наши аэродромы. По просьбе Ф. Рузвельта Сталин дал такое разрешение. Поскольку наша страна в то время с Японией еще не воевала, по международным правилам экипажи интернировались, а самолеты поступали под нашу охрану. Так на нашей территории оказались три почти целых В-29, главное - с исправным наиболее совершенным в мире электронным оборудованием различного назначения.

И когда началась "холодная война", у Сталина возникла мысль, а не следует ли, чтобы быстрее перевооружить нашу авиацию машинами, отвечающими совре-

менным требованиям к их начинке, попытаться воспроизвести В-29 со всем его оборудованием у себя?

С Туполевым, Ильюшиным и Мясищевым провели доверительные беседы. Ильюшин от задания отказался сразу. Сказал - никогда такими крупными машинами не занимался. Мясищев и Туполев согласились. Выбор пал на Туполева.

Решение партии и правительства, подписанное Сталиным, обязывало Туполева скрупулезно воспроизвести В-29. Этим же решением всем наркоматам, ведомствам, НИИ, ОКБ, заводам и предприятиям СССР без исключения предлагалось столь же скрупулезно воспроизвести всё то, из чего состоял В-29: материалы, приборы, агрегаты... Единственное, что разрешалось и даже прямо предписывалось: американскую систему мер заменить метрической.

Завершалось это из ряда вон выходящее решение двумя параграфами: Туполеву через год закончить выпуск всей необходимой для постройки и эксплуатации самолетов документации, а директору завода В. А. Окулову еще через год построить двадцать самолетов.

Решение было вынужденным, даже трагичным и всё же, по-видимому, единственно правильным в тот момент, резко упростившим задачу. Отбрасывалось привычное рассуждение: "А можно ли это создать?". Вам вручали работающий образец и говорили: "Будьте любезны, сделайте точно такой же!"

Постепенно к нам начали поступать образцы материалов, приборов и агрегатов для будущего Ту-4. Но поступали они медленно и неровно, было видно, что промышленность перестраивается туго. И наш шеф решил их подстегнуть. Он устроил выставку - кто, что и когда должен поставить и как это выполняется. На выставку потянулись руководители поставщиков и даже министры. Слух о ней дошел и до Сталина, и он пожелал ее посетить.

Туполев вызвал Маркова, Минкнера и меня и велел подготовиться давать пояснения, день он сообщит позднее, но известно, что это будет после полуночи. День оказался

воскресным, завод не работал. После полудня наше здание оккупировали молодые люди в штатском, но с военной выправкой и пристально-наблюдательными глазами. Обшарив всё здание, они позапирали все двери, заменили заводскую охрану своими и выставили кучу дополнительных постов.

Нас, "экскурсоводов", попросили в кабинет Архангельского и проинструктировали: товарищу Сталину следует рассказывать кратко, четко и доступно для неспециалиста. Он не любит, когда докладчик не спускает с него глаз, и нервно реагирует при неожиданном появлении лектора из-за спины. Не следует держать руки в карманах. А пока нам надлежит не выходить из кабинета. С нами будут еще два майора, при желании посетить туалет нас проведут, а если захотим, чай и бутерброды принесут.

Из окна кабинета было видно, как по ночным опустевшим улицам фланируют те же молодые люди, изображающие народ. Светофор на перекрестке выключили, движение регулировали трое милиционеров в ослепительно белых перчатках с крагами и флюоресцирующими жезлами.

Время тянулось медленно, было скучно, а взаперти и унизительно. Около двух ночи вошел Туполев и сообщил, что визит не состоится. Любезные майоры развезли нас в черных машинах по домам.

Отмечу, что юридическая сторона производимого эксперимента никого особенно не тревожила, поскольку никаких патентных соглашений с Западом мы тогда не имели. Точно так же и они с нашими приоритетами в других областях техники особенно не считались.

Тихоокеанские летчики, перекрасив белые звезды на В-29 в красные, перегнали американские машины из Владивостока в Москву, на Измайловский аэродром: он был там, где сейчас Первомайский универмаг и кинотеатр "София". Мы отправились знакомиться с "заграничными чудами". Андрей Николаевич осмотрел и ощупал всё, что удалось, сунулся было даже в трубу-лаз, соединявшую гермокабины, но застрял. Хмыкнул: "Это для тощих

американцев, небось, при капитализме недоедают..." Поделился первым впечатлением - машина отличная. Затем отметил: "В конструкции самолета ничего доселе нам не известного не обнаружил". Но сразу же раскритиковал гнутые стекла кабины пилотов:

- Наши летчики забракуют: слишком искажают вид на всё, что перед ними. Я бы поставил наклонные плоские стекла, как на всех наших самолетах, но не разрешают ничего менять. (И действительно, все летчики материли гнутые стекла на чем свет стоит.)

Резюме Туполева таково: самолет построить особого труда не составит.

- Но что мы будем делать с вооружением и оборудованием? По правде говоря, не уразумел. Стрелок сидит почти в самом хвосте, а стреляет из носовых пулеметов. Какова же должна быть надежность такого дистанционного управления? И еще - все эти радиолокационные прицелы, дальномеры, вычислители, автоматы координат... Воспроизведут ли их наши как надо? Допустим, воспроизведут, но глядите: они соединены сотнями, тысячами, - тут старик начал раздражаться, - миллионами проводов. Как Кербер с Надашкевичем разберутся с ними, как поймут, откуда и куда идет вот хотя бы этот, - он потянул за один проводок, - ума не приложу! Замкнется где-нибудь проклятый - что тогда?

Сплюнув и окончательно выйдя из себя, расшумелся:

- Ну, чего молчите, Кербер Львович и Александр Васильевич? Отвечайте, как решать этот ребус?

А что мы могли ответить? Он правильно кричал.

- Ладно, поехали в ОКБ, приступать к этой Вавилонской башне...

Не сразу, постепенно, но методика необычной деятельности всё же стала складываться и, надо сказать, довольно стройная. Старшим по демонтажу Туполев назначил нашего главного технолога С. А. Вигдорчика. Далее требовалось найти помещение, где можно было бы заняться этим самым демонтажем. В те годы во всей Москве был

только один ангар, куда вместился бы В-29. Раньше это строение принадлежало ЦАГИ, было возведено для Туполева, но, пока Туполев сидел в тюрьме, ангар передали под производственную базу другому конструктору, В. Н. Челомею. Андрей Николаевич, будучи по натуре как бы собственником-кулачком, терпеть не мог, когда "его имущество" отдавали кому-либо, и теперь, воспользовавшись правительственным постановлением, вернул ангар нашему ОКБ.

Ведущим конструктором по новому бомбардировщику Туполев назначил своего заместителя Д. С. Маркова, приняв во внимание, что до тюрьмы Марков работал на заводе № 1 главным конструктором по внедрению в производство американского самолета "Валти" (по приобретенной СССР лицензии) и внедрил блестяще.

Первый экземпляр В-29 генеральный предложил разобрать полностью, все детали использовать для выпуска чертежей, а начинку отдать специализированным НИИ, КБ и заводам. Второй экземпляр - использовать для снятия характеристик и обучения летного состава. Третий - сохранить в неприкосновенности, как эталон.

Самолет расстыковывался на отдельные, конструктивно независимые агрегаты, по каждому из которых назначался ведущий конструктор с бригадой инженеров, техников и такелажников. Отстыкованный агрегат устанавливался в специально изготовленный стапель, обшитый войлоком, обмеривался, на нем с помощью теодолита наносились контрольные репера. Затем с него демонтировали оборудование; но прежде фиксировали, куда идут от каждого прибора трубки гидравлики и пневматики, провода, сколько их и какого сечения, длины, как замаркированы. Всё это фотографировалось, взвешивалось, нумеровалось и заносилось в специальные реестры. Ежевечерне автобусы с конструкторами и снятым имуществом отправлялись в ОКБ. Когда агрегат оставался абсолютно пустым, его тоже отвозили и там уже разбирали до последней заклепки.

Но вот сложность: как узнать, на какой завод, какого министерства следует передать тот или иной агрегат, прибор, электромеханизм, радиостанцию, прицел, листы металла, пластмассы, стекла, ткани, резины, тот или иной провод, трубку и всё остальное, что мы обнаружили?

Встревоженный Туполев поехал к зампреду Совмина А. И. Микояну: не утвердить ли в каждом министерстве, участвующем в эпопее создания Ту-4, кого-то персонально ответственного за освоение и поставку новой техники?

- Мне думается, Анастас Иванович, без этого мы, проектировщики, утонем в телефонных звонках, пропусках, в ожидании приемных часов у всякого рода "руководства"!

Микоян согласился с Туполевым, и такие ответственные были назначены, в большинстве - заместители министров или начальники главков.

По-моему, это был едва ли не первый у нас в стране случай создания неформального межведомственного органа, позволившего вдохнуть в эпоху всевластия административной системы живые, непосредственные связи между всеми участниками. Чуть позже опытом Туполева воспользовался Королев, образовав свой знаменитый совет главных конструкторов. Каждый главный подчинялся своему министерству, но совет - Королеву и никому больше (кроме, может быть, Совмина и ЦК), и его решения становились обязательными для всей промышленности. Только поэтому, я уверен, наши ракетчики добились в те годы успехов: не будь совета - никакие таланты Королеву не могли бы помочь, "руководство" утопило бы его в ложке воды, измотало "ценными указаниями".

Хочу сказать еще и еще раз, что Туполев обладал удивительной способностью находить в любой многозвенной системе (безразлично - в сложной ли машине, или в совместной деятельности промышленных предприятий) то самое звено, которое способно разрушить сооружение, идею, корпорацию. Найдя такое звено, старик вытаскивал его на свет Божий, нередко - на смех. Оно переделывалось и переставало тормозить работу.

Интересно, что это содружество, административно никем не утвержденное, существовало на принципе тесных, как это называл Андрей Николаевич, "горизонтальных связей" между нашим бюро и промышленностью других министерств. С окончанием работ по Ту-4 оно не распалось, осталось жить. Как только у нас возникали проблемы с поставкой тех или иных комплектующих приборов и агрегатов для наших новых машин, мы с помощью "горизонтальных связей" быстро находили то лицо, от которого зависело решение, проникали к этому лицу мимо телефонов, секретарей, референтов и оперативно разрубали завязавшиеся были узлы противоречий.

Так было до конца жизни Андрея Николаевича Туполева.

Ответственные из министерств стали вместе со своими сотрудниками регулярно бывать у нас в ОКБ и без проволочек решали, что, куда и кому направлять. Этот новый, очень действенный аппарат специалистов необыкновенно способствовал успеху передачи. А оформлялась она так: ответственный представитель завода лично получал агрегат, его габаритный чертеж, фотографии, акт взвешивания, схему жгутов или трубок, стыкующих агрегат с самолетом, краткое описание. Шифр агрегата мы устанавливали совместно: тут же назначались сроки поставки первого комплекта для нас и последующих - серийному заводу.

Число передаваемых блоков, приборов и образцов измерялось тысячами. Чтобы не запутаться, Туполев организовал специальное диспетчерское бюро под руководством энергичного инженера И. М. Склянского. (Тоже отпущенный зэк. сидел с нами в ЦКБ-29 НКВД. А его брат, Э. М. Склянский, был когда-то заместителем председателя Реввоенсовета Л. Д. Троцкого. Не знаю, смутило ли это сколько-нибудь Туполева, но на ответственную должность он Иосифа Марковича назначил.) Оценив предстоявший объем документации, Склянский составил сетевой график, заняв им целую стену одного из залов ОКБ. Это был, ве-

роятно, первый такой график в Союзе. На всё, что передавалось смежникам, были заведены карточки - по четыре: одна у нас, по одной в нашем и смежном министерствах и четвертая у поставщика. При таком учете ни одна деталь не оказалась потерянной, ни один прибор не исчез.

Итогом этой работы стало контрольное взвешивание. "Сухой" самолет В-29 (без топлива, масел и т. д.) весил 34 930 кг, первый воспроизведенный у нас - 35 270 кг. Разница меньше процента: результат выдающийся.

Да, работа, хотя и называлась воспроизведением, была непростая, с рядом сбоев. Начались они с вооружения. Военные и промышленники требовали: всё оружие должно быть отечественным. Но решение готовили в спешке, зная, что Сталин не терпит задержек, и спецификацию намеченного вооружения не приложили. А когда разобрались глубже, оказалось, что за собственным вооружением, то есть бомбами, пулеметами, тянется довольно длинный шлейф: замки для подвески бомб, электросбрасыватели, электромоторы вращения турелей, патронные ящики, рукава для лент с патронами... Даже прицелы нужны были другие, ибо баллистика американских и наших бомб и снарядов неодинакова.

И пошли пререкания, демагогия: "Так что мы - копируем "Боинг" или нет?" Любой участник мог на каждую мелочь требовать бумагу, освобождающую его от ответственности. Дело шло к тупику. Потребовалось выпустить новый документ, с большим числом подписей. Решалось всё это ужасно медленно, с безобразной нервотрепкой, а главное - тормозило выпуск чертежей. Нависла угроза срыва сроков, утвержденных самим Сталиным.

А тут - новое огорчение, на этот раз с системой радиоопознавания. Ее еще называют системой "свой-чужой", сокращенно "С-Ч". Казалось, никаких сомнений: надо ставить принятую в нашей армии. Но в тексте основного решения это не оговорили, и радиопромышленность выпустила для нас аппаратуру, скопированную с американской. Ее установили на самолет, и получился

конфуз. Представьте, наш истребитель с отечественной аппаратурой "С-Ч" встречается с Ту-4. А на нем стоит скопированная с американской! Як или МиГ запрашивает: "Ты свой?" - и, не получив ответа, открывает огонь. Что же, этого нельзя было предвидеть? Можно, и предвидели, конечно. Но страх всё преодолел, включая здравый смысл. Единственное соображение осталось: там, наверху, виднее!

Еще один пример - американские парашюты. Они за- спинные и служат мягкой спинкой для сиденья. А наш уложенный парашют - подушка, на которой летчик сидит. Потому и сиденье под наш парашют - квадратная чаша. Надо ли заводить для нового самолета особые парашюты и особые сиденья? Все согласны: это глупость, но требуют бумаг с подписями, разрешения быть умными.

Испокон веку контакты в штепселях у нас маркировались цифрами, а у американцев - буквами. Вначале от страха повторили их маркировку. Но наши монтажницы латинскому алфавиту не обучены, путали, а в результате из строя выходили ценные агрегаты. Что делать? И вот ведь беда - алфавиты-то не сходятся. Казалось бы, внедрить цифры - ан нет, боязно. И ввели русский алфавит. Тут пошла совсем несуразная путаница. Сгорело еще несколько агрегатов, и только тогда ввели цифры. В результате на заводах, связанных с производством Ту-4, одно время существовало три вида маркировки, и пришлось разработать специальные переводные таблицы.

Никто не хочет на Колыму, все знают, что обязательно найдется дрянь, которая донесет: "Нарушают указание самого товарища Сталина..."

Или еще случай. Сняли с В-29 один из листов обшивки и определили толщину - 1/16 дюйма, что при пересчете дает 1,5875 мм. Ни один завод не брался катать листы с такой точностью. Здесь есть о чем подумать инженеру-психологу: почему 1,5875 миллиметра катать нельзя, а то же самое, но названное 1/16 дюйма - можно? Сколько мы ни взывали к разуму металлургов, победа осталась за ними, толщины пришлось округлять. Но если мы округ-

ляем в плюс, до стандартных 1,75 мм, самолет становится тяжелее, падали его скорость, высота и дальность. При округлении в другую сторону, до 1,5 мм, начинали справедливо скандалить прочнисты: конструкция недопустимо ослаблялась.

А вот уж, кажется, совершеннейшие пустяки, "глупости", но и они тормозили дело. К самолету была приложена куча описаний и инструкций, их следовало перевести. Своих знатоков английского у нас не хватало, пригласили переводчиков со стороны. Но те, хорошо владея языком, оказались не знакомы с авиационной и вообще технической терминологией. Вечерами садимся за редактуру и делаем открытие. Оказалось, что американцы, авторы инструкций, ставили целью донести свои знания до читателей лаконично и наглядно, наши же канцелярские обычаи легли здесь бревнами поперек дороги. Читаем, например, в их инструкции: "запустить пут-пут". Что такое "пут-пут"? Перерываем словари, энциклопедии, но ответа нет. И только в Казани, когда стали готовить к полету первую машину, всё выяснилось. Запустили аварийный движок, а он и затарахтел: пут, пут, пут, пут... Так вот что было в инструкции - простое подражание звуку выхлопа движка. Нет, такого мы позволить себе не могли, и короткое "пут-пут" превратилось в: "Для этой цели следует запустить вышеупомянутый агрегат, состоящий из двухцилиндрового двухтактного бензинового движка воздушного охлаждения, приводящего в движение 4-полюсный генератор постоянного тока с компаундным возбуждением, служащий для питания электросети самолета при неработающих двигателях".

За без малого три года довольно тесного общения со множеством министерств и ведомств мы увидели, что подавляющее большинство их работников относилось к категории исполнителей. Скованные решением о копировании, они предпочитали не особенно задумываться над всякого рода проблемами, возникавшими в ходе работы, порой весьма важными для успеха дела. Их резко огра-

ничивал упомянутый тезис: "Начальству виднее". Вторая группа, менее многочисленная, всё прекрасно понимала, однако служебное рвение у них, замешанное главным образом на страхе, превозмогало рассудок. Даже сталкиваясь с абсолютно нелепыми ситуациями, вроде истории с системой опознавания, но, углядев отступление от предписанного копирования, они немедленно сигнализировали в верха. И начиналось! Ревизоры, контролеры, комиссии, заседания...

Но, по счастью, была еще одна, самая, к сожалению, малочисленная группа людей, глубоко убежденных, что даже сталинский приказ надо выполнять с умом. О некоторых из этих смелых и умных людей забыть нельзя.

Так, на В-29 стояли уже устаревшие командные рации, работавшие на коротких волнах. А на переданных нам по ленд-лизу В-25 - новые, ультракоротковолновые, с автоматической настройкой. Одну такую станцию нам удалось достать у военных. Я рассказал об этом замминистра радиопрома Зубовичу и предложил скопировать не устаревшую, а новую. Всё равно, говорю, скоро ими займемся, ибо весь мир переходит на командную связь на ультракоротких волнах.

Зубович призадумался.

- Своих, - отвечает, - близких сотрудников я знаю. Но ведь обязательно найдется сукин сын из дальних, напишет в большой дом, и все мы сядем, будьте спокойны... Нет, нам тут необходимо заручиться поддержкой большого и честного военного, способного, если вызовут, разъяснить даже Сталину...

И решили мы посвятить в это дело С. А. Данилина, начальника НИИ спецслужб, где определялась техническая политика в области оборудования самолетов. В том, что Данилин нас поддержит и при необходимости постарается убедить Сталина, мы не сомневались. Кроме того, упечь такого человека трудно: герой перелета на АНТ-25 из Москвы в Америку, пользуется огромной популярностью... (Сам удивляюсь, какими мы в то время, несмотря на пе-

режитое, оставались простаками, - но пишу, как было.) Сергей Александрович согласился с нами, и "конспиративная операция" замены радиостанции состоялась без дурных последствий.

Нашлись столь же смелые люди и среди специалистов по двигателям, и по вооружению, но этой техникой занимались у нас Минкнер и Надашкевич, о ней я подробности не знаю. Могу лишь рассказать об эпизоде, убедительно и наглядно показавшем мне, какое мужество требовалось от видных деятелей, согласившихся нас поддержать.

Вместе с начальником одного из НИИ М. С. Гоциридзе мы ехали по большой Дорогомиловской улице. На подъезде к старому, узкому Бородинскому мосту сзади раздался характерный сдвоенный сигнал правительственной машины, и нас обогнал ЗИС-110 с охраной.

В этот момент у грузовика с бревнами, поднимавшегося с набережной на мост, заглох надрывно завывавший мотор, и он остановился, закрыв нам дорогу. Шедший навстречу трамвай тоже стал, мост был закупорен, и вплотную с нашей машиной оказался ЗИС-110 вождя. На откидном сиденье, за спиной, как мне прошептал Гоциридзе, генерала Власика сидел Сталин, в сером плаще и военной фуражке. Нас разделяли только стекла автомобилей. Я увидел очень уставшего, старого человека, со следами оспы на щеках, с прокуренными, зеленоватого оттенка усами, с пронзительными, недобрыми глазами.

Несколько растерянно мы приветствовали руководителя страны, приложив руки к шапкам, слегка поклонились. Остановившийся на нас взгляд показался мне встревоженным: вероятно, Сталину не приходилось так близко видеть незнакомые лица. Однако он тоже кивнул нам и медленно поднял руку к козырьку. Тут путь освободился, ЗИС ринулся вперед, видение пропало.

Это произошло весной 1947 года. Сильнее всего меня поразило тогда изможденное лицо Сталина, отнюдь не

похожее на холеное, моложавое, смотревшее на нас с тысяч портретов...

Когда мы разминулись, я вспомнил вспыхнувший недоверием взгляд Сталина и подумал: как же должны были чувствовать себя под этим взглядом Зубович, Данилин, "парашютный генерал"? Ведь ничто - никакие заслуги, никакие законы - не страховало их от последствий такого рода пароксизмов недоверия.

Началась сборка самолетов, мы перебрались в Казань. Огромный завод жил одним - выпустить машины в срок. Из Москвы приехали летчики: Н. С. Рыбко, М. Л. Галлай и А. Г. Васильченко. Наступил день первого вылета. Как ни старались секретчики, как ни распускали ложные слухи о дате, утаить ее не смогли. В тот день цеха опустели; зато все крыши завода, идущие к нему дороги, лужайки по краям аэродрома были забиты толпами людей. И когда Николай Степанович Рыбко поднял первый Ту-4 в воздух, тысячи людей до хрипоты кричали "ура". Все понимали, какой огромный труд завершен.

Сделав несколько полетов, Н. С. Рыбко перегнал самолет в Москву, на всесторонние испытания. Вскоре туда же на номере два отправился М. Л. Галлай. Туполев разрешил мне лететь с ним: старик любил, когда кто-нибудь из его близкого окружения участвовал в таких полетах, желал услышать мнение о машине не только от летчиков, но и от своих сотрудников.

Должен признаться, лавров в мою биографию полет не вплел. Взлетели мы нормально, но вскоре в кабине стало жарковато. Экипаж обратился к заместителю главного конструктора, то есть ко мне, с просьбой унять кондиционер, нагнетавший в кабину горячий воздух. Увы, с этой задачей я справиться не смог, и, подлетая к Москве, весь наш экипаж, все пассажиры стали походить на посетителей сочинских пляжей. Торжественная встреча не состоялась, нам нужно было одеться.

Началась долгая проза лётных испытаний. День за днем, в хорошую, а больше в дурную погоду утюжили

небо два десятка Ту-4. Летали днем и ночью, на север, восток и в Среднюю Азию, на самых больших и на малых высотах, имитируя отказы двигателей, системы управления, радиосвязи, средств навигации - словом, отказы всего, что только могло отказать. Так летчики сражались за то, чтобы передать боевым частям действительно надежные боевые машины.

Наконец, перед комиссией был положен объемистый акт, вместивший в себе все перипетии испытаний, доселе невиданных по широте охвата. Но напрасно мы думали, что дальше всё завершится сбором подписей. Чем в более высокие инстанции переходило обсуждение акта, тем более серьезные возникали дебаты.

Так, один из профессоров вдруг поставил вопрос: а соответствует ли построенный самолет не американским, а нашим, советским нормам прочности, то есть не разрушится ли он в воздухе? Червь сомнения тут же впился и в некоторых других членов комиссии. Андрей Николаевич убеждал их: в юго-восточной Азии, где два года воевали американские В-29, атмосферные процессы гораздо тяжелее европейских, однако самолеты не разрушались. А если какая-то разница между американскими и нашими нормами и есть, то при весьма обстоятельном пересмотре конструкции, при переводе ее с дюймов на метрику наши требования были учтены. Но всё напрасно. Обязательно находился "сомневающийся".

Наконец, исчерпав все полемические возможности, Андрей Николаевич на одном из заседаний поднял трубку кремлевского телефона и набрал номер. Все умолкли: что еще позволит себе этот военарадец? А тот своим высоким голосом говорит:

- Это Туполев докладывает, товарищ Сталин, Вот здесь некоторые считают, что прочность Ту-4 недостаточна...

Выслушав ответ, положил трубку и сообщил:

- Товарищ Сталин не разделяет ваше мнение и рекомендует оформление акта не задерживать.

Разумеется, акт подписали достаточно быстро.

П. В. Дементьев, как заместитель министра авиационной промышленности, был членом комиссии по испытаниям. Спустя много лет, сидя у нас на лётной базе, Пётр Васильевич рассказал, как утверждался акт испытаний Ту-4. И заодно - как родилось название Ту-4. Не особенно прельщенный копированием чужой машины, Туполев распорядился писать в ее чертежах "Б-4". Это понималось как "четырёхмоторный бомбардировщик".

Вот рассказ П. В. Дементьева:

"...Как-то вечером нас с министром Хруничевым вызвали с актом к Сталину, на ближнюю дачу. Встретил начальник охраны Власик, провел на террасу и попросил обождать, а машину отпустить. Прошло около получаса, вдруг дверь бесшумно отворилась, и, кивнув нам, вошел Сталин. Сел за стол, ни слова не говоря, углубился в толстенный акт. Затем, попыхивая в усы трубочным дымом, молвил: "Ровно на год опоздали!" - и, взяв акт, удалился.

Мы прождали довольно долго, как вы понимаете, в тревоге. Наконец, вышел Власик:

- Акт товарищ Сталин подписал, можете возвращаться в Москву.

У подъезда стоял ЗИС-110, но не наш. А рядом с шофером - вооруженный военный с опечатанным сургучом пакетом.

Тронулись, проехали Арбат, свернули к Охотному ряду, стали подниматься на Лубянскую площадь. Мы с Хруничевым сидели, не произнося ни слова. Прием у Сталина был настолько сухим, что мы лишь догадаться пытались, кто этот военный - какой-нибудь адъютант или уже конвоир? Машина обогнула площадь, повернула на Большую Лубянку, но ведь и там хватает зданий НКВД!.. Только миновав Сретенку, после поворота в Даев переулок, в сторону министерства, мы вздохнули свободнее.

У подъезда военный молча отдал Михаилу Васильевичу пакет. Было три часа ночи. Мы поднялись на "мини-

стерский" этаж, закрылись в кабинете. Уставшие от сурового свидания, от тревожной неизвестности - что он там написал, в акте? - мы оба обессиленно повалились в кресла. Переведя дух, вскрыли пакет и прочли: "Утверждаю". Председатель Совета Министров и Министр обороны СССР. И синим карандашом - дата, подпись "И. Сталин" и исправление: Б-4 на Ту-4.

Хруничев встал, отер лоб, достал из сейфа водку и разлил ее по стаканам:

- Нет, Пётр Васильевич, так нам долго не протянуть!

Мы выпили залпом, не закусывая, - нечем, оказалось, - но нервы были до того напряжены, что не "взяла" нас водка, не подействовала..."

Да, нелегко жилось нашим министрам при Сталине!

С Ту-4 связана еще одна страница нашей истории. Как теперь всем известно, первую нашу атомную бомбу взорвали в 1949 году, сбросив с этой машины. На полигон от нашего ОКБ поехали А. А. Архангельский и А. В. Надашкевич. Связь с ними шла по высокочастотному телефону. В намеченный для сброса день меня вызывают к телефону. Оттуда! Слышу взволнованный голос Архангельского: в электросети машины непорядок, сгорел плавкий предохранитель, сброс отложен. Прибывший на полигон Л. П. Берия крайне разгневан. Срочно сообщите, кричит Архангельский, что могло случиться и как поправить дело...

Не успел я подняться к себе, звонит Н. И. Базенков, он замещал Генерального: "Зайди, и побыстрее!"

Бегу. У Базенкова трое штатских, но глаз на гебистов у нас наметан. Один из них, приоткрыв лежавшую перед ним папку и, заглянув в нее, спрашивает: "Почему на самолете Ту-4 сгорел плавкий предохранитель на 20 ампер?" Подчеркнуто спокойно отвечаю: "Самолетов Ту-4 выпущено несколько сот, разных модификаций. Предохранителей на них тысячи. Скажите номер самолета и где он находится; мы найдем схему и постараемся ответить". Не дрогнув ни единым мускулом лица, этот тип слово в слово повторяет свой вопрос. Мне совершенно необходимо

подняться к себе, увидеть схему, понять, в чем дело, поэтому я, изображая возмущение, обращаюсь к Базенкову: "Если от меня что-то скрывают, делать мне здесь нечего. Пока я не узнаю номер машины, ответить на вопрос не могу", - и направляюсь к двери. Один из троих молча поднимается и следует за мной. Я в лифт - гебист туда же. Приходим ко мне в кабинет, а там уже приготовлена схема и мои электрики собрались. Рассматриваем схему, переговариваемся. "Попка" у дверей. У него своя задача: чтобы я не ушел.

Разобравшись, идем вниз, мимо кабины ВЧ, а оттуда меня зовут: "Вас опять полигон!" На этот раз звонит инженер-подполковник С. М. Куликов, он от генерала Финогенова, руководившего испытаниями от ВВС. Серафим Михайлович сообщает: "Разобрались, предохранитель обогрева бомбы на 50 ампер включили не прямо в магистральную сеть, а последовательно с установленным в сети самолета предохранителем на 20 ампер. Когда включили обогрев, двадцатиамперный и сгорел. Если вы согласны, шлите ВЧ-грамму, мы всё заменим, исправим, подключим куда следует. Но за подписями вашей и Базенкова".

Еще через два часа позвонили - всё в порядке. В эти часы я всё старался отделаться от "попки", чтобы позвонить домой, сказать, что могу задержаться на некоторое время. Дескать, не волнуйтесь. Но не удалось. "Попка" отклеился от меня только после того, как с полигона сообщили, что всё проверено, всё в порядке, эксперимент назначен на завтра. Когда гости ушли, мы с Николаем Ильичом вспомнили недалекие годы, шарагу в этих же стенах и подумали, по краю какой пропасти идет наша жизнь.

К нашему горю, вскоре после испытаний атомной бомбы мы потеряли А. В. Надашкевича. На полигоне для проверки эффективности нового оружия были построены разного типа дома, участки железных и шоссейных дорог, линий метро, расставлены автомашины, танки, самолеты, пушки, вагоны, паровозы и даже мелкие суда. Александр

Васильевичу, нашему вооруженцу, не терпелось лично оценить действие атомного оружия, и при первой же возможности он отправился к месту взрыва на "виллисе", хотя и защищенном специальными экранами. Неизвестно, пробыл ли он там дольше положенного или, выйдя из машины, забрался куда не следовало, но через год он заболел лейкемией и еще через два скончался.

В 1948 году чествовали А. Н. Туполева в день 60-летия. Юбилею вручали подарки. Вручил свой и главный конструктор авиадвигателей А. А. Микулин - модель тяжелого реактивного самолета. Из сопел двигателей вырывались плексигласовые струи газов. Подарок со значением, дескать, возьмите мой двигатель, Андрей Николаевич, и у вас получится прекрасный самолет!

Дело в том, что работа над реактивным бомбардировщиком уже шла, им предлагалось заменить поршневые Ту-4. Но имевшиеся реактивные двигатели ВК-1 В. Я. Климова давали тягу всего около 3 000 килограммов, микулинские же АМ-3 - по 7 500 килограммов, неслыханно много в то время! И это, разумеется, существенно меняло всю компоновку.

Только вот беда: размеры АМ-3 были также невиданными. Вкомпоновать два двигателя в самолет никак не удавалось. Подвесить под крыло? Они достали бы до земли. Разместить по бортам фюзеляжа в хвосте, как впоследствии сделали французы на "Каравелле" и ильюшинцы на Ил-62, - тогда еще не хватало теоретических проработок для такого принципиального шага.

И вот наши компоновщики предложили вписать двигатели в самый корень крыла, прижав их вплотную к бокам фюзеляжа. Поначалу Туполев напрочь забраковал это предложение: как при такой компоновке обойти или пронзить мощные силовые балки крыла, лонжероны? Как сквозь них подвести к двигателям воздушные каналы?

Ничего лучшего, однако, никто не придумал, и Туполев сам взялся прорисовывать стык фюзеляжа и крыла, вписывать туда двигатели. Все бумаги, попадавшие в эти

дни к старику на стол, были испещрены эскизами. Даже какой-то архиважный секретный меморандум оказался изрисованным, к понятному негодованию соответствующих сотрудников, охранителей тайн. Постепенно решение всё же стало проклеиваться, конструкция - оживать. Весьма сложные расчеты подтвердились; причем настолько, что Туполев собрал нас и, впервые, кажется, изменив своей отчасти суеверной привычке не спешить с окончательными выводами (пока новая машина не облётана), резюмировал: "Баста! Сомнения в сторону - и за работу!"

Понятно, работа над Ту-16 не свелась к размещению двигателей и усовершенствованию конструкции машины. Для самолета этого, с его колоссальной, по тогдашним представлениям, скоростью, понадобились новые приборы, локаторы, прицелы, автопилот и многое еще. Коллеги из других оборонных отраслей промышленности, вспомнив эпопею Ту-4 и возникшие тогда горизонтальные связи, поделовому отнеслись к нашим требованиям, и заказы на комплектующие изделия и материалы удалось разместить сравнительно быстро.

К началу 1952 года машину собрали, отвезли на аэродром, и морозным солнечным днем она впервые ушла в небо. Готовили ее к полету особенно тщательно, реактивных самолетов таких размеров и веса, со стреловидными крыльями еще никто и нигде не испытывал. Правда, несколько раньше американцы выпустили "Боинг" В-47. Но он был тонн на 15 легче, а главное, подробной информации о ходе его испытаний мы не имели. Чувствовалось, что и летчик-испытатель Н. С. Рыбко, исключительно выдержанный, прошедший огонь и воду, на этот раз был необычайно насторожен.

Но первый вылет принес только радости. Самолет показал себя устойчивым, послушным, с покладистым характером. Это, замечу, вполне техническое понятие: характер самолета. Авиаторы вообще, а особенно летчики, склонны очеловечивать свои машины. Вслушиваясь в разговоры на аэродромах, в КБ, можно уловить: нервный

самолет, спокойный, вздорный, покладистый, упрямый, послушный, сволочь, ангел, дьявол и т. п.

...Вскоре пришло еще одно радостное известие: в полете на максимальную дальность, с нагрузкой, Ту-16 уверенно держал скорость 1000 километров в час, после чего Сталин распорядился запустить его сразу в крупную серию, не дожидаясь конца испытаний.

А затем - известие куда менее приятное. Вначале в виде вопроса, заданного Сталиным нашему министру М. В. Хруничеву: нельзя ли, поставив на Ту-16 еще два мотора и несколько увеличив его размеры, получить межконтинентальный бомбардировщик, способный долететь до Америки и обратно?

Нельзя, показали расчеты. И тогда вождь пожелал переговорить с Туполевым лично. Об этом свидании Андрей Николаевич рассказал нам так:

"Сталин был мрачен.

- Почему вы, товарищ Туполев, отказываетесь выполнить задание правительства, построить крайне нужный нам межконтинентальный реактивный бомбардировщик?

Я разъяснил, что, по нашим очень внимательным расчетам, с существующими двигателями этого сделать невозможно: слишком велик расход топлива.

Сталин подошел к столу, приоткрыл папку, достал оттуда лист бумаги, просмотрел его и сунул обратно:

- А вот другой конструктор берется создать такую машину. Почему же у него получается, товарищ Туполев, а у вас нет? Странно!

Немного повременив, видимо, оценивая мою реакцию, хотя я молчал, продолжил:

- Я думаю, что нам под силу создать этому конструктору не худшие, чем у вас, условия для деятельности. Так мы, вероятно, и поступим.

И отпустил меня кивком головы. Я понял, что он остался крайне недовольным..."

Выводы не задержались. Через пару дней поступило распоряжение перевести в новое бюро около двухсот на-

ших инженеров и конструкторов, а также передать туда часть нашего оборудования и станков. Новое бюро В. М. Мясищева разработало свою машину. Правда, не совсем ту, которую обещало. Это был очень хороший бомбардировщик, но с одним-единственным недостатком: нужной дальностью он не обладал.

Туполев побывал у Сталина в 1952 году, а через год Сталин умер. Новый генеральный секретарь, Н. С. Хрущев, распорядился передать несколько Ту-16 дружественному Китаю, а затем, после революции в Египте, также и туда. Наконец, как говорили, ряд кораблей и самолетов, в том числе Ту-16, был продан Индонезии в пору нашей дружбы с тамошним президентом Сукарно.

Американцы дали нашей машине кодовое название "Барсук". Зверь этот агрессивный, соседей не любит. Вот и Ту-16, с его очень сильным оборонительным вооружением, мог себе позволить кое-кого "не любить", особенно, если этот кое-кто - вражеские истребители. Бомбовая же нагрузка Ту-16 оказалась такой, что журнал "Эйроплейн" сообщил: в этом самолете А. Н. Туполев достиг вершины инженерного искусства.

Хорошо, что журнал не знал про то, как именно с этой машиной мы пережили одну крайне сложную ситуацию. Дело в том, что опытная машина оказалась сильно перетяжеленной, а это значит - ее дальность меньше заданной. В серии требовалось снизить, причем значительно, вес конструкции, а как это сделать, к тому же быстро? Туполев собрал начальников всех каркасных бригад. Сразу же начались препирательства: кто больше превысил лимит, почему и т. д. Немного послушав, Андрей Николаевич попросил начальников успокоиться.

- Князья, ей-Богу, прямо удельные князья! А ведь дело-то у нас общее... Ну-ка, хватит выяснять, кто виноватее, давайте предложения!

Наступившее тягостное молчание прервал Д. С. Марков:

- Полагаю, - сказал он, - чертежи в серию сдавать можно, но только критически пересмотрев их с позиций веса. Доработав чертежи...

Кто-то заикнулся, а как же со статиспытаниями? Получится, что испытали мы одну машину, а завод будет строить другую?

- Да, именно так, и всю ответственность за это я беру на себя. И вот почему: переделывать все чертежи не придется - с нашим опытом, уверенно заявляю, подавляющее большинство деталей останется без изменений, на многих они будут столь незначительными, что новых мы переделаем относительно немного. Их мы изготовим и испытаем самым срочным порядком. Мало этого, испытав, мы тут же изготовим у себя для серийного завода деталей на десять машин. Для полных же статиспытаний возьмем одну из первых машин с серийного завода и передадим ЦАГ 1 - пусть ее сломают вне очереди, об этом я договорюсь с тамошним начальством.

План Дмитрия Сергеевича удался, и самолеты Ту-16 стали поступать в войска без задержки, в заданные сроки.

Дальность Ту-16 мы всё же увеличили, но другим способом: самолет не переделали, а применили дозаправку топливом в полете. Операция как будто и не слишком сложна, но ведь проделывали ее два самолета весом по 70 тонн, мчащиеся с огромной скоростью в турбулентной атмосфере! Так что номер получался почище циркового, Совместная отработка его с летным институтом заняла около года. Но ничего, отработали, и дальние бомбардировщики Ту-16 стали очень дальними.

...Находившемуся в Белграде с визитом Н. С. Хрущеву срочно понадобились какие-то документы из Москвы. Если везти их на Ли-2 или Ил-12 - срочно не получается. Решили использовать Ту-16. Долетев до Белграда за два часа, самолет сел в аэропорту и зарулил на стоянку по указанию диспетчера. А тот, не знакомый с силой наших двигателей, поставил его в ряд с другими машинами. За

ним, на площади перед аэровокзалом, располагались киоски с газетами, сувенирами и т. п. Настал день вылета. Взглянуть на это зрелище собрался народ, в том числе военные атташе почти всех посольств. Запустили двигатели, легкий свист стартеров сменился басовитым рокотом Ам 3. Надо трогаться, командир отпустил тормоза, дал газ... Когда пыль улеглась, киосков на площади не обнаружилось, они лежали на газоне вдали. Сдуло их реактивными струями.

И второй раз Ту-16 оказался вовлеченным в политику, теперь внутреннюю. Как-то приезжаю в Жуковский на лётную базу. Вижу, произошло нечто из ряда вон выходящее. Двойная тщательная проверка пропусков, на территории - несколько правительственных "ЗИСов". Много офицеров КГБ и незнакомых штатских. На стоянке - не меньше десятка военных Ту-16.

Как раз в это время туда заруливал очередной Ту-16, и лишь замолкли его двигатели, как к нему подъехал "ЗИС" и подошла группа встречающих. Открылись люки, экипаж спустился на бетонку, а из люка верхнего стрелка почему-то никто не вылезает. Наконец, появились обутые в ботинки с галошами ноги, помятые брючины, туго набитый портфель, а затем и вся фигура. Подошедшие освободили его от парашютных лямок, и перед нами предстал растерянный от пережитого в полете штатский пожилой человек. Его усадили, буквально внеся в машину, рядом с шофером сел вооруженный офицер, и сквозь предупредительно открытые ворота она понеслась в сторону Москвы.

Что всё это значит?

- Сам не знаю, - ответил начальник нашей базы М. Н. Корнеев. - Прихожу на работу, дежурный передает: звонили по "ВЧ", распоряжение министра - принимать военные шестнадцатые, прилетевших без задержки отправлять в Москву...

В ОКБ тоже никто ничего не знает, но настроение у всех тревожное. И только к вечеру не без помощи Би-би-си выяснилось: на президиуме ЦК Маленков, Молотов,

Каганович, Сабуров и примкнувший к ним Шепилов выразили Хрущеву недоверие, потребовали его отставки со всех постов. Нерастерявшийся Никита Сергеевич заявил, что избран пленумом ЦК и подчинится только пленуму. А пленум ЦК - это секретари центральных комитетов партии республик, райкомов и обкомов. Но страна наша так велика, а пассажирские самолеты так тихоходны (Ту-104 еще не существовал), что, пока они соберутся в Москве, может произойти много неожиданного.

И Хрущев нашел выход: распорядился доставить всех участников пленума с восточносибирских и среднеазиатских окраин на реактивных бомбардировщиках Ту-16. Вопрос был в одном: где сажать машины? Во Внукове, Домодедове и Шереметьеве нельзя, слишком много там публики, операцию обнаружат. Кроме того, Ту-16 еще не рассекречен, его оберегают от посторонних взглядов. Стало быть, сажать их на туполевской лётной базе, расположенной, как и базы других ОКБ, на аэродроме лётно-исследовательского института. Все члены ЦК были вовремя доставлены в Москву, и на состоявшемся пленуме подавляющее большинство поддержало не оппозицию, а Н. С. Хрущева.

Со временем Ту-16 претерпел множество модификаций, поддерживавших машину на уровне самых высоких требований. Появились разведчики, носители ракетного оружия, торпедоносцы и ряд машин иного назначения.

Когда Ту-16 налетали в ВВС сотни и тысячи часов, Туполев принялся прорабатывать его пассажирский вариант - Ту-104.

С рождением этого самолета нашему ОКБ пришлось заняться решением множества новых, интересных, но трудных задач и вопросов. И первой из них было преодоление инертности и косности чиновников аппарата всех ступеней. Столкнувшись с рядом действительно принципиальных преобразований, необходимых для успешного перевода пассажирского авиадвижения на реактивную тягу, мы подивились числу и разнообразию аргументов

против него. Они традиционно начинались с того, что нигде и никто этим в мире не занимается. Далее следовало - пассажиры откажутся летать. Слишком быстро, слишком высоко, к тому же какая-то солнечная радиация. К тому же, надо строить бетонные полосы, новые аэровокзалы, ремонтные базы, ангары, переходить с бензина на керосин, переучивать экипажи - какие огромные затраты. А экономика? Надо еще доказать, на разорится ли наш Аэрофлот.

Решающие аргументы наш шеф выдвинул на одном из высоких совещаний:

- Военная авиация всех передовых стран, в том числе и нашей, давно летает на реактивных самолетах, и ничего с экипажами не происходит.

Большие четырехмоторные лайнеры с обычными двигателями тоже потребовали для полетов бетонные полосы. Их построили даже в таких маленьких странах, как Дания, Бельгия и Голландия.. Неужели такой стране, как наша, это не по силам? В эпоху, когда воздушный транспорт стремительно растет, нам на тихоходных Ли-2 или Ил-12 не удержаться.

Что же касается экономики - сядем за парты и займемся ее изучением. Скорость у Ту-104 в пять раз выше. Наш самолет в один день слетает в Сочи и обратно. Значит, один Ту-104 заменит минимум двадцать Ил-12. Вот и посчитайте зарплату 19 лишних экипажей, обслуживающего персонала, тягачей, трапов, стоянок, топлива и т. д.

После всесторонних испытаний опытный Ту-104 15 сентября 1956 года отправился в первый рейс с пассажирами в Иркутск. На борту разместились члены семей и родственники работников ОКБ и министерства. Летел с нами и заместитель начальника ГВФ Е. М. Белецкий.

Полет прошел великолепно, и все участники стали агитаторами за такие лайнеры. Правда, небольшой комический эпизод всё же имел место. На обратном пути, уже миновав Омск, приняли радиogramму - "Полет в Москву воспрещен - возвращайтесь в Омск". Белецкому удалось

выяснить причину. Оказывается, в это время Хрущев возвращался на Ил-12 из Варшавы в Москву. Боясь столкновения (мы двигаемся на высоте 10 километров с Востока, а он на высоте 2000 метров с Запада!), чекисты решили перестраховаться. Посоветовавшись с Е. М. Белецким, мы всё же решили лететь дальше, справедливо полагая, что никто ничего не обнаружит. Опыт показал, что мы были правы.

Пришло время, и Ту-104 совершил свой первый рейс за рубеж. Летчик А. Стариков повез в Лондон генерала ГБ Серова со свитой для обговаривания предстоящей встречи Н. С. Хрущева с премьер-министром Великобритании. Английская пресса писала о самолете: "Россия удивила западный мир, показав Ту-104 более совершенный, чем все самолеты, которые мы видели ("Дейли Миррор"). Главный маршал авиации Жубер де ла Фор в интервью телевидению сказал: "Русские далеко опередили нас в строительстве таких самолетов, а реактивных двигателей подобного размера мы не имеем".

Триумфальное шествие Ту-104 по всему миру продолжалось. Именно эта машина открыла новую авиационную эру, и мы были горды этим. Как ни странно, но Ту-104 внес свою лепту и в космонавтику. Встретившись с Ту-полевым, С. П. Королев пожаловался ему:

- Нам очень нужны тренажеры для обучения будущих космонавтов поведению в невесомости. Но к кому я ни обращался, все отказывают. Говорят, на земле такого не придумаешь.

- Постой, постой, может быть, я тебе кое-что предложу. Если мы возьмем Ту-104, загоним его на высоту 10 000 метров, а потом начнем, снижаясь, лететь по синусоиде, в каждой ее верхней половине самолет будет испытывать отрицательную перегрузку.

- А сколько она будет продолжаться?

- Да около минуты.

- Мало, Андрей Николаевич, надо побольше.

- Так сделай таких синусоид двадцать, вот тебе и двадцать минут.

Из кабины вытащили все кресла, обшили ее изнутри мягким поролоном, и задача была решена.

...Нелепая с инженерной точки зрения идея Сталина превратить двухдвигательный Ту-16 в четырехдвигательный межконтинентальный реактивный бомбардировщик всё же задела Туполева. Но реактивных двигателей, достаточно экономичных для таких полетов, в ближайшем будущем не предвиделось.

Что же оставалось - ждать?

Нет, международная обстановка этого не позволяла. И Туполеву предложили построить тяжелый бомбардировщик с турбовинтовыми двигателями, менее скоростной, чем хотелось, зато дальний. Но для него требовалось четыре двигателя по 12 тысяч л. с., а в наличии имелись всего по 6 тыс. л. с., НК-6 Н. Д. Кузнецова. Кроме того, винт для 12-тысячесильного мотора оказался, по расчетам, непомерно большого диаметра. За создание нового двигателя взялось ОКБ Н. Д. Кузнецова, за проблему винта - ОКБ В. И. Жданова. Но те и другие просили на это 2-3 года. А ждать было нельзя.

Выход конструкторы нашли совместно с учеными из ЦАГИ и ЦИАМа (Центральный институт авиационного моторостроения) - разместить в каждой из четырех мотогондол по два двигателя НК-6, и каждая пара пусть вращает через общий редуктор не один большой винт, а два соосных диаметром поменьше, в разные стороны. Решение незаурядное. Сталин подписал постановление о новом бомбардировщике. И только, как нам стало известно, заметил, подписывая:

- Наконец-то Туполев одумался, взялся за нужное дело!

Всё шло как надо, только один вопрос не решался, хотя огромный самолет уже собрали. Колея шасси 12 метров: как мы отбуксируем его на аэродром, если дорога от развилки Куйбышевского шоссе до Жуковского уже? Ее давно должны были расширить. Туполеву обещало это

множество всяческих руководителей, вплоть до самого В. В. Гришина, в то время большого московского начальника. Но всё без толку. И тогда Туполев в очередной раз прибег к "горизонтальным связям" - позвонил маршалу Г. К. Жукову.

- Георгий Константинович, мы тут соорудили для вас некое оружие, а стрельнуть не можем.

- Это почему же?

- Да чтобы отвезти его на полигон, дорога узка.

- Андрей Николаевич, я ведь не дорожник...

- Так-то оно так, но у вас есть саперы, а я съездил, посмотрел и думаю: они за 2-3 месяца справятся. Может, посодействуете?

Через неделю-две работа закипела. Вдоль дороги выросли палаточные городки с походными кухнями. Солдаты взялись за дело. Наш главный часто навещал их, перезнакомился с командирами, со многими рядовыми, и те прозвали новую дорогу "туполевштрассе". Название прилипло, его и сейчас можно услышать от местных жителей-стариков: "Вон там, за туполевштрассе..."

К сроку дорога была готова, и "девяносто пятую" машину благополучно перевезли на опытный аэродром.

Начались летные испытания. Они тоже шли нормально, экипаж совершил не один десяток полетов. Нареканий на работу спаренных двигателей не поступало, оба летчика-испытателя, А. Д. Перелет и В. П. Морунов, да и весь экипаж были довольны поведением самолета в самых разных обстоятельствах - днем и ночью, на высоте и у земли, в обычных и сложных метеорологических условиях...

11 мая 1953 года девяносто пятая ушла в очередной полет. Был он рядовым, ничем не примечательным, на лётной базе за ним наблюдали только те, кому положено. Неожиданно подняли тревогу радисты, их поразил подчеркнуто спокойный голос Алексея Дмитриевича Перелета: "Нахожусь в районе Ногинска, пожар третьего двигателя, освободите полосу, буду заходить на посадку прямо с маршрута".

Еще через несколько минут: "Пожар разрастается, горят мотогондола и крыло, дал команду экипажу покинуть самолет".

И тишина... Напрасно искали наши радисты голос Ту-95, громкоговоритель только шипел и потрескивал.

Гадать бессмысленно, быстрее по машинам - и в сторону Ногинска. Приезжаем. Справа, над болотистым мелким леском столб дыма, вершину его относит в сторону слабенький ветерок. Дальше - только пешком.

Страшная картина открылась перед нами. В огромном кратере догорали остатки того, что еще несколько часов назад было нашей гордостью. Нещадно чадили шины огромных колес шасси. Неподалеку второй кратер, поменьше, развороченный отдельно упавшим двигателем, медленно заполняется струйками воды из болотистой почвы. И ни следа экипажа, одиннадцати наших друзей.

Рассыпавшись цепью, прочесываем болотистый лесок. С нами Андрей Николаевич с посеревшим лицом. Его шинель и брюки в глине, фуражка потеряна, зацепилась, видно, за ветку. Седые волосы на висках растрепались.

Н. И. Базенков зовет: "Сюда, сюда!"

На поломанных кустах лежит разбившийся, завернутый в белую парашютную ткань штурман С. С. Кириченко. Когда он выбросился, купол парашюта, неудачно раскрывшись, обвился вокруг него, спеленал, так он и падал, камнем до самой земли.

Постепенно картина проясняется. Помогают жители соседней деревеньки. "Самолет летел со стороны Ногинска, вон оттуда, с северо-востока. Вон там от него что-то оторвалось большее и упало на землю. В небе, глядим, парашюты (возникает спор, сколько их было: то ли шесть, то ли семь). Потом самолет накренился на крыло, пошел книзу, ударился об землю, и что-то в нем взорвалось. А ребята ваши все в деревне..."

Все ли?

Послали людей в деревню, пусть узнают.

Вернулись, привезли двоих - второго летчика, В. П.

Морунова, и ведущего испытания инженера Н. В. Лашкевича. На него страшно смотреть: лямки парашюта скользнули по лицу, оставив кровавые следы.

В деревне остались трое: инженер А. М. Тер-Акопян, помощник бортинженера Л. И. Базенов и бортэлектрик И. В. Комиссаров. Потом нашли еще двоих, инженера К. И. Ваймана и радиста И. Ф. Майорова. Базенков отправил их на прилетевшем к месту происшествия У-2 в Жуковский, в госпиталь.

Недосчитываемся троих - командира А. Д. Перелета, бортинженера А. Ф. Чернова и техника-виброметриста А. М. Большакова. Лашкевич вспоминает, как Большаков безучастно сидел над открытым люком, не делая никакой попытки прыгать, а командир А. Д. Перелет и его верный друг, не покинувший его в эту трудную минуту, бортинженер А. Ф. Чернов пытались вывести тяжелую машину из крена. Бог его знает, если бы второй пилот В. Морунов не поспешил выпрыгнуть и был с ними, может быть, совместных усилий хватило бы выправить крен? Видимо, до последней минуты пытались.

Невдалеке солдаты Монинского аэродрома раскапывают оторвавшийся двигатель. Наш главный моторист К. В. Минкнер уговаривает их:

- Пожалуйста, как можно внимательнее. Любой осколок, исковерканная деталь помогут нам объяснить причину катастрофы...

Из Москвы съезжаются сотрудники НКВД и специалисты из нашего министерства, из института авиастроения. Среди последних пожилой, худощавый грузин. Один из солдат показывает ему найденный в земле осколок какой-то детали, похожей на шестерню. Оглядев его со всех сторон, грузин молча кладет его в карман. Мне это решительно не нравится. Найдя К. В. Минкнера, киваю на подозрительного грузина. И вдруг Курт Владимирович, совсем вроде бы неуместно смеясь, обращается к грузину: "Роберт Семенович, вот Кербер заподозрил, вы что-то утаиваете..."

Оказывается, грузин этот - крупнейший авторитет в металлургии профессор Киносашвили. Рассмотрев осколок шестерни редуктора, передававшей усилия двигателей на винты, он засомневался: из должного ли металла она изготовлена? Поверхность излома говорила об усталостном разрушении шестерни, в то время как наработка редуктора была очень незначительной.

Забегая вперед, отмечу, что Киносашвили засомневался правильно. На заводе, где делали редукторы, впоследствии обнаружилось, что дело обстояло именно так: металл был не тот. А далее логическая цепочка догадок, подкреплённых анализами, позволила представить, как развивались события. Когда шестерня разрушилась, ее осколки пробили картер редуктора. Заполнявшее его масло выплеснулось на горячие части обоих двигателей и воспламенилось. Влекомое встречным потоком воздуха, пламя устремилось под крыло самолета, обтекая нижний подкос мотора между двумя двигателями. Подкос начал деформироваться, затем, потеряв устойчивость, разрушился, и двигатели с винтом оторвались.

На следующий день после обеда появился Н. В. Лашкевич с забинтованной головой. Приехал он от самого Берии, рассказал про свой разговор с лучшим другом вождя.

- Помогите нам разобраться, - предложил Лашкевичу лучший друг. - Странная компания собралась вокруг Туполева. Одни фамилии чего стоят - Егер, Стоман, Минкнер, Кербер, Вальтер, Саукке... Немецко-еврейское гнездо. И заметьте, ни одного коммуниста - может, в этом и разгадка катастрофы? Может, это они орудуют? Вот вы, старый член партии, приглядитесь-ка к ним попристальнее. Не возражаю, если вы привлечете себе в помощь еще нескольких убежденных коммунистов, мы вам посодействуем. И обо всем пишите нам. Будет нужно, я вас приглашу еще раз...

Спасибо Николаю Васильевичу, не оправдал он надежд Берии.

Значит, мы опять под подозрением. Противно, оскорбительно и страшно. Того и гляди, снова начнется: "Почему произошло то-то? Почему возникло вот это? Ответьте, не увиливайте от существа..."

Только через два месяца, в июле, предполагавшаяся причина катастрофы была, наконец, "утверждена", и ОКБ смогло с полной силой вернуться к работе.

Надо было строить дублер девяносто пятой. Двигатели НК-12 для него, мощностью по 12 тысяч, изготовлены и отработаны в КБ Н. Д. Кузнецова. Запускаем в производство все старые чертежи, новыми делаем только мотогондолы.

И вот дублер на аэродроме. Кто поведет его в первый полет? На ком остановит свой выбор Туполев?

Он выбирает М. А. Нюхтикова - это тот, кто когда-то не побоялся, поднял в воздух построенный заключенными инженерами пикирующий бомбардировщик Ту-2, это ему "органы" твердили - кругом вредители, шпионы, контрреволюционеры, продавшиеся врагам.

После войны Туполев настойчиво добивался перевода Михаила Александровича к нам. И добился.

Испытания близились к завершению, когда Туполев задумался над пассажирским вариантом девяносто пятой. Назвали этот вариант Ту-114. Но почему-то на первых порах старик работал над ним только с Б. М. Кондорским, нашим художником, специалистом по интерьерам. Наконец, собрали и нас. Мы увидели план пассажирской кабины, разделенной на отсеки, на которых корявым туполевским почерком начертано: салон 1-го класса, спальные каюты, бар-ресторан, салон 2-го класса... Что за причуды? До них ли нам?

И макетный цех уже приступил к 114-й. Но и на макете мы некоторое время были заняты всем, кроме пассажирской кабины. В ней трудились столяры, декораторы, маляры - келейно. Наконец, Туполев осмотрел ее в последний раз (только с женой и Кондорским) и на следующее утро созвал в кабине нас, своих замов.

На столике бара-ресторана бутылка "двина", вазочка с конфетами, рюмки. В благодушно-хитром настроении босс разливает коньяк:

- Господа, я созвал вас, чтобы сообщить вам пренеприятное известие... Когда мы начали компоновать 114-ю, я подумал: неужели глава нашего правительства, направляясь за океан, будет целую неделю плыть на пароходе? И это когда другие президенты и премьеры перелетают через континенты на своих "дугласах", "боингах" и "ланкастерах" за считанные часы. Нет, нам для этого тоже нужен самолет, и не в обычной компоновке, а смешанный вариант, в котором и правительству летать не зазорно, и народу будет хорошо. Так выпьем за смешанный вариант!

Прошло сколько-то времени, и второй туполевский пассажирский реактивный самолет (первым был Ту-104) появился на воздушных линиях. Но, прежде чем это произошло, он нам пощекотал нервы. Лично мне "достался" такой случай. В одном из опытных полетов 114-й у нее не выпустилась правая нога шасси. А горючего у А. П. Якимова осталось часа на полтора. Туполев вызвал меня, распорядился: "Электромеханизм шасси твой, едем, успокоим их, и давай разбираться".

На командном пункте я взял микрофон и наивозможно спокойно говорю:

- Алексей Петрович, это я, Леонид Львович, Туполев рядом, разбираемся...

Но тут у меня отнимают микрофон, лётное начальство возмущено:

- Вы словно по телефону с другом беседуете, у нас так нельзя, у нас надо по инструкции: "Арбуз-один, арбуз-один, я абрикос-пять. Командиру объекта сто четырнадцать..."

Туполев им, с раздражением:

- Я думал, Якимова успокоить надо, растолковать, что причину невыпуска шасси мы нашли, скоро сообщим, и сядете нормально. А ваши правила дурацкие, их осел составил! Чего вы боитесь? Как бы ЦРУ не услышала, что

Якимов зовут Алексеем Петровичем, как бы мы тут из-за этого не пропали все? Ну, тогда запишите мои слова: "Разобьете машину - в ответе вы. Сумеем мы с Кербером, нарушив правила, помочь Якимову ее посадить - заслуга наша!"

А причину мы действительно уже нашли. Не буду вдаваться в детали, скажу только, что для ее устранения Якимову надо было хоть на несколько секунд отключить все источники электроэнергии, а это значило - на те же секунды лишиться связи, пережить полное молчание.

Ничего, пережили после наших успокоительных переговоров. И последовал буквально взрыв ликующих голосов в телефонах: "Пошла, пошла, пошла!"

Нога вышла из гондолы, и Якимов посадил машину.

Когда Ту-114 налетали достаточно много, начались полеты на дальность.

Первым был Хабаровск.

Росла уверенность в надежности самолета. Стало возможным открыть регулярное движение с далекими странами. И первой стала Куба.

Следующей открылась линия в Дели. Проявили интерес к Ту-114 японцы. Им приходилось летать в Европу круглым путем, с посадками в Калькутте и Тегеране. Это было долго и дорого.

Наше правительство согласилось на открытие линии Токио - Москва, через Сибирь.

Но прежде, чем начать совместные рейсы, японская кампания "Джал" пожелала более глубоко и детально изучить машину. Ту-114 вылетел в Токио. Было интересно и поучительно наблюдать, как японские специалисты внимательно, дотошно изучали и самолет, и документацию к нему. Убедившись, что машина полностью отвечает требованиям ФАИ, они линию открыли. И на фюзеляжах Ту-114 наряду с нашим флагом появилась эмблема "Джал" - белый журавль.

Глава нашего государства Н. С. Хрущев собирался в США на конференцию ООН. Туполев предложил ему лететь

на Ту-114. Предложение казалось дерзким. Аэрофлот еще не начал широко возить "простых" пассажиров, и вдруг - главу правительства, через океан!

Формально - дерзость, но Туполев никогда не рассуждал формально. Прототип Ту-114, военный самолет Т-95, уже несколько лет строился серийно, машины эти летали много и успешно над морями и континентами, до самых отдаленных пунктов земного шара.

А чем отличается Ту-114 от Т-95? Только фюзеляжем, в котором размещаются пассажиры.

Так-то оно так, но в этом еще следовало убедить высокое начальство. Сам Никита Сергеевич, вспоминал Туполев, мгновенно загорелся идеей лететь, да еще и взять с собою всю свою многочисленную семью.

Так или иначе, но для полета требовалось получить согласие Минавиапрома, Аэрофлота, КГБ и, разумеется, Политбюро ЦК КПСС.

Сколько и каких трудностей пришлось преодолеть? Немало! И заставить Андрея Николаевича у себя в то время было почти невозможно.

Ну, а пока он решал глобальные вопросы в сферах, мы занимались практическими, которых тоже оказалось предостаточно.

Прежде всего с "органами". Они и в обычное-то время не оставляли нас без внимания, а тут - ну просто ни шагу без их представителей.

В первую очередь они интересовались, конечно, безопасностью пассажиров. Три пятых пути машина летит над океаном. Какие средства спасения в случае аварийной посадки на воду, как пользоваться ими? Как прыгать из самолета в воду, как обращаться с надувными жилетами, как залезать на спасательные плоты?

По настоянию КГБ у нас в макетном цехе изготовили натурный отсек фюзеляжа Ту-114 с дверью. Его перевезли в бассейн фешенебельного правительственного поселка на Ленинских горах, прозванного в народе "Заветами Ильича".

- Макет отсека фюзеляжа, - рассказывал В. И. Богданов, ведущий инженер, которому АНТ поручил все эти заботы, - мы установили в бассейне. Я научил будущих наших пассажиров надевать жилеты, начал репетиции. Не помню, чтобы прыгали Хрущев и Нина Петровна, но их дети, прочая многочисленная родня и другие члены делегации обучались очень активно. В купальных костюмах, в спасательных жилетах они бросались из двери кабины в воду, подплывали к плотам, забирались на них. Правда, делалось это немного несерьезно, с веселыми визгами, в бассейне с подогретой водой, а всё же необходимые навыки наши будущие пассажиры приобрели.

Второй вопрос - навигационное обеспечение перелета. Для нас он был ясен. Многочисленные военные Т-95, комплекс оборудования которых был точно таким же, как и у Ту-114, летая днями и ночами над всеми океанами, всегда уверенно выходили в заданные точки и не менее уверенно возвращались на свои аэродромы. Но специалисты из КГБ предложили дополнительно расставить в океане, по всей трассе полета, через каждые 200 миль советские суда. Их радиостанции будут служить нашим штурманам радиомаяками, а случись аварийная посадка на воду - два ближайших судна поспешат к этому месту и подберут людей. Разумное предложение приняли.

Третий серьезный вопрос - оформление полетного листа. Надо сказать, такой лист заполняется на каждый полет любого самолета, в него записывают экипаж и задание, а подписывает его летное начальство. Но на этот раз "наверху" решили: лист подпишут министр и Туполев, а визируют все главные конструкторы, чьи изделия стоят на Ту-114.

Туполев пригласил человек 50-60 главных на нашу летную базу, ознакомил с "предполагаемым дальним полетом одного из наших руководителей" и поинтересовался, какую особую проверку аппаратуры следует предпринять по такому случаю. Помнится, первым выступил конструктор автопилота И. А. Михалев. Считаю, сказал он, автопи-

лот надо демонтировать с самолета, отвезти к нам и проверить на стендах. Большинство главных согласилось с Михалевым.

И тут нашего старика прорвало: "Так, значит, по-вашему, для надежности надо разобрать весь самолет? Значит, и мне прикажете снять двигатели, шасси и управление? А ведь в твоём, Иван Александрович, автопилоте одних штепселей, поди, штук сто наберется, всего же их по самолету, вероятно, тысячи две! Сейчас на работу вашего оборудования нареканий у экипажа нет. А развернем штепсели, потом через неделю завернем - станут ли они после этого надежнее? Вздор! Вот тогда-то ваши аппараты и начнут отказывать. Нет уж, увольте, не дам развернуть ни одного. Садитесь в самолет, летайте сколько надо, проверяйте свою технику в полете самым дотошным образом, убеждайтесь, что она исправна, - и баста, подписывайте полетный лист!"

Так и порешили.

В июне 1959 года машина вернулась с Парижского авиасалона. Ее закатили в ангар, сменили двигатели. Провели контрольный облет, затем два-три маршрутных и перегнали во Внуково. 26 июня, имея на борту члена Политбюро Ф. Р. Козлова, направлявшегося в Нью-Йорк открывать советскую выставку, а в его свите - создателей Ту-114 А. Н. Туполева, А. А. Архангельского и С. М. Егера, самолет улетел в Америку.

По сути дела, это была генеральная проверка Ту-114 перед визитом Хрущева. Всё прошло безупречно, инстанции убедились в надежности нашей техники, и решение Политбюро ЦК о полете Никиты Сергеевича состоялось.

В далекий путь готовились два Ту-114: основной, с командиром А. П. Якимовым, и запасной - с И. М. Сухомлиным. На основном вместе с Н. С. Хрущевым и его ближайшим сопровождением должны были лететь Н. И. Базенков, заместитель А. Н. Туполева по самолету, и я, заместитель по оборудованию. Посмеиваясь, но в какой-то мере верно друзья называли нас тогда заложниками.

Состав делегации, называвшейся правительственной, носил, я бы сказал, несколько семейный характер: жена Н. С. Хрущева Нина Петровна, ее сестра Анна Петровна с мужем М. А. Шолоховым, дочь Рада с мужем А. Аджубеем, дочь Юлия и ее муж Н. Тихонов, в то время председатель Днепропетровского совнархоза, сын Сергей с женой и ряд сопровождающих лиц. Вместе с экипажем, двумя иностранными лоцманами и с нами, "заложниками", на борту оказалось всего 70-75 человек, так что в салонах было свободно. Семья Хрущева заняла четыре спальных купе, приближенные - задний салон, в переднем разместились мы с Николаем Ильичом, иностранные лоцманы и свободные члены экипажа. Средний салон - ресторан.

Немного забегаю вперед, скажу еще, что всю дорогу обстановка на борту была, в общем, спокойно-домашняя. Хрущев оказался по-настоящему демократичным. Прогуливаясь по самолету, остановится поговорить, острит, смеется. Проста, мила, по-женственному тепла с окружающими и Нина Петровна. Все мы, особенно те, кому это было впервой, наблюдали за Никитой Сергеевичем с большим интересом и, мне кажется, с симпатией. А я и сейчас отношусь к нему с искренним уважением.

На рассвете, заблаговременно, приехали во Внуково. У здания аэропорта - два Ту-114, Якимова и Сухомлина. Около обоих самолетов стража. Тишина, только щебет просыпающихся птиц. И лётное поле, и самолеты покрыты густо выпавшей росой.

Идем к трапу, чтобы еще раз осмотреться в машине. С Базенковым все гладко: тщательно проверив его документы, стража откозыряла и пропустила внутрь. А меня в списке не оказалось, я остаюсь на земле. Чьи это шутки - остается только догадываться.

Около пяти утра начали съезжаться пассажиры и провожающие. Вот и Туполев. Рассказываю о случившемся. Выслушивает, явно раздражен, уходит в здание аэропорта. Через полчаса возвращается с зампредом КГБ (фамилия не запомнилась, нечто вроде Ивановского), и генерал мигом

всё улаживает, прямо у трапа. Всего-то и дел... Наш старик улыбается.

Когда мы вернулись из Америки, он рассказал: "А я ему прямо: что - моих специалистов отстраняете, обеспечивающих безопасность полета?"

Без четверти семь Хрущев, расцеловав всех членов Политбюро, поднялся по трапу, помахал шляпой и прошел в свою каюту. Дверь захлопнута, можно начинать запуск двигателей. Бортинженер Л. А. Забалуев включает двигатель № 2, но что это? Винты крутятся, а двигатель не заводится. Вторая попытка - результат тот же. Наши ощущения понятны.

В передний салон, к нам с Базенковым, входит Хрущев: "Что происходит, почему не запускаются двигатели?"

По чистому вдохновению отвечаю: "А это делают так называемую холодную прокрутку ротора двигателя, она необходима перед запуском", - отчетливо сознавая, что при неудаче "холодная прокрутка" может обернуться для нас и экипажа весьма горячей!

Напротив нас стоит резервный Ту-114, И. М. Сухомлина. Неужели на глазах всего дипломатического корпуса главе нашего государства придется пересаживаться туда? Позор!

Дверь в кабину экипажа открыта, нам видно, какое там напряжение. Но вот Забалуев включает двигатель № 3, и тот легко запускается, с первой попытки. А вслед за ним заработал и двигатель № 2.

В дальнейшем обнаружилось, что один-единственный штепсель, всего с одним проводом, по которому подавался сигнал на впрыск керосина в двигатель стартера при запуске, оказался плохо припаянным. При запуске двигателя № 2 этот провод из-за возникшей тряски отошел от контакта. А когда Забалуев запустил двигатель № 3 и машина затряслась с какой-то иной частотой, злосчастный провод вновь сконтактировал.

Итак, мы в воздухе, легли на курс. Мне поручено через каждые полчаса отмечать на карте северного полушария, простенькой карте из школьного атласа, и показывать

Хрущеву, где находится самолет. Порой Хрущев отпускает меня сразу, порой задает вопросы - как связь с Москвой, отстаем мы или идем по графику, как самочувствие экипажа?

Вернувшись на место, кладу карту на соседнее кресло. Прошли Ярмут, лететь осталось немного. Докладывая Хрущеву в последний раз, я осмелел и попросил его расписаться на карте. Он улыбнулся и посреди голубого океана написал: "Борт Ту-114. Прекрасный самолет, спасибо его создателям и строителям. Подлетаем к Вашингтону. 17 ч. 26 м. 15 сентября 1959 г. Н. Хрущев".

...Но всё это было еще впереди, а пока - прошли Великие Луки, Ригу, Стокгольм, Берген. Теперь под нами океан. В 10.18 миновали эсминец "Смелый", ожидавший нас в 200 милях от Бергена, в 10.58 - траулер "Добролюбов", в 11.18 - такой же "Заволжск", в 12.35 - эсминец "Стремительный". Сквозь иллюминатор в сильный бинокль видно, как океанская волна кладет суда с борта на борт. Потом пошли траулеры, названные фамилиями писателей: "Лев Толстой", "Белинский", "Новиков-Прибой". В 13.43 мы прошли над Гандером, откуда справа стал виден Американский континент.

Время подошло к обеду. В салоне-ресторане слышался звон вилок, ложек, бокалов, стук тарелок, из кухни потянуло приятными запахами. Проявляю инициативу, зову Николая Ильича обедать. Он сомневается: удобно ли?

- Помилуй Бог, там, я заглянул, рассаживаются стенографистки, секретарши, так неужели мы, конструкторы этого самолета, недостойны?

Поколебавшись, Николай Ильич соглашается.

За первым столом по правому борту расположились Нина и Анна Петровна с мужьями Хрущевым и Шолоховым. Несведущая обслуга посадила их неудачно: этот стол - в плоскости винтов, где вибрация выше нормальной, и наполненные тяжелые граненые стаканы так и норовят соскользнуть на пол. Кремлевская кухня на высоте. Мы с Базенковым решаем не пить: как-никак мы на работе. Но

делегаты отдали напиткам должное. На десерт кофе с мороженым, после чего, по древнерусскому обычаю, делегация отправляется подремать.

А мы получили щелчок, чтобы не забывали, кто такие. Минут через пятнадцать после трапезы к нам подошел некто в черном и шепнул: "Пожалуйста, воздержитесь от посещения ресторана, мы вас снабдим сухим пайком".

Но неловко было, что сухим пайком кормили и иностранных лощманов, стало быть, у них наверняка сложилось интересное представление о нашей демократии.

В 18.13 проходим траверз Бостона, в 18.45 - Нью-Йорка и в 19.22 заходим на посадку на аэродром Эндрюс-филд, в 30 километрах от Вашингтона.

Скрипнули тормоза, и самолет замер возле красной ковровой дорожки. Внизу, у трапа, видим президента Эйзенхауэра с тремя адъютантами.

Американскую деловитость делегаты постигли сразу же: подойдя к трибуне, сооруженной для встречи, обнаружили на бетоне нарисованные следы ступней, возле которых написано: "Н. Хрущева", "Р. Аджубей", "Н. Тихонов" и т. д. Без секретарей, без разводящих все молниеносно оказались на своих местах. Удобно и дешево...

Закончилась официальная часть, делегаты расселись по автомобилям. Пора в путь. И вдруг - адский грохот, вроде стрельбы из пулеметов: это 30 мотоциклистов сопровождения разом нажали на стартеры своих "харлеев". Заметались перепуганные охранники, но страхи быстро улеглись. Но вот, наконец, всё "о'кей", и кавалькада роскошных "кадиллаков" унесла Никиту Сергеевича и его свиту в Вашингтон. Теперь мы встретимся с ним только через две недели, а пока у нас свои заботы.

Майор Миллер, который нас опекает, ведет в кафетерий, обслуживающий весь персонал базы: военных и штатских, белых и черных. В очереди у прилавка - солдаты, рабочие, офицеры, генералы, секретарши, шоферы... Всё дается быстро и вежливо, еда вкусная, разнообразная и дешевая. Поражаешься, когда сержант-негр спокойно под-

ходит к столу, где сидят генералы, и, не спросив, берет сахарницу или бутылку с кетчупом. У нас так "не принято". Мы, конечно, понимаем, что всё это чисто внешняя демократия, но, честно говоря, и у нас была неплоха бы такая же внешняя...

...Наконец мы можем ехать в город. Можем, но не едем, так как кого-то не хватает. Послали за ними - исчезли и посланные. Постепенно в поисках друг друга все разошлись, и автобус опустел. А когда вновь собрались, выяснилось, что Тер-Акопян забыл где-то сумку.

Миллер нервничает, язвительно спрашивает: "А может, мне всегда вызывать автобус на час позднее?"

Грустно. Особенно на фоне американской деловитости и обязательности. За две недели пребывания мы ни разу вовремя с аэродрома не выбрались.

Поселили нас в отеле "Хилтон". Нам с Базенковым, с нашими высокими, по советским понятиям, зарплатами, двухместный номер не по карману. Просим поставить в номере раскладушку, к нам вселяется Л. А. Смирнов, и втроем мы плату как-то осиливаем.

Отправляясь в поездку по стране, Хрущев поручил Базенкову и мне, по просьбе президента, ознакомить генералитет США с самолетом Ту-114. Генералы не без оснований предполагают, что Ту-114 - родной брат межконтинентального бомбардировщика и носителя ракет Ту-95.

Так или иначе мы выполняем волю Хрущева. Генералы приезжают с семьями, и, что для нас непривычно, за рулем, как правило, жена, рядом генерал, а сзади полно ребятишек. Первым приезжает Натан Твайнинг, начальник объединенного штаба. Ему показываю машину я.

За начальником штаба появляется начальник ВВС США, тоже с женой и ребятишками, и всё повторяется. Вопросы - самые пустые. Мы уже начали думать - ну, слава Богу, пронесло, когда очередной генерал оказался настоящим специалистом, и как раз по навигации и спецоборудованию, то есть моим коллегой.

В последний перед отлетом вечер Никита Сергеевич

устраивает большой прием в нашем посольстве. Приглашены и мы с Базенковым. Ни фраков, ни визиток у нас, конечно, нет. В чем же идти? По счастью, сам Никита Сергеевич в обычном костюме, и это снимает сомнения.

Ровно в семь наш премьер занял свое место хозяина на верхней площадке парадной лестницы особняка, чтобы пожать руки всем приглашенным. Бог ты мой, на каких только звезд мы там с Николаем Ильичом не нагляделись! Министры, государственный секретарь, адмиралы и генералы, финансовые тузы, промышленники, послы и посланники, знаменитые актеры, литераторы, пианисты и игроки на саксофоне...

Прием был "а-ля фуршет", то есть стоя. На многочисленных столах - коньяки, водки, грузинские вина, севрюги и осетры, красная и черная икра, телятина и молочные поросята, рябчики и тетерева, астраханские селетки и крабы, сибирское масло, нежинские малосольные огурчики, маринованные белые грибы - всё, что летчик Цыбин смог доставить на своем Ил-18 из Москвы.

Блистательный прием заканчивался, когда приглашенный Хрущевым Ван Клиберн исполнил что-то из наших классиков, затем "Подмосковные вечера". Бесхитростный в части музыки Никита Сергеевич растрогался. Это был венец дня.

Прошел прием отлично. (Большинство газет оценило его высоко, не забыв, однако, упомянуть дьявольскую духоту: кондиционирования в старом здании посольства не было.)

Но вот блистательное мероприятие подошло к концу, Н. С. Хрущев опять занял свое место на той же площадке и снова попережимал несколько сот рук.

Отлет в десять вечера. С утра складываемся. Сюю в чемодан купленного "Доктора Живаго". Вещи были уже в багажнике, когда к нам подошли два джентльмена и, отвернув лацканы пиджаков, показали полицейские жетоны: всё выгружайте обратно! Базенков принялся было выяснять отношения, но подоспевший сотрудник посольства

объяснил: имеются сведения, будто в чьи-то вещи подложена бомба, поэтому багаж будут проверять агенты ФБР.

Этого мне только недоставало с моим "Живаго"!

Но всё утряслось, "Живаго" агентов не интересовал. Вещи вновь уложены, и по вечернему городу мы тронулись в Эдрус-филд. В самолете заняли прежние свои кресла в первой кабине.

Никита Сергеевич, как и при отлете из Москвы, входит в передний салон, садится впереди нас. Машина начинает разбег.

По принятому в США закону, ночью на каждом самолете прерывисто вспыхивает сильный красный огонь - "маяк против столкновений". Здесь не как у нас: из-за отлета Хрущева никакие другие рейсы не отменяются, и в иллюминаторы то тут, то там видны вспышки. Хрущев поворачивается к нам: "Что это за вспышки?" Отвечаю - "А у нас они есть?" - "У нас, - говорю, - нет". - "А надо бы завести, ведь это полезно!"

По прилете я рассказал об этом Туполеву. Старик сразу оценил предложение. За пять дней мы сконструировали в своем бюро устройство, изготовили, испытали - а вот с внедрением застряли, как всегда. И лишь когда в Совнархозе узнали, что идея - самого Хрущева, все решилось молниеносно.

Глубокая ночь. Просыпаюсь от прикосновения руки, меня зовут в кабину экипажа. Три часа ночи, следовательно, мы где-то возле Голландии. Проходя по салону, я взялся за металлический поручень и почувствовал удар электрического тока. Откуда он здесь, такой весьма ощутимый потенциал?

Это я понял, войдя в кабину летчиков. По лобовым стеклам струились языки голубого пламени, коки винтов и концы лопастей словно горели, с них стекали в пространство светящиеся шлейфы. Все выступающие части самолета: антенны, купол астрономического секстанта, обтекатели крыльев, воздухозаборники - сияли голубым, холодным огнем. Радиосвязь не действовала, стрелки магнитных и

радиокомпасов самопроизвольно передвигались по шкалам.

А на горизонте в кромешной тьме возникали, перемещались и гасли сполохи северного сияния. Это силы природы наглядно демонстрировали: "Что нам вы, что нам ваше чудо творения Ту-114 и его ответственные пассажиры? Ничто! Былинки, не более..."

Экипаж был встревожен, да и как тут не встревожиться! М. А. Нюхтинков наклонился ко мне:

- Не опасно ли, не снизить ли высоту полета?

- А давно это? - спрашиваю.

- Минут десять-пятнадцать...

Я, успокаивая его и себя:

- Думаю, если опасно, с нами уже что-нибудь случилось бы. Видимо, мы попали в сильнейшую магнитную бурю. Воздух предельно наэлектризован, и на острых частях самолета возникли огни святого Эльма - тлеющие холодные разряды. А раз ничего не произошло, то скорее всего и не произойдет. Однако прошу - всё внимание на курс! Сбиться с него ничего не стоит, и, если мы завезем главу страны на Северный полюс или в Африку, будет конфуз.

Тут Нюхтинков успокоил меня:

- Как только эта свистопляска началась, мы перешли на пилотирование по гироскопическим автономным приборам..

А зрелище было суровое, величественное. Я пошел в хвостовой салон, чтобы взглянуть оттуда сквозь иллюминаторы на крылья и мотогондолы. Внутри кабины огни притушены, в салонах полумрак. Все крепко спят, и слава Богу, а то какой-нибудь проснувшийся нервно настроенный пассажир вполне может устроить панику на борту. Только в последнем ряду припал к окну встревоженный, побледневший охранник:

- Хочу разбудить полковника!

Я попросил не делать этого.

Популярно изложив охраннику, что это такое, я вер-

нулся к летчикам. Там всё оставалось без перемен. Фейерверк продолжался с полчаса, за это время мы пролетели километров четыреста. Около четырех утра на востоке чуть посветлело. Приближался рассвет, и огни святого Эльма начали меркнуть, магнитная буря стихать. Восстановилась радиосвязь с Москвой. Оказывается, всё это время Москва гадала: не взорвалась ли на борту бомба, не погиб ли самолет?

Как хорошо, что знатные пассажиры почивали!

Часов в шесть утра Никита Сергеевич вышел из каюты, выпил стакан чая и начал диктовать стенографисткам московскую речь.

Пользуясь тем, что ось посадочной полосы во Внукове почти совпала с нашим курсом, Якимов не делает круга и заходит на посадку с хода.

Никита Сергеевич входит в пилотскую кабину, благодарит экипаж, жмет всем руки, выходит на трап и спускается на московскую землю. Встречают его сияющие Брежнев, Суслов и остальные члены Политбюро.

В те времена о каждом новом пассажирском лайнере советская пресса писала много и охотно. Про военные - ни слова. Но что удивительно - "их" печать где-то добывала и такие материалы. Откуда же?

Легионы секретчиков и режимщиков собирали общие, профсоюзные и партийные собрания, убеждали: "Будьте бдительнее, болтун - находка для шпиона". Пуще прежнего зашторивали окна бюро, увеличивали вахтерские посты, прислушивались к разговорам сотрудников, искали под халатами наших чертежниц утечки информации. И всё напрасно, шпионы ускользали, публикации продолжались!

А источники утечки информации были наяву. Летчики, участвовавшие в воздушных парадах, рассказывали: "Летим к Москве вдоль Ленинградского шоссе, а на лесных полянках полно посольских автомобилей. Их седоки, обвешанные фото- и киноаппаратами, непрерывно снимают нас во всех ракурсах. Вокруг на штативах аппаратура радио-разведки, операторы крутят антенны вслед за нами".

Еще великий Леонардо заметил - нет ничего неизменнее человеческой головы. Запечатлев голову летчика сквозь остекление кабины, фотограф получал единицу измерения. Руководствуясь ею, по снимкам легко воспроизвести геометрию самолета, конечно, с некоторыми - но не слишком большими - погрешностями. Пойдем дальше - угол стреловидности крыла дает представление о верхней границе его скорости. Площадь крыла, помноженная на применявшуюся в то время нагрузку на квадратный метр, - вес самолета. Зная скорость и вес, узнаем мощность двигателей. Обнаружив на снимках бомбовый люк и число стрелковых оборонительных установок, можно определить назначение машины и даже состав ее экипажа. Как просто открывался секретный ларчик!

Проглядывался и второй канал утечки - корреспонденты соцстран. Им разрешалось фотографировать и при наземных показах техники. Обычно после этого в газетах этих стран появлялись фотографии.

Ныне действуют спутники-шпионы. В одном из западных журналов поместили снимок Воронежского аэродрома. Легко читалась надпись на фронте ангара - "Не курить!"

Так вот после домодедовского парада 1967 года в западной печати появилось множество снимков туполевской машины Ту-22. Эту сверхзвуковую машину Андрей Николаевич относил к числу своих несчастливых творений. Опытная машина по не до конца установленным причинам разбилась. Погибли летчик-испытатель Ю. Т. Алашеев и его товарищи.

Продолжил и закончил испытания В. Ф. Ковалев. Но и тут не обошлось без происшествий. Зимой 1961 года, заметив падение давления масла на правом двигателе, он его выключил. Тяжелая машина стала быстро терять высоту. Убедившись, что до аэродрома не дотянуть, Ковалев сел на брюхо в поле у реки Пехорка. При ударе о мерзлую землю (стояли лютые морозы) кабина экипажа оторвалась, проползла несколько метров и замерла. Все люки и форточки от деформации каркаса заклинило, и экипаж ока-

зался в плену. Хвостовая часть с двигателями загорелась, летчики видели отсветы пламени на снегу. Ковалев сказал по телефону штурману В. С. Паспортникову: "Ты как хочешь, а я гореть живьем не буду и катапультируюсь". На земле это самоубийство. По счастью, примчались машины ЛИИ, и пленников освободили. Аварийная комиссия докопалась до первопричины аварии, ею оказалась масляная трубка от двигателя к манометру, лопнувшая точно на границе между мотогондолой и самолетом. Место явно неудачное, ибо порождало споры: кто же виноват - мотористы или самолетчики? В такой ситуации обстановка порой накалялась и слышались не вполне корректные эпитеты.

На этот раз всё пошло по-иному. Главный конструктор двигателя ВД-17 В. А. Добрынин, типичный представитель старой русской интеллигенции, сразу же всё расставил по местам: перестанем препираться, давайте дружно искать истину и решение, как исключить такие случаи раз и навсегда.

- Так, Андрей Николаевич?

- Именно так, Владимир Алексеевич.

Я привел этот пример потому, что бывали и иные случаи. Другой главный конструктор, более молодой формации, повел себя в аналогичном случае агрессивно и поручил своим подчиненным искать в переписке нашего моторного отдела - нет ли там "компрометирующих" материалов.

После аварий дальнейшие испытания прошли уверенно, и сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 верно служил нашим ВВС. Правда, в его конструкцию внесли много улучшений, можно даже сказать, он стал модификацией первоначального замысла.

Следующая порученная нам работа оказалась очень интересной, но из области, с которой мы до того не сталкивались. Северные границы страны не были достаточно прикрыты от проникновения к нам чужих бомбардировщиков через Арктику.

Причина заключалась в недостаточной дальности действия наземных радиолокационных станций ПВО. Работали они на волнах, которые распространялись по законам оптики. Из-за кривизны земной поверхности станции могли обнаружить летящие самолеты не далее 250-300 километров. Учитывая их скорость, времени для приведения ПВО в боеготовность не хватало. Имелись альтернативные решения: вынести РЛС на лед, ближе к полюсу, либо поднять антенны на высокие башни.

Первое отвергал опыт Папанина - ледяные поля центральной Арктики дрейфовали в сторону Атлантики. Второе вызывало сомнение: возможно ли соорудить вдоль побережья десятки Эйфелевых башен?

Оставалось третье - разместить станции ПВО на крупном самолете. Наиболее сложной задачей стало размещение вращающейся антенны, имевшей раскрыв (ширину) 11 метров. После длительных и трудных поисков наши компоновщики нашли решение.

Прежде чем дать согласие на работу, требовалось изготовить аэродинамические модели и подвергнуть их исследованиям в трубах ЦАГИ. Продувки показали необходимость установки на самолете дополнительного подфюзеляжного киля значительной площади. Что касается гироскопического момента от антенны, автопилотчики взялись его компенсировать. Решив эти кардинальнейшие задачи, А. Н. Туполев совместно с М. В. Келдышем доложили правительству, и постройка самолета, прозванного "Гриб", была задана ОКБ.

Как обычно, решили сохранить неизменными возможно большее число агрегатов Ту-114. Правда, в фюзеляж внесли много нового.

Руководство работами по "Грибу" Туполев возложил на Н. И. Базенкова и Б. Д. Хасанова, начальника нашего филиала на заводе, где строилась машина. Техническое руководство специализированными подразделениями филиала и строительство стенда для наземных испытаний самолетной РЛС Туполев сохранил за московским ОКБ.

Как и положено, на филиале построили натурный макет "Гриба", созвали комиссию из представителей ВВС и ПВО, рассмотрели его и утвердили. Не буду говорить, какую бездну технических вопросов нам пришлось разрешить, но не могу не вспомнить трех. Когда мы приехали на завод "Шарикоподшипник" и попросили изготовить подшипник для антенны диаметром около метра, который должен работать в авиаусловиях, то есть при больших перепадах температур, давлений и вибраций, нас подняли на смех. Только показ макета убедил их, что это не бред.

Сделать сотовый обтекатель шириной 11,5 метра химки отказались. Пришлось его изготовить в нашей лаборатории из секций, состыкованных пластмассовыми болтами.

При осмотре макета медики заявили, что экипаж в передней кабине от многочасового облучения лучами РЛС заболеет лейкемией и погибнет, а принятые нами меры по его экранировке неэффективны. Разумеется, этого не могло произойти, ибо нижняя граница диаграммы излучения шла метра на три выше голов летчиков.

Но время всё расставило по местам. "Гриб" вытащили на аэродром, приехал наш летчик-испытатель И. М. Сухомилин, походил вокруг машины, похмыкал, поцокал языком и полез по трапу в кабину. Опробовали двигатели, Иван Моисеевич порулил по аэродрому, где поглядеть на невиданное чудо собралось ползавода. Усмехнувшись, он доложил: "Ну что же, попробуем, авось Бог даст, вернемся живыми", - последнее, конечно, в шутку.

Первый вылет решили делать в выходной день: завод не работает, всё же на несколько тысяч зрителей меньше, а соцгород, где живет большинство, далеко. Поехали загодя. Николай Ильич волнуется, да и как не волноваться, если над фюзеляжем на пилоне высотой 2 метра лежит чечевица диаметром 12 метров и толщиной в центре почти полтора.

После всесторонних испытаний построили несколько "Грибов", и они несли свою службу в ПВО.

Вернемся несколько назад, к предшественнику Ту-22,

к фронтовому сверхзвуковому бомбардировщику "98". Благополучные его испытания (летчик Д. В. Зюзин) закончились в неподходящее время. Только что Н. С. Хрущев произнес свою сакраментальную фразу: "Мы теперь муху в космосе можем уничтожить ракетой", - ее оказалось достаточно, чтобы все работы по самолетам "98" и "91" прикрыли.

И если по Ту-98 при большом желании это и можно было понять - действительно, армия имела ракеты "земля - земля" в некотором ассортименте, - то для предания забвению Ту-91 самый изворотливый ум аргументов придумать не мог.

Это машина была совершенно новым классом самолетов и появилась на свет нетрадиционным путем.

Приглядываясь к сообщениям прессы о ходе боев во Вьетнаме, Туполев пришел к выводу, что для поддержки разрозненно действующих в чаще леса отрядов пехоты нужен особый самолет.

Он должен летать низко и не торопясь. Быть приспособлен к массовому производству и нести самое разнообразное оружие.

Опыт Отечественной войны показал, что низколетающие машины зенитчики сбивают активно. Даже цельнобронированных штурмовиков Ил-2 мы потеряли несколько тысяч. Значит, вносить броню в конструкцию машины не следует - это тяжело и многодельно. Но можно попытаться прикрыть экипаж от ружейного огня спереди винтами, ведь их, соосных, два, а сзади - двигателем.

Соединяющий их вал разделит кабину пополам. Слева посадим летчика, справа - штурмана.

Зададимся скоростью 500 км/ч, а высотой не более 5000 метров. Следовательно, крыло прямое, а гермокабина не нужна. Всё оружие подвесим на трех пилонах: один - под фюзеляжем, а два - под крыльями.

Делясь своими раздумьями с моряками, он почувствовал их поддержку. Проявили интерес и ВВС. Соединенными усилиями разработали тактико-технические требова-

ния. Правительство их утвердило, и ОКБ приступило к работе. Ведущим конструктором был назначен П. О. Сухой.

Самолет Ту-91 прошел все возможные испытания: пускал реактивные ракеты, стрелял из пушек, был принят на вооружение, а теперь заброшен. Но, потерпев афронт с Ту-91, Туполев не мог примириться с тем, что такой прогрессивный самолет, как Ту-98, на котором была решена масса аэродинамических проблем и создана первая у нас двухмоторная машина со скоростью около 2000 км/ч, отвергнут.

Была и еще одна причина - А. Н. Туполев всегда относился к таким случаям крайне болезненно. Как это так? "Израсходовали кучу народных денег - и зазря! Не может этого быть. Если мы создали действительно отличный самолет, значит, должны найти ему применение". И он нашел!

Успех был не результатом озарения, наоборот - плодом длительных поисков, обдумывания, консультаций с военными, радиолокаторщиками, конструкторами ракет "воздух - воздух". В результате выкристаллизовалась идея: "Вот мы с вами создали "Гриб" (Ту-126), самолет раннего обнаружения вражеских бомбардировщиков. Эти машины отнесли нашу воздушную границу далеко на север. Но, обнаружив врага, сбить противника Ту-126 не в состоянии, ибо не несут вооружения. Для этого нужны истребители, вооруженные пушками или ракетами и способные длительно сопровождать "Гриб". В таком случае давайте превратим 98-й бомбардировщик в такой самолет. Возможно ли это? Да, если мы вместо носовой кабины штурмана установим радиолокационный прицел достаточно дальнего действия, заполним бомбовый люк баками с топливом и разместим под крыльями пилоны для ракет. Расчеты показывали, что на экономический скорости такой истребитель сможет барражировать в воздухе несколько часов. Что нужно для его создания? Просить правительство поручить главному конструктору Ф. Ф. Волкову создать прицел, а главному конструктору М. Р. Бисновату - ракеты нужной дальности".

Такое предложение приняли, самолет назвали Ту-28. Испытания вел летчик М. В. Козлов (позднее Миша Козлов погиб при катастрофе Ту-144, во время демонстрации самолета в Ле Бурже. Увидя пересекающий его курс неизвестный самолет и боясь столкновения, Козлов был вынужден резким маневром уйти в сторону. Специалисты пришли к выводу, что перегрузки при этом вышли за расчетные).

Пройдя весь цикл сложнейших испытаний, Ту-28 строился серийно, и мы законно гордились прозорливостью нашего генерального конструктора, сумевшего дать заброшенной машине вторую жизнь.

Последний наш самолет, связанный с ПВО, мы демонстрировали руководству во главе с Н. С. Хрущевым в 1962 году на одном из южных полигонов. Следует отметить разные стили таких показов, вероятно, связанных с индивидуальными особенностями руководителей. Сталин никогда не посещал конструкторское бюро или летные базы авиапромышленности. Поговаривали, боялся террористов. Хрущев делал это охотно, но всегда неожиданно. Смее утверждать это, потому что у нас он бывал неоднократно. Брежнев ввел определенный ритуал. Заранее на полигон вызывались все главные конструкторы с заместителями, военные руководители, министры и их помощники. К назначенному часу кортеж автомобилей привозил к нам Ильича и членов Политбюро.

Группы гостей неторопливо проходили вдоль выставленных объектов. Пояснения давали главные или генеральные конструкторы, но особенного интереса гости не проявляли, а тем более вопросов не задавали. Складывалось впечатление, что показываемое их в деталях не интересовало. Скорее это выглядело как некое мероприятие, своеобразное шоу...

Огромная ответственность, ложившаяся на Туполева, напряженнейшая работа в ГУАП по организации серийного выпуска самолетов, проектированию и постройке нового

ЦАГИ в г. Жуковском; болезнь легких, перенесенная в юности; наконец, четыре года в застенках ОГПУ - НКВД сделали свое - здоровье Андрея Николаевича ухудшалось.

Да и годы... Ему шел восемьдесят четвертый год, когда ночью, 23 декабря 1972 года, остановилось сердце...

Трудно представить, какую потерю понесла наша страна. Его самолеты и сейчас служат Родине. Но со смертью руководителя работа не останавливается, ее продолжает следующее поколение.

Последние парижские авиасалоны позволили специалистам убедиться, как творчески и продуктивно работал коллектив ОКБ во главе с молодым А. А. Туполевым и его первым заместителем - А. И. Кандаловым, как много создано ими за двадцать лет, прошедших с кончины Андрея Николаевича. Наши потомки, конечно, оценят их труды должным образом.

* * *
*

Новое о Ф. М. Достоевском в архивах США

Когда в 1985 году в работе "Вокруг Достоевского" ("Новый мир" № 1) я рассказал о трагической судьбе жены сына писателя, Федора Федоровича Достоевского, Екатерины Петровны Достоевской (урожденной Цугаловской), редакция не решилась в застойное еще время привести мой рассказ целиком.

Сейчас настал момент подробно поведать о трагической судьбе Екатерины Петровны, тем более что это важно для моего дальнейшего рассказа, и я излагаю эту судьбу в основном со слов ее сына, внука писателя, ленинградского инженера и преподавателя Андрея Федоровича Достоевского (1908-1968), с которым я был близко знаком в 60-е годы.

Трагедия Е. П. Достоевской заключалась в том, что, проживая в начале Отечественной войны в Крыму, в возрасте 66 лет, она не успела эвакуироваться - считала, что в первую очередь должны эвакуироваться больные и дети. В оккупации она жила тихо и незаметно вместе со своей сестрой Ниной Петровной Цугаловской (в замужестве Фальц-Фейн), которая была на 4 года старше нее. Но в 1942 году в Крыму появляется бывшая жена Милия Федоровича Достоевского - внука старшего брата писателя М. М. Достоевского. Она сумела получить оккупационный вид на жительство под фамилией "Достоевская", хотя была женой Милия Федоровича всего лишь три месяца и давно уже носила девичью фамилию. Фамилию "Достоев-

ская" она использовала для предательских выступлений по радио и в печати.

Екатерина Петровна вынуждена была приступить к разоблачению самозванки, чем вызвала недовольство немецкой комендатуры. С другой стороны, так как в Симферополе, где жила Екатерина Петровна, ее все знали и считали единственным человеком, носившим фамилию "Достоевская", население приписало предательские выступления Екатерине Петровне. Она стала получать угрожающие письма от подпольщиков и партизан.

Положение всё более обострялось, и в 1943 году Екатерина Петровна и Нина Петровна решили перебраться в Одессу. По дороге немецкий мотоциклист сшиб Екатерину Петровну и переломил ей обе ноги в коленях. Нина Петровна обратилась за помощью к местным властям, которые, услышав фамилию "Достоевская", сразу доставили ее в госпиталь в районе Инкермана. Екатерина Петровна лежала в гипсе, а Нина Петровна сутками дежурила у ее постели, не доверяя немецкому персоналу. Так прошло полгода, но однажды, во время налета на Инкерман советской авиации, осколками бомбы, разорвавшейся у здания госпиталя, была тяжело ранена Нина Петровна. Она тоже оказалась в гипсе вместе с Екатериной Петровной. В это время наступление советских войск стремительно развивалось, и немецкий госпиталь начал отступать, увозя за собой в гипсе двух старух-сестер. Путь госпиталя лежал через южную Польшу до города Регенсбург в Баварии, где их передали на попечение местного монастыря.

Здесь за ними ухаживали монахини, и в конце 1945 - начале 1946 годов они сумели подняться на ноги. Екатерине Петровне исполнилось 70 лет, Нине Петровне - 74 года. Они оказались в американской зоне оккупации. С одной стороны, значительное внимание оккупационных властей к женщине, носящей имя великого писателя, с другой стороны, антисталинская агитация бывших союзников, включающая убедительные конкретные сведения о сталинских репрессиях по отношению к лицам, побывавшим в оккупа-

ции, наконец, убежденность в том, что сын Екатерины Петровны Андрей Федорович погиб на войне, - не создавали предпосылок для возвращения домой этих двух старух, потерявших дома всё, что они имели.

Может быть, их удерживало также то, что на Западе у них был хоть один близкий человек - дочь Нины Петровны Ольга Александровна, проживавшая в Париже с конца Первой мировой войны. Она звала их к себе, но, не имея никаких средств к существованию, старухи не решались покинуть монастырь. В это время в западных газетах появились сообщения, что в США скончался некий богач, который якобы оставил на имя любого наследника имени Достоевского один миллион долларов.

Ольга Александровна уверенно сообщила об этом старухам, и они приняли решение переехать к ней и поселились в ее небольшом собственном домике на окраине Парижа. Но сведения о миллионе оказались вымыслом, и совместная жизнь в этом домике не получилась.

Весь этот период Андрей Федорович ничего не знал о судьбе своей матери, так как на все его запросы Крым ничего не отвечал, но и Екатерина Петровна думала, что он погиб на войне, хотя и предпринимала всё же попытки найти его. Наконец, в 1947 году Екатерина Петровна через Красный Крест и, в частности, через профессора-слависта из Оксфорда Спелдинга разыскала сына в Ленинграде, и Андрей Федорович получил первое письмо от профессора с просьбой вступить в переписку с матерью.

Однако Андрей Федорович довольно сухо ответил профессору, что переписываться с матерью он не будет. Когда я спросил Андрея Федоровича, почему он отказался переписываться с матерью, он сказал: "Мне, проводшему все пять лет на фронте, было непонятно и *неприемлемо* (он сделал ударение на этом слове. - Б. С.) нахождение моей матери вне пределов России". (А я подумал тогда: "Боже мой, какое это было страшное время, если даже внук Достоевского, проводший всю Отечественную войну в разведке, не раз глядевший в лицо смерти, не стал переписываться с собственной матерью!".)

Так продолжалось до 1949 года, когда старухи неожиданно встретились с Валерией Александровной Прянишниковой, дальней родней их матери, проживавшей на юге Франции с начала русской эмиграции. Она была там директором русского дома для престарелых. В. А. Прянишникова помогла сестрам получить в русском доме для престарелых в Ментоне небольшую комнатку. Здесь Екатерина Петровна Достоевская и скончалась в 1958 году.

Почему я так подробно пишу о трагической судьбе матери Андрея Федоровича? Потому что, как неоднократно подчеркивал мне Андрей Федорович, до войны у нее были при себе "достоевские" материалы: 3-я завещательная тетрадь А. Г. Достоевской (одна хранится в Ленинской библиотеке), записки самой Екатерины Петровны, которые ее просил вести М. Волоцкой, автор книги "Хроника рода Достоевского" (М., 1933) и т. д. Андрей Федорович говорил мне неоднократно, что всё, что было при Екатерине Петровне, исчезло частично на пути из Крыма во Францию, а всё остальное - уже после ее смерти.

Остались лишь рисунки старшего сына Екатерины Петровны, Феди, умершего пятнадцатилетним мальчиком в 1921 году от тифа, - рисунки, которые Екатерина Петровна берегла полвека и сумела сохранить даже во время своего трагического пути из Крыма во Францию.

Все попытки Андрея Федоровича найти что-нибудь из этих материалов через советское посольство во Франции уже после смерти матери окончились безрезультатно. Мои попытки тоже тогда не увенчались успехом.

Небольшой рассказ о Екатерине Петровне Достоевской в "Новом мире" в 1985 году я закончил словами: "Я продолжаю верить в то, что какие-то следы исчезнувших бумаг [Е. П. Достоевской] еще обнаружатся..."

22 апреля 1989 года по приглашению профессора Колумбийского университета известного достоевсковеда Роберта Белнапа и по командировке Союза писателей СССР я прилетел на полтора месяца в США прочитать ряд лекций по творчеству Ф. М. Достоевского и по истории книги

в России, а также поработать в американских архивах и библиотеках.

14 мая профессор Стэнфордского университета Лазарь Флейшман, зная, что главной целью моей архивной работы в США является архив Института Гувера, пригласил меня по просьбе Роберта Белнапа выступить в Калифорнии. Так я оказался в архиве Института Гувера, находящегося буквально рядом со Стэнфордским университетом и составляющего с ним как бы единое целое, как, скажем, Институт Гарримана с Колумбийским университетом в Нью-Йорке.

В архиве Института Гувера, в фонде известного деятеля русского революционного и общественного движения Бориса Ивановича Николаевского (1887-1966), я по описи фонда смотрю, что у них есть о Достоевском. Вижу одну работу под заглавием: Евгений Тверской. "Пророчество Ф. М. Достоевского о злодеяниях русской революции и ее последствиях". Заказываю ее по шифру: картотека 740, единица хранения 1. Вот ее текст.

Евгений ТВЕРСКОЙ

Пророчество Ф. М. Достоевского о злодеяниях русской революции и ее последствиях

*Посвящается
Екатерине Петровне Достоевской*

В Регенсбурге шел мелкий осенний дождь. Сизые набухшие тучи плыли так низко, что казалось, задевали за верхушки каштанов и тополей. Тротуары покрылись несметным количеством больших и малых луж, обходить которые было невозможно. Шлепая промокшими ногами, я шел к Е. П. Достоевской.

Екатерина Петровна Достоевская (невестка Ф. М. Достоевского), вывезенная немцами из Крыма, преподавала

английский и французский языки на курсах сестер милосердия, а также и русский язык прибывшим в Германию американцам. Она жила со своей сестрой Н. П. Фальц-Фейн в Зауглингсхайме, после полученных во время бомбардировок ранений, занимая крохотную комнатку в деревянном флигелечке во дворе.

Я постучался. Открылась дверь, и на пороге показалась низенькая пожилая женщина лет 66-68. Ее серо-голубые глаза светились приветливой и радушной улыбкой.

- Боже мой. Этакое наказание с дождем, света Божьего не видно. Снимайте пальто и садитесь, а я подогрею чай. Небось вы прозябли?

- Право не стоит вам, Екатерина Петровна, беспокоиться. Цель моего визита - познакомиться с вами и побеседовать. А то, что на дворе дождь и я немножко промок, - несущественно.

Е. П. всё же включила решо и поставила чайник.

- Что же вас интересует?

- Всё, что касается семьи Ф. М. Достоевского.

- С Федором Федоровичем Достоевским, моим мужем, я познакомилась в Крыму, в 1901 году, когда Федора Михайловича уже давно не было в живых. Он умер в 1881 году (28 января), когда моему будущему мужу было всего девять лет.

- Но, может быть, вы знаете что-либо со слов вашего мужа или Анны Григорьевны (жена писателя), и что не вошло в мемуарную литературу о Федоре Михайловиче? Может быть, вы что-нибудь даже пишете о Ф. М. по семейным воспоминаниям?

- В настоящее время я занята работой "Генеалогическое древо Достоевских". В основу этого труда ляжет исследование Чулкова*, Ртищева** и мои выписки из ар-

* Исследование Н. П. Чулкова о предках Достоевского было использовано М. В. Волоцким в книге "Хроника рода Достоевского. 1506-1933". М., 1933.

живов Москвы и Петербурга, в которых я "копалась", по выражению моего мужа, и со слов моей бедной, незабвенной Анны Григорьевны. Предполагаемая книжка должна выйти на трех языках: английском, французском и немецком. На английском языке прежде всего в Кэмбридже - для факультета славянских языков. Затем, вероятно, в Германии, так как я пообещала г-ну Цицеру издать свой труд в его издательстве*.

Кроме этого труда, я должна написать и о многом другом - заданий масса, а времени слишком мало. Ведь обрисовать свою жизнь, войдя в семью Достоевских, это необходимо, так как Анну Григорьевну часто рисуют как "жадную, расчетливую" - этого человека, жившего всегда для других - ангела-хранителя и мужа, и детей, и внуков.

- "Копаясь" в архивах и, в частности, в семейном архиве Достоевских, не пришлось ли вам натолкнуться на какие-либо записи, записки, незаконченные произведения, некоторые мысли, которые могли потом быть использованы Федором Михайловичем в его сочинениях, но уже, быть может, в другой редакции?

- Да. Кое-что и что меня особенно поразило я даже записала, но все это отрывочно и бессистемно.

- Может быть, вы мне читаете эти записи?

- Сначала выпьем чаю. Соловья ведь, как говорится, баснями не кормят. Подвигайтесь к столу.

Я обжигался горячим чаем, чтобы поскорее с ним покончить и перейти к слушанию записей.

- Многое, что я вам прочту, вошло в "Дневник писателя" и в другие сочинения, я сейчас не помню, но у меня записано с оригинала.

Екатерина Петровна развернула тетрадь и потом сказала:

** Речь идет о разысканиях Н. П. Чулковым предков Достоевского в XVI веке - Ртищев.

* Эта книжка Е. П. Достоевской не появлялась в печати.

- В своем личном дневнике, вернувшись с одного собрания, посвященного помощи голодающим, Федор Михайлович записал:

"О народном горе они говорили во фраках и белых галстуках, при разряженной публике".

- О родине Ф. М. записал так:

"От мужика до царя, от тюрьмы до собора - вот моя родина. Кто любит родину, тот должен любить ее всю, со всеми пороками и добродетелями - вот как любил Пушкин и царя Николая, и Емельку Пугачева, и Онегина, и декабристов".

"Такой любовью можно любить дьявола, оставаясь верным Богу. А в понимании наших писателей как это все просто? Вот это добро, а это зло; о добре надо сказать побольше громких или сладких слов, а о зле побольше жестких и злых; зло надо обличить, высмеять, над ним надругаться, добро прославить, но не впадая, конечно, в пошлость или в банальщину. А вот сделать так, чтобы добрый-то человек наделал пакостей, а злой имел бы свою святыню - этого они не сделают... Не хватает духу, а может быть, просто не понимают и не видят... талант-то у них есть, и у, какой".

"Как я это таинство любви ясно чувствую и понимаю, и как мне всегда изменяют слова, когда я начинаю говорить о нем... Все пишут, что я туманен, мистик какой-то, кликуша, что ли? - а одного понять не хотят, что все великое в жизни никогда не бывает ясным и что всякий человек, который людям имеет что сказать, истинное и нужное, нужное не на день, не на два, а навсегда, - не может говорить иначе, как только намеками... И Христос говорил притчами, и часто не договаривая... Боже, убереги меня от гордыни - но что мне делать, если я чувствую и знаю, что если я не скажу того, что надо сказать, то этого никто из них не скажет?"

"Я совершу чудо, я создам героя-христианина в земном облике. Я сочетаю то, что еще никто не сочетал - смирение с силой... человека и Бога. Это еще никому не удавалось?"

"Да. Я создам образ ангела во плоти - он будет человек со всеми мыслями человеческими и страстями..."

"Улыбка и смех нужны жизни. Христос не осудил их, хоть сам Он никогда не улыбался и не смеялся".

Екатерина Петровна, оторвавшись от тетради и сделав короткую паузу, сказала:

- Теперь я вам прочту приговор, вынесенный Федором Михайловичем русской литературе - слушайте.

"Образы Рахметова, Светлова, Базарова, Писарева, Соколомина - какая банальщина. Герои, - которые живут только рынком дня. Стоит какому-нибудь манифесту упразднить то или другое, и вся почва уплыла у этих героев из-под ног. Эти герои - как жук на навозе. Уберите навоз - и питаться и жить нечем. Хорош герой, который живет только тем, что "обличает", а если обличать будет нечего - что он тогда будет делать? Вот есть те умники, которые говорят, что если бы не было дьявола, то и Богу нечего делать. Мой герой никого обличать не будет, а будет любить всех, но любовь-то его и будет его настоящим обличением, а то эти наши обличители только и заняты тем, что натравливают одних людей на других. Но, действительно, как это странно. Все наши русские писатели, решительно все, только то и делали, что обличали разных уродов... Один Пушкин. Ну, да может быть, еще Толстой, хотя чудится мне, что и он этим кончит... А остальные. Только все к позорному столбу ставили всех или жалели и хныкали. Неужели же они в России не нашли никого, про кого смогли бы сказать доброе слово, за исключением самого себя - обличителя. Мелюзгу разную кислосладкую да эфирных девиц, правда, они рисовали для контраста с теми злыми, порочными, пошлыми и пустыми людьми, которых они облюбовали. Почему у них ни у кого не хватило смелости (талант был у многих) показать нам во весь рост русского человека, которому можно было бы поклониться? Его не нашли, что ли? А искать ведь не слепые... А в самом деле, надо припомнить".

"Грибоедов, про кого он сказал доброе слово? И Чацко-

го своего в дураках оставил... Лермонтов, тот все и всех презирал, кроме своей особы, но и ей наговорил - и поделом - кучу дерзостей. Гоголь - тот над всеми смеялся и уверял нас, что плачет. Может быть, и действительно плакал, но только кому от этого было легче? Впрочем, Гоголь понимал, что он перед Россией великий грешник: он знал, что - Россия - совсем не гоголевская гримаса, и когда он почуял вдали русского пророка, он, не разглядев его лица, упал перед ним на колени и так и не поднялся, и не проронил ни слова. Тургенев - тот был осторожнее в своих обличениях, но зато все его надуманные герои и героини - какая патока, какая фальшь. Да и никогда ни об одном сложном вопросе жизни они у него не думали. Писемский - одна грязь. Островский - кунст-камера чудаков и уродов. Щедрин, это уже не смех, а какое-то гоготание и вакханалия издевательства. А вот гордец-то наш, прикидывающийся смиренным - его сиятельство Лев Николаевич Толстой, он понял, что пора перестать обличать, и надо начать любить по-настоящему, не устами только, а сердцем. И мысли у него иногда такие глубокие, словно стоит перед пропастью и в нее его тянет. Он через эту пропасть с легкостью вольтижера не прыгает, перекладывает через нее тоже не кладет, красивым дерном ее не маскирует... стоит и смотрит в эту пропасть. Но этого мало. В нее упасть надо, хотя бы с опасностью сломать себе шею, упасть в нее надо - есть же у всякой пропасти дно: надо узнать, что там на дне творится, и сказать об этом людям. А впрочем, может быть, он что и скажет. Несколько страниц в "Анне Карениной" (стоило на такую пустую тему столько таланта и времени тратить) как будто что-то обещают. Но что? Что может сказать человек с таким холодным умом и холодным сердцем?.. Не люблю я его..."

- Дальше, - сказала Екатерина Петровна, - следуют страницы откровения и пророчества Федора Михайловича, тайники его души, так сказать.

"Я не хочу, чтобы люди, произнося мое имя, вспоминали бы только об одних грехопадениях человека. Я хочу

зреть человека, и непременно русского человека, не на нарах каторжника, не на скамье подсудимых, не в лечебнице душевнобольных, не на Иовом гноище... Я хочу, чтобы он стоял на горе и светил людям... Россия должна стоять на этой горе... Фаворской..."

"Надо потонуть в море греха, чтобы потом иметь власть и силу ходить по его волнам, как по суше... И что же?.. она... она потонет в этом море... и она отречется... она - Богоносица... Россия. Народ наш отречется от Христа? Вот они теперь разбрасывают по деревням разные книжонки, в которых говорят, что Бога нет - наши "нигилисты", как их раньше называли, или "народники", как они теперь именуются. Народ им не верит и даже властям выдает их... А если поверит и предаст Христа. Разрушит храмы Божьи, надругается над святыней, прогонит и убьет священнослужителей... вот тот грех, который Богу нужен. Тогда это будет грех великого страдания, той великой скорби, которая обещана. Великая будет скорбь и родит ее невиданный грех..."

"От Христа они отрекутся и... царя убьют. Вот сколько лет они за ним охотятся, с Каракозова. Сколько их было, всех покушений?.. раз, два, три, четыре. Пока Бог творит чудо и хранит".

"И свершит это страшное дело не иностранец, не ино-родец, а непременно русский из народа..."

"И вот когда не станет пастыря, разбредется все стадо: братья начнут враждовать друг с другом, дети одной матери, они возненавидят друг друга и начнут поедать друг друга".

"А что, если факел вражды они бросят в деревню, и тихая боголюбивая страстотерпица Русь запылает пожаром с одного края до другого? Быть может, и этот грех нужен Богу".

"Велико и необъятно дело любви, и нет у него ни конца, ни начала..."

"Все в себя примет одна единая любовь... Она вместит в себя весь мир... И глашатаем ее будет не Бог, а сами

люди, бедные люди, люди, чистые сердцем, люди православные, люди земли”.

Я вышел от Екатерины Петровны глубоко потрясенный. Даже забыл поблагодарить ее за радушный прием.

Дождь перестал. Бледный лунный свет, скользя, полоסקался в лужах. Кое-где, пробиваясь через тучи, робко замерцали звезды. Тускло горели уличные фонари. Одинокие силуэты прохожих, куда-то спешивших, колыхались как тени и исчезали за поворотом улицы.

Земля отяжелела от влаги. Разбухла от выплаканных человеческих слез. Вспотела от пролитой горячей крови. И эта земля, по откровению Ф. М. Достоевского, не провалится в тартарары под тяжестью греха, и не наступит конец света. На этой земле родятся люди, простые люди... они перестанут враждовать между собой и... полюбят друг друга.

1947-49

Регенсбург

Вот какой документ сохранил для потомков некто Евгений Тверской (вероятно, журналист, возможно, скрывшийся за псевдонимом), решивший навестить в Регенсбурге Екатерину Петровну Достоевскую.

Начнем с того, что многое в рассказе Евгения Тверского совпадает с тем, что мне поведал Андрей Федорович Достоевский: его мать, действительно, в это время находилась в Регенсбурге, она, действительно, после смерти жены писателя Анны Григорьевны Достоевской была единственной из родных писателя, кто занимался историей его рода, и вообще проявляла неподдельный интерес ко всему, что было связано с именем Достоевского. Об этом свидетельствует единственная, пожалуй, печатная работа Екатерины Петровны, которую мне удалось найти в библиотеке Колумбийского университета - это ее письмо в редакцию парижского журнала "Возрождение" (№ 8, 1950) по поводу родословной Достоевского.

Однако главное не в этом. Дело в том, что Екатерина Петровна была абсолютно права, когда сказала Евгению Тверскому, что многое вошло в "Дневник писателя" и в другие сочинения Достоевского. Действительно, те или иные мысли писателя, в частности, его размышления о "положительно-прекрасном человеке", каким он считал Льва Николаевича Мышкина, Алешу Карамазова, старца Зосиму, его несколько ироничное отношение к писателям-современникам, "плоским" реалистам (себя-то он справедливо считал "реалистом в высшем смысле" этого слова), пророчества Достоевского о судьбах России, о Богооставленном человечестве, об атеизме и религии можно найти и в "Дневнике писателя", и в его письмах, и в "Сне смешного человека", и в "Легенде о Великом инквизиторе", и в эпилоге к "Преступлению и наказанию", и в публицистике писателя, и в его записных книжках.

И все же многое в этом тексте настораживает и заставляет предположить, что он в какой-то мере (а, возможно, и в большой) фальсифицирован. Текст излишне слащав и топорен, в нем не хватает местами той стихийной силы, того произвольного артистизма, которые присутствуют в записных тетрадях Достоевского. Сарказм писателя нередко заменяет примитивная грубость, а "проникновенное слово" - заурядное менторство. Некоторые идеи Достоевского использованы крайне вульгарно, вывочены, как сказал бы сам писатель, "на улицу".

Вот, например, несколько высказываний, которые, на наш взгляд, не могут принадлежать Достоевскому и *идейно*, так как являются плодом непонимания со стороны подражателя-фальсификатора: "Такою любовью можно любить дьявола, оставаясь верным Богу"; "Я сочетаю то, что еще никто не сочетал... человека и Бога" (Достоевский был достаточно сведущ в церковных догматах, чтобы не написать это); "Гоголь... Может быть, и действительно плакал, но только кому от этого было легче?.. он знал, что Россия - совсем не гоголевская гримаса..." (это расходится с поздними высказываниями Достоевского о ти-

пах Ноздрева, "Женитьбы"); "Несколько страниц в "Анне Карениной" (стоило на такую пустую тему столько таланта и времени тратить) как будто что-то обещают. Но что? Что может сказать человек с таким холодным умом и холодным сердцем?" (эти слова противоречат отзывам Достоевского о Л. Н. Толстом и его романе "Анна Каренина" в "Дневнике писателя" за 1877 год, где он называет Л. Н. Толстого "необыкновенной высоты художником", оценивает "Анну Каренину" как "факт особого значения, который бы мог отвечать за нас Европе, на который мы могли бы указать Европе" и говорит о том, что "такие люди, как автор Анны Карениной, - суть учителя общества, наши учителя, а мы лишь ученики их"); "Надо потонуть в море греха, чтобы потом иметь власть и силу ходить по его волнам, как по суше" (типичное заблуждение многих толкователей и "обвинителей" Достоевского, не совпадающее ни со словами, ни с мыслями писателя); "...Единая любовь... И глашатаем ее будет не Бог, а сами люди (!), бедные люди, люди, чистые сердцем, люди православные, люди земли".

Отсутствие в тексте характерных слов Достоевского, его типичных оборотов, интонации, бедный, уныло-ординарный словарь, безлико-правильный слог заставляют предполагать, что если это и мысли писателя, то они были пропущены через ограниченное и неадекватное предмету сознание.

Таким образом, текст Евгения Тверского имеет характер "пророчества задним числом" - популярнейшего с незапамятных времен пропагандистского жанра.

Вызывает определенные сомнения и формальная сторона дела. Перед нами пересказ Е. Тверского того, что Екатерина Петровна Достоевская "отрывочно и бессистемно" выписывала из "личного дневника" писателя как "особенно" ее поразившее.

Возникает вопрос, а существовал ли на самом деле этот "личный дневник" писателя, если о нем никто до сих пор не упоминал, и даже сама жена писателя Анна Гри-

горьевна ни разу не обмолвилась о наличии такого документа. Но не исключено, что речь идет о тех частях записных тетрадей писателя под названием "Дневник" 1881, которые были опубликованы впервые в 83 томе "Литнаследства" "Неизданный Достоевский" в 1971 году, то есть через тринадцать лет после смерти Е. П. Достоевской.

Странно, конечно, что Екатерина Петровна в беседе с Е. Тверским не обмолвилась о том, что же представляет собой "личный дневник" Достоевского (тетрадь, переплет, характер записей и т. д.), но вполне возможно, что она и говорила это, однако ее собеседник не посчитал нужным передать ее слова.

Возникает также вопрос, почему же Екатерина Петровна никогда никому до самой смерти не говорила об этих своих записях, сделав исключение лишь для случайного, незнакомого ей посетителя? Но вполне вероятно, что она сама готовила эти записи для публикации, а помешала война, да и психологически это понятно. Забытая Богом и людьми, она оказалась в Регенсбурге: стоит ли дальше скрывать эти записи, сумеет ли она сама их опубликовать, когда весь мир перевернулся, а ей ведь уже 71 год. А тут вдруг такое внимание со стороны Е. Тверского, оказывается, кто-то знает о ее существовании и искренно интересуется семьей великого писателя.

И все же есть еще одно свидетельство о существовании каких-то подобных записей Екатерины Петровны. В июле 1989 года на VII Симпозиуме Международного Общества Достоевского в Югославии я познакомился с жителем княжества Лихтенштейн бароном Эдуардом Александровичем Фальц-Фейном. Он оказался племянником той самой старшей сестры Екатерины Петровны Нины Петровны Фальц-Фейн, с которой они вместе проделали весь путь из Крыма в Германию, а затем во Францию. Когда я показал Эдуарду Александровичу этот текст Е. Тверского, он сказал, что слышал в свое время о существовании каких-то записей от самой Екатерины Петровны.

Однако хотя к самому Достоевскому текст Евгения

Тверского имеет, по всей вероятности, лишь косвенное отношение, но он может быть использован в качестве материала, полезного кое в чем для исследователей творчества писателя, тем более если учесть, что некоторые отзывы Достоевского о русских классиках в тексте Е. Тверского имеют некоторое сходство с записными тетрадями Достоевского, которые, повторяем, не были известны тогда Е. Тверскому, так как впервые были опубликованы лишь в 1971 году, но вполне могли быть известны Е. П. Достоевской. Вот, например, запись Достоевского в "Дневнике" 1881 года (цитирую по 83 т. "Литнаследства"): "До чего человек *возобожал* себя (Лев Толстой)", в записных тетрадях 1876-1877 гг.: "Идеал Гоголя странен; в подкладке его христианство, но христианство его не есть христианство"; "Это бахвальство Гоголя и выделанное смирение - шута"; "Вот это бы и взял Островский, но силы таланта не имел, холоден, растянут (повести в ролях)"; в записных тетрадях 1875-1876 гг.: "Лермонтов, дурное лицо, в зеркало"; "Тургеневу недостает знания русской жизни *вообще*. А народную он узнал раз от того дворового лакея, с которым ходил на охоту ("Записки охотника"), а больше не знал ничего"; "Лермонтов гнусен" и т. д.

Итак, скорее всего Евгений Тверской действительно был в Регенсбурге у Е. П. Достоевской (недаром же он посвятил ей свой рассказ), и она ему действительно читала какие-то записи, хотя не исключено, что и она могла тоже дать пересказ их, т. е. перед нами уже двойной пересказ. К тому же пересказ Тверского мог носить произвольный характер, и, конечно, нет уверенности в его точности.

Но как попали эти записи к Екатерине Петровне? Я склонен считать, что это все же не выдумка Е. Тверского. Несомненно, их давала ей читать Анна Григорьевна, больше всего из всей своей родни любившая Екатерину Петровну именно за то, что та продолжала ее труд, ее работу во славу великого имени Достоевского.

Почему же эти ценнейшие записи не сохранились у Анны Григорьевны? В "Новом мире" и в книге "Жена писа-

теля. Последняя любовь Достоевского” я подробно рассказывал о том, как Анна Григорьевна Достоевская скончалась в полном одиночестве летом 1918 года в Ялте и как после ее смерти исчезли бывшие при ней рукописи писателя. Среди них, вероятно, и были эти записи.

А куда же исчезло то, что переписала или пересказала Екатерина Петровна? Теперь можно сказать с большой долей уверенности, что ее записи исчезли после смерти Екатерины Петровны в Ментоне в 1958 году, хотя, возможно, и не исчезли, а лежат в каком-нибудь зарубежном архиве.

Теперь мы знаем, что у нее при себе было больше, чем думал Андрей Федорович Достоевский, т. е. была почти законченная книга “Генеалогическое древо Достоевских”, а также какие-то записи писателя или их пересказ, фальсифицированные во многом Евгением Тверским. Но поиск не закончен, поиск продолжается. Надо искать записи Е. П. Достоевской, если, конечно, они существовали на самом деле, а я считаю, что они все-таки были, надо узнать, кто же такой был этот Евгений Тверской, наконец, необходимо провести тщательное сравнение этого текста с уже известными текстами писателя, чтобы узнать, в какой мере их фальсифицировал Евгений Тверской. У меня же была другая задача. Я хотел лишь сообщить о том, что нового о Достоевском я нашел в архивах США.

* * *

*

Социальная сторона проблем русской экономики*

Гл. 3. Стимулирование роста среднего класса

Создав условия, защищающие средний класс от деструктивных внешних и внутренних воздействий, можно рассчитывать на то, что в стране начнутся естественные процессы переустройства социальной структуры. Однако, если пустить их полностью на самотек, они будут идти крайне медленно. В России предпринимательская традиция исторически несильна. Достаточно вспомнить, что в "пореформенный" период второй половины XIX века русское купечество и вообще предпринимательство пользовались худой славой. "Кулаки", "мироеды", "выжиги", "тит титычи", "самодуры", "чумазы" - каких только уничижительных кличек не придумывали низы и верхи общества людям, стремившимся сколотить капитал. Да, эта публика не отличалась изяществом манер, но, в отличие от болтливой интеллигенции, "жуирующего" дворянства и до смерти боящегося отклониться от заведенных порядков крестьянства, купцы и предприниматели строили дома, заводы, корабли, мосты, гостиницы, школы, трактиры, рестораны, театры, музеи и т. п., преображая Россию на деле. Несмотря на, казалось бы, бурный рост этого социального слоя, объективно необходимого стране,

* Окончание. Начало см. в номере № 173(3)/94 "Граней".

приток свежих сил в него был недостаточно велик. Зачастую развитие целых отраслей России держалось на одном-двух энтузиастах.

Вообще следует обратить внимание на то, что в деловом мире России до 1917 года непропорционально большую долю составляли не православные великороссы - главная этнокультурная группа страны, - а староверы (особый мир с многосотлетней культурно-религиозной и бытовой традицией*), обрусевшие немцы, поляки, украинцы, евреи, множество иностранцев и проч. Основная же масса собственно русского народа предпочитала любой ценой цепляться за жизнь в деревенской общине (крестьяне), служить (дворяне и разночинная интеллигенция), проклинать капитализм (интеллектуалы и радикальные политики), даже опускаться на дно общества, и лишь в начале века, после столыпинских реформ, начались реальные сдвиги. В это время до трети крестьян вышло из общины на хутора, началась массовая организация сельской перерабатывающей промышленности, богатели деревня, бурно росли и строились города, - но было уже поздно. Недовольство трудностями переходного периода, копившееся исподволь много десятилетий, и недовольство слишком многих людей своим социальным статусом (при отсутствии массового упорства в попытках этот статус изменить собственным трудом) наложились на трудности, порожденные Первой мировой войной и ошибочной централизаторской политикой властей. Всё это сделало взрыв 1917 года в значительной мере неизбежным. И он был тем более неизбежен, что во многом хозяйство продвигалось в значительной мере в рамках кооперативного движения, в котором было очень много от прежней общины. К тому же, среди активистов сельского кооперативного движения было очень много деятелей радикально-социалистического

* См. об этом статью М. Рощина "Старообрядчество и труд" в "Гранях" № 173(3)/94.

толка, что добавляло в это движение утопизма и оторванности от реальности.

Но главная беда была в том, что в ходе экономического развития темп роста среднего класса явно не поспевал за скоростью накопления недовольства остальными социальными группами.

Всё это указывает на то, что любому сегодняшнему правительству России, если оно не желало бы повторить судьбу правительств Горемыкина или Керенского, необходимо думать о мерах, которые всячески стимулировали бы рост и развитие вожделем социального слоя. Конечно нужно отдавать себе отчет в том, что никакого многократного повышения темпов роста этой социальной группы никакими мерами добиться не удастся. Социальные процессы идут по своим далеко еще до конца не выясненным законам, и ускорение темпов перехода людей из слоя в слой на 10-15% следует считать грандиозным успехом. Но даже если последствий от принятия тех или иных мер стимулирования перестройки социальной структуры общества не будет (хотя трудности точной оценки результатов социальных процессов, имеющих множество ипостасей и зависящих от множества факторов, общеизвестны), не следует опускать руки. Необходимо сделать всё возможное хотя бы для того, чтобы при неудаче не корить себя за бездеятельность.

Зачастую, говоря о таких мерах, все надежды возлагают на приватизацию. Мол, поделим так или иначе всё между ныне живущими в стране, а там пусть каждый крутится, как знает. Дело будет сделано - каждый станет собственником и уже в силу этого представителем среднего класса. Однако есть веские основания сомневаться, что столь простое решение позволит разобраться с нашими сложными проблемами.

История человечества полна примеров "черных переделов". В основном, дело касалось переделов земли, но нередко были случаи передела всех имуществ. Иногда результаты дележа позволяли сохранить на долгие деся-

тилетия и столетия "постпередельное" положение. Но чаще было иначе - вскоре после передела происходило быстрое новое естественное перераспределение собственности с сосредоточением большей ее части в руках немногих. Не углубляясь в примеры, следует отметить что, скажем, ситуация после земельных "черных переделов" остается стабильной лишь тогда, когда в частные руки попадают мелкие участки земли, образовавшиеся вследствие дележа. Тогда объектами даже самой бурной спекуляции становятся не более 10-15% их, а основная масса участков столетиями остается собственностью одних и тех же крестьянских семей. В результате именно такого рода разделов возникает слой мелких земельных собственников - одна из опор общественной стабильности и динамичного развития, и лишь чрезвычайные события (нашествие врагов, многолетние неурожаи, эпидемии, изобретение принципиально новых сельскохозяйственных технологий и проч.) могут изменить положение.

Что же до раздела иного имущества - золота, драгоценностей, потребительских товаров, рабов, зданий и т. п., - то получившееся после дележа равенство сохраняется недолго. Добытое, например, грабежом после массовых бунтов имущество проедается, пропивается и вообще сбывается за бесценок, уходя в руки немногих оборотистых, образующих новую элиту. Социальное расслоение общества быстро воспроизводит само себя, и на повестку дня встает вопрос о необходимости нового бунта и грабежа.

Ситуация с приватизацией в нашей стране, похоже, дает возможность и благополучного (с точки зрения создания "среднего класса") исхода, но может быть и чревата социальным взрывом. Но есть еще и третий вариант. Под новыми вывесками может сохраниться старая тоталитарная структура мафиозных связей - крайне неэффективная в экономическом плане и столько десятилетий уже изнуряющая страну. Всё зависит от того, как проводить приватизацию и на чем будет сделан акцент. Яс-

но, например, что приватизация земли мелкими парцеллами с предельным размером в один-два гектара приведет к возникновению устойчивого слоя мелких фермеров. Очевидно также, что и приватизация жилья поквартирно может помочь созданию слоя мелких собственников.

Но вот уже с приватизацией торговли и бытового обслуживания не всё ясно. При неразвитости у нас банковской системы, особенно системы мелкого кредита, неудивительно будет, если малые торговые фирмы быстро попадут в финансовую кабалу к немногим "королям". Наши нынешние продавцы и заведующие, работники служб быта и прочие, не успев побыть вольными хозяевами, могут быстро вернуться в "первобытное" состояние. Каковы будут социальные последствия столь разочаровывающего для них исхода вожделенной приватизации - страшно даже представить себе.

То же можно сказать и о приватизации предприятий путем передачи их в собственность коллективам. Неэффективность подобных промышленных "колхозов" общеизвестна и очевидна. Вряд ли много времени потребуется для того, чтобы в условиях переживаемого нами острого структурного экономического кризиса они запутались в неизбежных долгах. После этого "промколхозы" станут легкой добычей финансовых "акул", которых, как уже говорилось в первой части статьи, в нашей стране неизбежно будет немного.

И еще следует отметить, что возлагать особые надежды на спасительность массового акционирования, как это делается сейчас, тоже неразумно. Допустим, что и удастся все предприятия и учреждения превратить в акционерные общества и распределить все акции более или менее равномерно между всеми согражданами. Но владение пакетом акций, как и любое пассивное владение собственностью, еще не ведет к возникновению среднего класса. Раздавая государственную собственность в той или иной форме, следует учесть ряд последствий такой разда-
чи.

Во-первых, подавляющая часть граждан страны вообще не понимает и никогда не поймет, что такое акция. Связано это не только с низким уровнем знания и понимания закономерностей и традиций рыночной экономики (это дело поправимое), но и с тем, что раздача акций малыми порциями действительно никаких обязанностей на их владельца не возлагает. У такого акционера и голос в решении дел акционерного общества мал, и доход не настолько значителен, чтобы имело смысл суетиться. А это означает, что эти люди будут аккуратно получать причитающиеся им дивиденды, а заводы, на которых они работают, и акции, которыми они при этом будут владеть, в их сознании никак не будут объединяться в единое целое. Заводы как были, так и останутся чужой собственностью для их работников-акционеров, а дивиденды будут мало отличимы ими от пенсий и пособий (достаточно вспомнить, что в свое время вознаграждение работников по итогам года получило название "тринадцатой зарплаты").

Другая, не намного меньшая часть общества, получив любые акции, постарается немедленно сбыть их с рук в обмен на возможность приобрести нечто более для них существенное. Что это будет - водка или машина, дача или квартира - неважно, главное, что после массового акционирования гигантское количество акций по дешевке будет продаваться и скапливаться в руках немногих. Таким образом быстро возникнет новая экономическая элита. Само по себе возникновение такой элиты - факт нейтральный, но только тогда, когда рядом с ней с той же скоростью (а лучше, с большей) растет соответствующий средний класс и нейтрализует неизбежное при образовании любых элит напряжение. Особенно это касается роста параллельно элите люмпенского слоя. Вот уж он-то и есть настоящий пороховой погреб, особенно в условиях бурной социальной ломки. Словом, или страна будет развиваться сбалансированно и органично, или никакого развития не будет, а будет социальный взрыв.

Всё вышесказанное о немедленной приватизации под-

водит к тому, что она, да еще тотальная, как средство решения всех проблем нашей страны, отнюдь не панацея. В деле приватизации есть вещи, которые необходимо делать "обвальню", а есть и такие, где спешка вредна. Приватизация земли и жилья мелкими порциями и по минимальной цене, а то и вообще бесплатно - это необходимость. Создать слой собственников-производителей продуктов питания, обеспечить основную массу людей каким-то минимумом собственности (и прежде всего, жилья) как социальным стабилизатором - вот цель приватизации в этой области.

Насчет приватизации крупных государственных предприятий следует прежде всего сказать, что это будет особенно долгий процесс*. Во-первых, крупным госфирмам необходимо пройти период определенной адаптации к рыночным условиям. Десятилетиями, являясь самостоятельными юридическими лицами, наши заводы и фабрики были лишь звеньями единого хозяйственного механизма. А всякий, работавший в крупной государственной фирме, знает, что в структурах такого рода личные отношения между администраторами важнее реального положения дел, само это положение скрыто за горами недостоверной информации, с которой все имеют дело и сами выдают всем окружающим. Поэтому одной из важнейших задач для любой госфирмы станет выяснение реального положения дел в ней - серьезная аудиторская проверка по общемировым стандартам необходима как воздух. Уже одно это, учитывая огромные размеры большинства госпредприятий и запутанность их дел, потребует многих месяцев работы. Но после выяснения этого вопроса встанет другой, еще более трудный. Именно крупные размеры большинства госпредприятий делают их такими неэффективными, неповоротливыми и неуправляемыми.

* Об этом же писал более 40 лет назад и проф. К. Ф. Штеппа в своей работе, опубликованной в "Гранях" № 173(3)/94.

Задача раздробления их на самостоятельные звенья не менее насущна и не менее сложна. На одну разработку планов дробления тоже уйдут многие месяцы - необходимо провести дележ так, чтобы к минимуму свести все возможные потери от неизбежной ротации кадров, перестройки структуры хозяйственных связей и проч. И делать это придется в условиях жесткого структурного кризиса экономики, массовой безработицы и высокой социальной активности людей (в том числе и работников дробимого предприятия), а также в условиях нехватки капиталов. Очевидно, что как ни дроби средний современный социалистический завод, не пренебрегая при этом требованиями здравого смысла, полученные части будут достаточно велики, а главное - дорогостоящи.

Приватизация поневоле пойдет и уже идет путем превращения госфирм в акционерные общества и распродажи акций. Этот процесс в наших реальных условиях не может быть быстрым - на покупку акций (которых будет очень много, поскольку приватизировать предстоит немало) нужны не только крупные суммы, но и соответствующие финансовые структуры. Нужны банки - кредитовать операции купли-продажи большого количества акций, нужны биржи с опытными и заслуживающими доверия брокерами, нужно множество квалифицированных экспертов для оценки положения дел в фирмах, чьи акции идут в продажу и т. п. Всё это говорит о том, что приватизация будет долговременным процессом и возлагать на нее надежды, что она мгновенно переродит общество, невозможно. Кроме того, следует помнить, что приватизация не цель, а средство, целью же является преобразование социальной структуры общества таким образом, чтобы получить сбалансированный и целостный организм. А такой организм может возникнуть в нынешних условиях только тогда, когда опережающими темпами будет развиваться средний класс.

Прежде чем говорить о конкретных мерах стимулирования роста численности этой группы, следует определить,

в каком направлении может вообще развиваться экономика России в ближайшие годы и десятилетия. Именно в экономике будут наибольшие шансы для развития столь необходимого обществу социального слоя, а значит, и меры должны быть скорректированы соответствующим образом. Часто приходится слышать рассуждение о необходимости прорыва в области новых технологий, о гигантском интеллектуальном потенциале страны, который было бы преступно не использовать. Мол, на этом-то направлении мы и войдем парадным маршем в мировую экономику и сразу встанем вровень с японцами. Да, хороших специалистов у нас немало, но большинство из них работает в специфических военно-технических областях, и еще большой вопрос - сумеют ли они переквалифицироваться.

Кроме того, достаточно высокий технический уровень экономики страны и СЭВ достигался особыми средствами. Десятилетиями шла явная и тайная закупка на Западе техники и технологий для производства всего, что руководство страны считало почему-либо необходимым. В результате, практически всё, что наша промышленность производит, является более или менее удачными копиями чужих образцов, кое-как приспособленных к нашим условиям. На это работали и гигантское министерство внешней торговли, и внешнеторговые службы других ведомств, для это старались КГБ и ГРУ и т. п. В условиях бюрократического управления экономикой многочисленные институты и КБ либо послушно выполняли распоряжения о копировании, либо, если обстоятельства позволяли инженерам, с трудом доказывали необходимость воплощения в жизнь собственных оригинальных разработок ссылаясь на зарубежные аналоги.

В итоге в стране возникла особого рода экономика, которая без постоянной подпитки извне оборудованием, материалами и даже идеями не то что развиваться, существовать не могла. Благодаря масштабным связям такого рода на плаву держались целые хозяйственные

комплексы и даже отрасли. В принципе, это было бы не так страшно, если бы часть продукции этих комплексов продавалась за кордоном и "технологический" импорт оплачивался бы прямо или косвенно из доходов от этих продаж. Именно так и живет весь мир, но для нас эта дорога закрыта. В наших условиях даже копии рождались на свет так мучительно долго и были столь низкого качества, что продукция нашей промышленности никак не конкурентоспособна. Валюту, необходимую стране для поддержания на плаву всего экономического механизма, приходилось добывать продажей сырья, и, когда в 80-е годы его запасы стали иссякать (во всяком случае в легкодоступных регионах), начался коллапс социалистического хозяйства. Из-за нехватки необходимого импорта остановки и замедления работы начали всё чаще и чаще прокатываться по целым отраслям, вызывая судорожные всплески очередей и всё новые и новые дефициты. Даже лживая советская статистика была вынуждена вот уже добрый десяток лет свидетельствовать (несмотря на все свои ухищрения) о сокращении производства большинства товаров. Все попытки подстегнуть плановое хозяйство лишь ускоряли это падение - что можно сделать с объективной нехваткой пригодного для экспорта сырья, чтобы поддержать на плаву столь громадное хозяйство, к самостоятельности не способного? Итогом этого печального процесса стали в последние годы постоянные разрывы хозяйственных связей. Их обычно сваливают на сепаратистов, националистов, амбициозных политиканов и прочих зловредных гадов. Не собираюсь умалять вины конкретных людей и организаций в каждом конкретном случае, но ведь и каждый такой случай - лишь отражение общего стремления на местах "перетянуть одеяло на себя" в условиях, когда это одеяло на глазах сжимается, как шагреновая кожа. Конечно, во всех регионах страны и на всех предприятиях администраторы, инженеры, ученые ищут способы заменить дефициты суррогатами, но пока что наше хозяйство не так уж поворотливо.

Чем же всё это может кончиться? Ясно, что в стране со столь многочисленным населением и столь разнообразными и пока еще не до конца израсходованными природными ресурсами полная остановка всех производств может произойти только вследствие военных действий. Поскольку ни нападения американцев, ни рейдов большевистских армий на горизонте не проглядывается, то этот вариант оставим любителям политических триллеров. Гораздо более вероятным представляется другое - ограничение возможностей импортировать необходимое из-за рубежа приведет к резкой примитивизации выпускаемого нашей промышленностью товара. Если сейчас, худо-бедно, всё, что у нас продается (с учетом чудовищно низкого качества, дизайна и проч.) схоже с мировыми образцами, то усиливающийся разрыв хозяйственных связей - прежде всего с зарубежьем, а затем вследствие этого предприятий страны между собой - заставят перейти к выпуску грубых и примитивных изделий, что, видимо, отбросит нашу экономику по уровню к 50-60-м годам. Высвобожденные производственные мощности заводов оборонного профиля могут несколько смягчить этот регресс, но это будет происходить медленно, и резкое отступление от достигнутого технического уровня неизбежно.

Но это означает, что высвободятся миллионы достаточно высококвалифицированных специалистов. Если же помнить об идущем сейчас необходимейшем процессе остановки ВПК, ставшем невыносимым бременем для страны, то вот и еще миллионы и миллионы потенциальных и реальных безработных. Конечно, кто-то из них эмигрирует, на время или навсегда, кто-то найдет свое место в совместных предприятиях высокой технологии (такие, хоть и в небольшом числе, всё же появляются в нашей стране), но большинству, что называется, "не светит" найти себе место, аналогичное прежнему по своей технической и социальной значимости. До серьезного возрождения научно-технического потенциала страны пройдут годы и годы, а вот его неизбежный крах не за

горами. Следует прежде всего понять, что большинству нынешних технических интеллигентов предстоит начать всё с начала и нужно думать не о том, как лучше использовать их знания, а о том, какие отрасли вообще будут развиваться в нашей стране в ближайшем обозримом будущем и как "пристроить" высвобожденных людей именно в них.

Прежде всего речь может идти о тех сферах деятельности, которые много десятилетий были "в загоне" под влиянием господствовавших в стране коммунистических догм. Во-первых, это область работы на индивидуального потребителя. Десятилетиями магазинов у нас было ровно столько, сколько угодно торговцам, заведений сферы бытовых услуг - тем, кто там работает и т. п. В результате в этих отраслях у нас занято по меньшей мере вдвое меньше людей, чем в любой некоммунистической державе. Именно эти отрасли и являются наиболее перспективными с точки зрения как трудоустройства "лишних" людей, так и с точки зрения общего развития экономики - как его локомотив.

И еще одной отрасли предстоит бурное развитие - это сфера частного грузового и легкового извоза. Система крупных автобаз и автопарков с их обилием контролирующих и руководящих чиновников, варварским использованием техники и невниманием к заказчику полностью себя дискредитировала. Не случайно уже сейчас, несмотря на все трудности, всё больше появляется частных грузовиков и такси, а прежние государственные структуры всё активнее пытаются трансформироваться. В будущем и этой отрасли предстоит развиваться достаточно бурно - ведь на смену прежним гигантским заводам и торговым центрам всё больше приходят небольшие производственные и торговые структуры. А это значит, что сеть транспортных связей страны станет в ходе идущих процессов экономического трансформирования куда гуще нынешней. Для обеспечения необходимой густоты потребуются новые шоферы, грузчики, диспетчеры, экспедито-

ры, приемщики заказов, агенты по рекламе и т. д. Люди потребуются в куда больших количествах, чем сейчас занято в этой сфере, считая и всех чиновников.

Можно было бы назвать и еще несколько областей, где могут быть использованы высвобождающиеся руки, например, не в последнюю очередь область художественных промыслов, даже если результатом будет массовый "кич" (об этом более подробно см. первую часть статьи в предыдущем номере).

Но, наконец, нельзя забывать такую "рукоёмкую" область труда, как сельское хозяйство. Очевидно, что большинство ныне занятых в нем в ближайшие 10-15 лет покинет его естественным путем. Одни в силу возраста - львиную долю сельского населения составляют люди пенсионного или предпенсионного возраста. Другие - от пьянства, деревня больна этим недугом в гораздо более тяжелой форме, чем город. А состояние сельского хозяйства в нашей стране таково (наличие техники, применяемые технологии, породы скота, сорта растений и проч.), что для обеспечения страны продовольствием в ближайшие десятилетия нам потребуется занять в этой области не 10-15% трудоспособного населения, как в развитых странах, а 20-25%, а то и больше.

Очевидно к тому же, что в ближайшие годы колхозам и совхозам придет естественный конец. Если казна перестанет их поддерживать на плаву дотациями и списанием долгов, а начнет, наоборот, все долги жестко взыскивать (это уже началось и будет продолжаться далее - как бы ни менялись правительства, необходимость стабилизировать финансы и победить инфляцию этого потребуют), то большинство колхозов и совхозов обанкротится и пойдет с молотка. Видимо, в ближайшие годы следует ожидать начала процесса массовой замены системы крупных на систему мелких ферм, и именно сюда может уйти огромное количество трудоспособного населения. Причем не только в собственно фермы - нужны будут и сезонные рабочие (батраки), и сотрудники служб помощи фермерам

(ремонтники, агрономы, ветеринары, посредники и проч.), и занятые в сфере бытового обслуживания сельского хозяйства. Уже сейчас начался процесс оттока части горожан в деревню, и хотя пока это еще тоненький ручеек, но всё (от потребности страны в продовольствии до сокращения военной и машиностроительной промышленности) говорит о том, что с годами он неизбежно будет полноводнее.

А в заключение обзора наиболее перспективных, с точки зрения возможностей экономического роста, отраслей необходимо отметить, что всё это обилие лавочников, ремесленников, фермеров, мелких производств и прочего, которое неизбежно появится в ближайшее время, потребует множество посредников для того, чтобы связать всех их в единый хозяйственный организм. Коммерческое посредничество уже сейчас (несмотря на все трудности и дискриминационные меры по отношению к нему как коммунистов, так и значительной части "демократов") - одна из самых бурно растущих новых отраслей. А ведь впереди еще более "блистательные" перспективы. К тому же у нас весьма слабо развита финансовая сфера. А банки, ссудные кассы, кредитные общества и прочие финансовые институты являются, по сути дела, структурами финансового посредничества между покупателями и продавцами, и для развития эффективных и производительных отношений между последними неизбежно потребуется опережающий рост банков и других финансовых механизмов.

Конечно, помимо вышеперечисленных отраслей в условиях радикальных экономических реформ будут развиваться и иные направления хозяйственной деятельности. Но именно вышеперечисленные будут расти опережающими темпами и, видимо, им предстоит стать "локомотивом" такого развития. Причем при любом ходе преобразований дебютантам, начинающим работу в этих отраслях, не придется годами осваивать основы мастерства, а это очень важно с социальной точки зрения. Высвобождаемой рабочей силе, увольняемой со ставших

ненужными стране производств, важно одно - чтобы переучиться на новую профессию можно было быстро. В большинстве своем это будут люди солидного возраста и каково им будет годами находиться в школярском положении. Поэтому необходимо принять все меры для того, чтобы как можно быстрее развивались именно вышеуказанные отрасли, в которых освоение специальности требует относительно мало времени.

Какие же это могут быть меры? Очень часто возлагают большие надежды на налоги. Обеспечив льготные условия избранным отраслям, надеются при этом получить их быстрый рост. Но налоговая льгота - фактор, действующий достаточно сложно и вызывающий, помимо прямых последствий, всевозможные побочные эффекты. Далеко не всегда можно правильно предугадать, к чему приведет та или иная налоговая льгота, и нередко установление фискальных послаблений проявляется совсем не там, где его ждут. Для нашей же страны политика налоговых послаблений представляется сомнительным путем, ибо для ее проведения нам необходимо прежде всего многочисленное ЧЕСТНОЕ чиновничество! А уж российская традиция и особенно коммунистические традиции таковы, что нельзя рассчитывать на появление такого рода людей в сколько-нибудь достаточном количестве в обозримом будущем. И ныне находящиеся на ответственных постах люди, и те, кто в ходе происходящих в стране преобразований приходит им на смену, в значительной своей части не упускают возможности извлечь из любой ситуации пользу для своего кармана.

Поэтому представляется более перспективным для стимулирования мелкого и среднего предпринимательства делать упор не на льготы, а на применение более простых форм фиска, затрудняющие чиновничий произвол. Одна экономия на ведении бухгалтерского учета и соблюдении правил уплаты налогов дала бы малым формам экономики немалые льготы. Конечно при этом процедура выдачи разрешений на занятие тем или иным промыслом должна

быть изначально законами и правительственными установлениями сведена к фактической покупке этих разрешений без права чиновников отказать в этом - иначе мы придем к тому же, от чего пытаемся уйти.

Но зарождающиеся малые и средние фирмы нуждаются в финансовых вливаниях: начинать на пустом месте с голыми руками и дырявым карманом практически невозможно. В то же время сейчас условия получения кредита крайне неблагоприятны. Коммерческие банки, в которых частное лицо могло бы получить кредит, крайне немногочисленны и поэтому работают только с узким кругом клиентов (больше им не освоить) и дерут с них (из-за малой конкуренции в этой отрасли) безумные проценты. Госбанк, курирующий их работу, сам кредитует коммерческие банки под высокий процент. Фактически последнее время кредиты дают только на несколько месяцев для обеспечения лишь торговых операций - ни о каких инвестициях не идет и речи.

Что же необходимо предпринять для того, чтобы снизить банковский процент в стране до приемлемого уровня? О мерах по борьбе с бюджетным дефицитом и инфляцией особо распространяться не стоит - тема эта уже навязла у всех на зубах. Но есть еще один, почти не затрагиваемый аспект - это проблема развития банковской сети. Сейчас в стране всего несколько сотен коммерческих банков, тогда как при численности населения в России их должно быть несколько десятков тысяч всех видов - крупных, средних и мелких. Только доведя число банков до примерно этого уровня, можно надеяться на то, что из-за их конкуренции банковский процент опустится до приемлемого уровня, а сами банки в борьбе за клиента станут действовать куда оперативнее, чем сегодня, когда деньги со счета на счет перечисляются чуть ли не месяц. Решить эту проблему можно только путем принятия мер стимулирования роста банковской деятельности, прежде всего путем создания стимулирующей регламентации порядка формирования банков. И опять упор должен делаться на

мелкие структуры: малые банки, кредитные товарищества, ссудные кассы и т. п. Мелкому предпринимателю легче иметь дело с мелким же банкиром, лично ему знакомым. Тогда ему не придется доказывать, что он не верблюд, как это неизбежно потребуется в любом крупном кредитном учреждении перед лицом любого клерка, страхующегося от гнева начальства. Одновременно развитие сети мелких банков и рост числа банкиров этого типа - это и есть развитие одной из тех социальных групп, что составляют средний класс. Сами же малые кредитно-финансовые учреждения станут той органической прослойкой, которая свяжет мелкий и крупный бизнес в единое естественно развивающееся целое.

Во всех странах мира развитие мелкого и среднего бизнеса сталкивается с примерно одним и тем же кругом проблем. Это нехватка финансов, знаний, трудности "обзаведения" (оборудование, помещение, материалы и т. п.), а также проблема сбыта продукции. Везде эти трудности имеют свой специфический характер и везде они преодолеваются по-своему. Особого разговора сейчас заслуживает проблема квалификации мелких бизнесменов и проблема дебюта предпринимателя.

В общем-то, это относительно простая задача. Опыт дореволюционной России говорит о том, что даже в малограмотной стране возникновение объективной потребности в большом количестве образованных специалистов вызывает ответное общественное движение. Тогдашняя популярность воскресных школ, лекториев и просветительских курсов, огромные по тогдашнему времени тиражи и большое разнообразие самоучителей, массовость профессии репетитора - всё это говорит о том, что даже слабость государственной и муниципальной системы образования не в силах помешать удовлетворению настоящей общественной потребности.

То же происходит и сейчас. Справочники и учебники по экономике, бухгалтерскому учету, маркетингу, иностранным языкам и т. п. идут на книжном рынке наравне с

самыми "крутыми" детективами и самыми пряными эротическими книжонками. Платные курсы всех сортов плодятся на глазах. Единственное, что следовало бы в этих условиях делать государству (кроме, конечно, поддержания на плаву существующих государственных образовательных структур) - это не облагать налогом частную деятельность в сфере образования, особенно в области экономического образования. При том чудовищном невежестве общества в этой области знаний (что порождено семью десятилетиями тотального пропагандистского оболванивания и "железным занавесом", отделявшим страну от информации о развитии мировой экономической науки) любая деятельность такого рода должна приравняться к благотворительности.

С точки зрения развития слоя мелких предпринимателей, малых фирм и вообще среднего класса, частная система образования - одно из перспективных направлений. В этой сфере действуют малые коллективы с численностью не больше, чем несколько десятков человек. Разве что вузы с их сложным и дорогостоящим специализированным оборудованием для профессионального обучения выбиваются из этой общей закономерности. Если учесть, что несколько десятилетий в нашей стране велось целенаправленное укрупнение всего, в том числе и структур системы образования, то в ближайшие годы нас, видимо, ждет бурный рост малых школ и курсов для взрослых и детей, причем в основном - частных. Давая знания в тех областях, о которых государственные структуры даже не думают (или не в состоянии ими заниматься), в том числе и в области экономики и бизнеса, они сами будут являться динамично развивающейся отраслью предпринимательства и заложат основу для роста других отраслей такого рода.

Заключение

Последние несколько лет мы живем в состоянии перманентного распада. Неизбежность его внимательным

наблюдателям была очевидна давно. Уже лет двадцать нет недостатка в серьезных и аргументированных предупреждениях и аналитических исследованиях причин и сроков наступления поджидавшей СССР катастрофы. Но, как большинство неприятных вестей, эти кассандровы пророчества ни советским обществом, ни окружающим миром не были услышаны. Как ни удивительно, самыми чувствительными к ним оказались "вожди Советского Союза". Правда, к этому их привели несколько значительных военных и военно-технических неудач: разгром израильянами наших сирийско-ливанских союзников в очередной ближневосточной войне 1982 года, провал афганского блицкрига и превращение победоносного похода на Кабул в затяжную войну с партизанами в условиях горной страны, ряд других событий, продемонстрировавших безнадёжную слабость нашей системы ПВО и радиотехнического оснащения армии (история с корейским пассажирским самолетом, так и сбитым неопознанным, несмотря на многочасовые блуждания в воздушном пространстве страны, дело Маттиаса Руста и др.), неспособность нашей промышленности создать ряд военно-технических систем необходимого уровня (так и не появились удовлетворительного качества аналоги американских систем типа "Авакс", ничего не вышло с отечественной СОИ и проч.) и т. п. Всё яснее и яснее становилось, что военное отставание СССР нарастает и вот-вот может появиться оружие, нейтрализующее не только наши многочисленные обычные вооруженные силы, но и главный козырь коммунистической власти - ракетно-ядерный "щит". Несколько попыток подхлестнуть экономику рычагом реорганизаций (в брежневские времена), кнутом репрессий (борьба за дисциплину при Андропове или с пьянством при Горбачеве) да пряником инвестиций (политика "ускорения" при премьере Рыжкове) только вконец расшатали финансы страны и истрепали и без того одряхлевшие основные фонды промышленности. Стало ясно, что на пути традиционных (для коммунистов) решений выхода нет.

Почему из всех мыслимых способов выхода из кризиса очередным генсеком был выбран метод либерализации режима (гласности и демократии)? Только ли в "шестидесятничестве" Горбачева или Яковлева дело, только ли проблема в том, что остальное было (или казалось) исчерпано? Представляется, что помимо этих причин, несомненно сыгравших свою роль, была еще одна. Раньше или позже среди череды борющихся за власть кремлевских лидеров нашелся бы один, которого к либерализации толкнуло бы не только давление объективных обстоятельств, не только его субъективные качества, но и используемые им методы "борьбы под ковром".

После стольких десятилетий относительно спокойного существования (период этот наступил со смертью Сталина) партократия из аппарата, в котором каждый был только за себя, превратилась в сплоченный слой, пронизанный тысячами нитей: клановых, родственных и дружеских связей. Оружие репрессий в такой системе становилось чрезмерно обоюдоострым для того, чтобы применять его в борьбе кланов за власть. А без него любая интрига не может кончиться ничем - каждый заговор обязательно кончится соответствующим антизаговором - ведь в структуре партократии все друг с другом связаны, и информацию о любых действиях любой группы против кого бы то ни было утаить невозможно.

Требовалось новое, нестандартное оружие в борьбе клик, и Горбачев его нашел. Целью интриг он сделал не непосредственное снятие с поста того или иного своего врага, а публикацию порочащих его материалов. Использовано было при этом старое правило советской внутренней политики - если о ком-то появлялась статья в газете или что-либо подобное, значит судьба его уже решена. Хвалебная статья - вскоре герой будет вознесен и обласкан, ругательная - значит, ждет его беда. Особенно страшно становилось подвергнувшемуся критике партбосу и всем его друзьям тогда, когда не удавалось найти источник появления статьи. По неписаному правилу номенклатуры, это всегда означало, что судьба несчастного

решена на самом "верху", и никому не дозволено вмешиваться в это дело. Моральная стойкость партocrats известна - от жертвы критики отшатывались все, и ему оставалось только смириться и уйти на пенсию в надежде на то, что этим всё кончится. Были ли критические статьи и передачи о тех или иных секретарях обкомов, министрах или председателях комитетов отражением реального соотношения сил в Политбюро или это был блеф горбачевской группы - неясно, да в общем-то и не так важно. Главное в другом - для того, чтобы незаметно для своих противников организовать появление того или иного материала, журналистам надо было "удлинить поводок". Пресса должна была печатать множество резких критических материалов, и тогда на фоне ее "распоясанного" поведения необходимые материалы появлялись как бы сами собой. Ведшему интригу оставалось только вовремя и в нужном месте вспомнить об очередном критическом материале и обрушить гнев на "пропечатанного". Дальше срабатывали "партийные" рефлексy, и меченного с удовольствием "съедали" вчерашние его коллеги.

Однако, ослабление тисков цензуры потребовало дополнительных мер. Пришлось притормозить КГБ - иначе те же журналисты вели бы себя чрезмерно (для удачной маскировки интриг) осторожно. А ослабление репрессий позволило интеллигенции создать и развить систему политкружков и клубов разных направлений. Говорят, что инициированы эти клубы были самим КГБ по команде сверху - что ж, очень может быть, но результат оказался для нашей охраны обескураживающим. Клубы и кружки эти стали местом постоянных встреч и объединений "антисоветски настроенных лиц", втянули в свою орбиту больше людей, чем было под силу контролировать чекистам, и в стране, впервые за десятилетия, появилась более или менее организованная оппозиция режиму. Конечно и с этим можно было бы справиться несколькими крупномасштабными полицейскими акциями, но не позволили обстоятельства. Власть оказались в тупике перед очень непростым вопросом - что делать с этой оппозицией и

какими методами с ней бороться? Спустить на нее КГБ с цепи - тогда при необходимых масштабах репрессий неизвестно, удастся ли его проконтролировать. Партократическая верхушка хорошо помнила приход в 1982 году к власти шефа этой организации Андропова и устроенную им кадровую перетряску и понимала, что с охранкой лучше не рисковать даже партбоссам из высших эшелонов власти. К тому же всё острее была нужда в западных займах - нефтяные реки (наше главное богатство последних десятилетий) мелели на глазах, да и сама нефть дешевела. А западные правительства под давлением своей общественности соглашались давать займы только в обмен на "хорошее поведение", то есть при условии ослабления репрессий.

Два этих фактора дали оппозиции время, и она смогла организовать и своей неустанной пропагандистской работой размыла некогда монолитное коммунистическое общественное сознание. Силы оппозиции были мизерны - митинги численностью от нескольких десятков до нескольких сотен или тысяч человек, выступления в небольших залах на две-три сотни мест, листовки и газеты, нелегально выпущенные тиражом не более 5-10 тысяч штук - всё это казалось ничтожным по сравнению с многотысячными и многомиллионными тиражами коммунистической прессы, рядом с господством коммунистов на радио и телевидении. Но сам факт существования оппозиции не в тюрьме заставлял компартию вступать в дискуссию, пусть даже она велась совершенно непристойно. Публиковались заведомо не допускающие возможности дать слово оппоненту "критические" материалы, выпускались в свет откровенно клеветнические статьи и передачи и т. д. Но, начав дискуссию, идеологи КПСС были вынуждены хотя бы обиняком информировать читателей, слушателей и зрителей о сути взглядов своих противников, и оказывалось, что идеи коммунизма на фоне самого искаженного и огрубленного изложения антикоммунистических идей выглядят самым жалким образом, а откровенная ложь "разоблачительных" статей делает оппонентов в

глазах широкой публики лишь более привлекательными. Тотально охватывающий все области жизни марксистский монстр стал на глазах отступать, оставляя всё новые и новые сферы жизни. Началось всё с идеологии, а затем шаг за шагом дело шло всё дальше. Любые попытки коммунистов сопротивляться лишь ухудшали их положение. В открытых дискуссиях они выглядели позорно, репрессии только придавали их противникам ярость отчаяния и привлекали в ряды оппозиции новых людей, а реформы в стране и внутри КПСС всё больше превращали "орден меченосцев" в нечто среднее между дискуссионным клубом и коммунальной кухней. Теоретики яростно спорили по любому поводу, практики немедленно начали выяснять, кто в ходе идущих процессов окажется самым виноватым или лишним, а рядовые члены партии тихо отходили в сторонку, перестав бояться отчаянно дерущихся между собой коммунистических "панов" и не рассчитывая на прежние льготы и поблажки. Затеявший всё это генсек был уже и сам не рад тому, что ввязался в перестройку, но игра требовала ходов, он суетился, а политическая общественность всё активнее организовывалась и размежевывалась.

Наконец, наиболее высокопоставленные и оголтелые защитники коммунистических традиций попробовали в августе 1991 года покончить с этим силой. Но оказалось, что коммунистические идеи, под прикрытием которых они боролись за власть, сгнили до основания и мало кого привлекают. У августовских мятежников не оказалось не только сторонников и сочувствующих, но даже не нашлось в достатке людей, готовых беспрекословно и точно выполнять их приказы. Войска и полицейские службы заговорщиков всячески тянули с выполнением приказов, а антикоммунистически ориентированные органы власти по всей стране (главный объект атаки ГКЧП) оказались в кольце защитников-добровольцев, число которых росло с каждым часом и днем мятежа. После его поражения рухнула не только личная карьера гекачепистов, но и вся та структура, на коей в СССР держалось всё - рухнула КПСС.

Но вот тут-то и пришлось всем признать то, что до поры до времени признавать не хотелось: вместе с компартией распадается и созданная ею страна. Из четырех китов, на которых стоит любое государство: общая идея совместного бытия, общая культура, общий язык, общая экономика - в живых не оказалось ни одного. Коммунистическая идея, цементирувавшая одну шестую часть суши, умерла, не оставив достойного по силе и влиянию преемника. (Мелких наследничков-то сколько угодно, но притягательной силой покойницы не обладает никто из них!) Жившие в СССР народы один за другим стали отвергать служивший средством общегосударственного общения русский язык и начали поднимать на щит свои языки. Советская культура (несомненно существовавший, крайне любопытный и исторически важный общественный феномен) рассыпалась в прах, оставив, кроме немногих безусловных достижений, кучу зловонных отбросов. Что же до экономики, то ее централизованный характер позволял верховным властям строить хозяйственную машину страны так, как это им было наиболее выгодно. Собранное в один кулак сырье продавалось за границу и на вырученные средства покупалось всё необходимое для того, чтобы строить и поддерживать на ходу систему экономических связей, удобную не для обитателей государства, а лишь для управленческой верхушки. Эта система связей позволяла прочно держать в руках власть, удовлетворять материальные потребности верхов, создавать мощную армию и подкреплять ею почти любые международные акции, вообще приумножать число руководящих должностей и этим укреплять руководящий слой страны. Но как только относительно легко доступное сырье стало иссякать и тем более когда цены на него на мировом рынке стали падать - вся структура сложившихся хозяйственных связей стала распадаться. Из-за нехватки импортных компонентов стал снижаться выпуск множества видов продукции, вызывая лавинообразный рост числа сбоев во всей экономической системе. Местные власти стали всё чаще ограничивать отправку произведенных на подведом-

ственной им территории товаров за ее пределы, стремясь в первую очередь решить задачи своего региона, и вызывали этим ответные меры, также нараставшие лавиной. По существу экономика СССР умирает на наших глазах и лишь ее огромные масштабы не позволяют произойти мгновенной катастрофе.

В условиях всеобщего распада наивно рассчитывать удержать (пусть даже в неявной форме) единство того, что было СССР. Апелляция к героическим воспоминаниям, ссылки на будущее, неизбежные при распаде потрясения, экономические резоны - ничто не находит отклика. Да это и неудивительно: героические воспоминания для одних - память унижений и позора для других, потрясения есть и сейчас, когда мы так или иначе вместе, а для экономических резонов мы слишком плохо еще ощущаем свой коммерческий интерес. В таких обстоятельствах только новые идеи могут сплотить людей. В этом смысле сейчас в лучшем положении находятся те народы бывшего СССР, которые волею обстоятельств так или иначе оказались противопоставлены центру. Имея собственные государственные структуры и структуры власти, десятилетиями ссылавшиеся на "волю Москвы", они теперь имеют "на вооружении" национальный миф о том, как бы им было хорошо, если бы не Кремль и русские. И какие бы интернационалистские одежды ни надевала на себя коммунистическая власть, одно использование ею русского языка автоматически превращало ее для нерусских народов во власть русскую. С этим субъективным мнением, как бы неверно оно ни было, поделаться ничего нельзя, и ссылки на то, что коммунисты только формально русские, что русскому языку, русской культуре и русскому народу от них досталось не меньше - бесполезны, их не слышат. Ну, а уж если в истории народа есть полоса репрессий по национальному признаку или хоть какая-то память о собственной государственности - национальный миф будет торжествовать победу в сознании миллионов. Люди, сплоченные этим мифом, будут готовы перенести очень многое для строительства своего собственного национального

очага, и ни репрессиями, ни пропагандой изменить их сознание будет невозможно.

Россия оказалась в гораздо худших условиях. Полбеда, что это такая же федерация, как и СССР, а значит, и проблема автономий для нее не менее болезненна, чем проблемы союзных республик для Союза. В крайнем случае (чего, конечно, вовсе не хотелось бы), эта проблема может быть решена путем отторжения "строптивных" народов вместе с занимаемыми ими территориями. Главная беда в другом - России нечем заменить идею умершего коммунистического СССР. Русский народ так или иначе отождествлял себя с СССР, а этот Союз - с Россией, сложившейся тысячу лет назад. После того, как авантюризм и неспособность союзных властей целиком и полностью дискредитировали идею Союза, у России не нашлось эквивалентной ей замены. Историко-культурные реминисценции, на которые так часто пытаются опереться многие политики, оказывают влияние лишь на малые, в основном интеллигентские группы. Сейчас у России есть вера в лидера - Б. Н. Ельцина, есть группирующиеся вокруг него авторитетные личности, но для выживания страны этого мало. Чисто государственнические идеи не находят практически никакого отклика в массах, тем более, что большинство "государственников" так откровенны в своем стремлении занять должностишку в обновленном их трудами государственным аппарате, что становится противно на всё это смотреть.

Беда России еще и в том, что за прошедшие 75 лет мы все так привыкли быть под опекой власти, что и сейчас лихорадочно ищем себе покровителей, а национального подъема, который у народов бывших союзных и многих нынешних автономных республик отчасти нейтрализует эту чисто социалистическую черту, в России не наблюдается. "Национальный миф" вселяет в людей чувство уверенности в своих силах, хотя надо честно отметить, что утопические расчеты типа "заграница нам поможет" характерны для всех частей бывшего Союза. Но нероссийские государственные образования хотя бы собираются

отстаивать любой ценой свое единство и целостность. А вот в России гигантская территория населена людьми, которые в большинстве своем не знают ни своего прошлого, не ощущают общих интересов. В стране рвутся хозяйственные связи, умирает советская и еще не родилась российская культура, каждый крупный город живет в основном за счет ближайшей округи и импорта, а межрегиональные экономические связи и разделение труда ограничиваются участием в работе военно-промышленного комплекса. Разные регионы России в таких условиях естественно стремятся к отделению друг от друга. Автономии делают это открыто путем "суверенизации", области и города - добиваясь статуса свободных экономических зон с такими правами, что последствия их притязаний очевидны. Причем все начинают активно искать союзников за рубежом и, похоже, небезуспешно. В конечном итоге всё это может привести к распаду России на ряд "удельных княжеств", и история великого государства на этом закончится.

Можно ли противопоставить что-либо этой объективно существующей тенденции? Идей сейчас ходит множество, но если пренебречь мелкими различиями, то все они распределяются по трем группам. Это идея реставрации под тем или иным соусом коммунистической империи, идея установления этнократической диктатуры и идея строительства либерально-демократического государства. Именно эти идеи наиболее известны, именно о них говорят больше всего и именно в указываемых ими направлениях ищется выход.

Однако представляется, что все эти идеологические направления ведут в тупики. В самом деле, хотя коммунисты всех мастей и совершенно правы, когда говорят об идущем на наших глазах расслоении общества, они не хотят видеть, что расслоение - неизбежный этап, обеспечивающий основу для любого социально-экономического подъема. Они проливают слезы над могилой СССР, но кто, как не они сами довели страну, управляемую ими, до этого. В целом, все коммунистические партии, родившиеся на

развалинах КПСС - это организации, состоящие на 4/5 из стариков. По естественным причинам они обречены на исчезновение, но сколько до этого они успеют напакостить?

Не менее нелепы рецепты "национал-патриотов" и смыкающихся с ними всё больше "патриотов-имперцев". Да, все они верно отмечают, что идет распад государства, но не хотят видеть, что это, увы, естественный процесс. Держава на 1/6 части суши стояла на коммунистической идеологии, а в экономическом плане была объединена только военной промышленностью, да еще общими источниками некоторых видов сырья. После того как стало очевидно, что коммунистическая идеология ведет к гибели миллионов и десятков миллионов жителей страны, разрушает ее мораль и культуру, что военная промышленность есть лишь имитация кипучей деятельности военными и промышленными генералами, а армия, в результате, не способна выполнять свои прямые задачи - идеология умерла, а ВПК был лишен первоочередного финансирования и снабжения. Но оказалось, что больше ничего всерьез не связывает регионы СССР, и каждый из них в основном обеспечивает себя своими силами. Истошающиеся же запасы сырья вызывают столь острые межрегиональные споры об очередности снабжения, что никакому самому хитроумному правительству не удастся найти компромисс. В таких условиях естественно возвышение националистических идей и победа их в сознании самых приземленных советских граждан. Противостоять этим тенденциям силой - а именно это предлагают почти все "патриоты" - невозможно: ведь само проявление силы укрепляет желание регионов отделиться. Так что, чем активнее будут действовать наши "патриоты" всех мастей, тем более они будут дискредитировать саму идею единства и тем сильнее будут тенденции к распаду России. Тем более, что проповедуемые большинством партий и движений этого направления принцип национальной исключительности открывает завесу над истинными устремлениями активистов этих течений. Все высокие слова произносятся, в конце концов, для того, чтобы обеспечить себе преимущество при заня-

тии должностей в аппарате центральной власти, о возрождении которой и идет речь под прикрытием лозунгов о величии державы и ее военной мощи.

К сожалению, ничуть не лучше ведут себя и наши либеральные демократы - в виду имеется, конечно, не фиктивная партия Жириновского, а политическое течение, представленное широким спектром партий, движений и групп, от "Демократической России" до ДДР. В экономике они главным образом надеются на либерализацию внешне-экономической деятельности. Выше уже было показано, к каким ужасным последствиям может привести Россию слепое следование принципам фритредерства. К несчастью, в демократическом движении тон задают во многом университетские преподаватели гуманитарных наук. Вроде бы они люди, более других сведущие, особенно если речь идет об экономистах, в том, "как государство богатеет". Но вот беда - марксистское воспитание не дает им увидеть реальность, а прорывы "демократов" к власти в последнее время лишили их и желания сделать это - зачем, если власть и так в руках? В результате архинеобходимые вещи, вроде либерализации цен и оздоровления финансов, встречаются нашими "демократами" в штыки - ведь порожденные этими мерами социальное напряжение и недовольство приходится принимать на свои плечи именно всевозможным "демократическим" мэрам и советам. В то же самое время при определении направления внешнеэкономической политики страны, темпов и характера приватизации и прочего - эти же люди из всех сил пытаются ухватить и начать распределять самые лакомые куски! В результате своекорыстие одних и глупость других "демократов" ведут к тому, что страна идет к катастрофе не менее быстро, чем если бы у власти оставались коммунисты или ее захватили бы "патриоты".

Среди перечисленных идеологических направлений намеренно до поры не было упомянуто не такое уж и слабое "государственничество". Государственники всех сортов заявляют, что ключ к счастливому будущему страны в сохранении сильного государства и необходимо

все силы бросить именно на это. Однако, с таким призывом выступают столь разные течения, что поневоле задумаешься - а о стране ли речь? Ведь государственниками объявляют себя и откровенные коммунистические провокаторы из депутатской группы "Союз" бывшего парламента СССР, и партии типа КДП-ПНС, ДПР, НПСР ("руцкисты") и РХДД, а уж "коричневые" все до единой группы утверждают, что "государственничее" их быть невозможно. Всё это поневоле заставляет думать, что государство для них для всех - лишь средство достижения своих целей и осуществления своих идей.

На деле же государство - форма, в которой находит себя общественное согласие народа страны. Наиболее эффективной на данном этапе человеческой истории представляется, судя по мировому опыту, такая форма государства, как демократическая республика с системой разделения властей и политическими и экономическими свободами. Но форма - ничто без содержания, а оно - это прежде всего согласие граждан жить вместе по тем или иным причинам. Если такового согласия нет - никакая, самая прочная, жесткая и даже жестокая форма не удержит страну в единстве.

Любое общество объединяется только тогда, когда ощущает опасность. В мирной обстановке единство вроде бы и ни к чему, и каждый рассчитывает только на себя. Веками и тысячелетиями человечество знало лишь три вида опасностей для общества: внешнюю военную, внутреннюю уголовную или политическую, а также опасность от буйства стихий. Вторая и третья остаются и сейчас, а методы борьбы с ними практически (если не считать отличий, вызванных развитием техники) те же, что и тысячу лет назад. Что же до внешней опасности, то военная, оставаясь реальностью, как-то теряет свою остроту. Оружие массового уничтожения делает решение международных проблем военным путем практически невозможным. Но и отказ от его использования не намного меняет дело. Современная военная техника превращает войну равных в изнурительное состязание, где каждый частный

успех одной стороны ведет к контруспеху другой вскоре после этого, так как наступающий немедленно подставляет под удар свои тылы и коммуникации. Но даже если военная фортуна благоволит к одной стороне (или она намного сильнее другой), то боевые успехи дают сомнительные плоды. На завоеванных территориях начинают действовать разные "неуловимые мстители", а ведь современные средства связи, транспорта, техника фальсификации документов, наконец, современное оружие (автоматы, пластиковая взрывчатка, радиоуправляемые мины и прочее) позволяют нескольким десяткам человек держать в напряжении целые страны и даже сообщества. Для их обезвреживания приходится задействовать многие тысячи и десятки тысяч солдат и полицейских, изнуряя страну-победительницу, в то время как "неуловимые", нанеся удар, бесследно исчезают в джунглях, горах, лесах, пустынях и городских квартирах.

Но на смену военной опасности приходит новая - прежде всего опасность экономической и культурной экспансии других, по каким-либо причинам в данный момент более динамичных стран. Чем это может закончиться - было показано выше. Что же до средств противодействия этому, то о технических сторонах этих проблем тоже было уже говорено. Однако, главное в таком противостоянии деструктивным внешним воздействиям и влияниям - это осознание обществом самого факта такой угрозы. До этого никакие самые мудрые шаги правительства, никакие самые доходчивые проповеди пророков - ничто не сможет отвести беду. Борьба с этими угрозами требует от всего общества определенной самоотверженности и самопожертвования, а без осознания опасности напрасно ждать от людей этого. Наоборот, самые проникновенные призывы будут встречаться насмешками или вовсе не замечаться, а действия властей вызывать взрывы возмущения. Но беда нашей страны в том, что мы сейчас не в состоянии даже толком и ощутить грозящую опасность.

Не говорю уже о культуре - что толку стенать нам об

этом на развалинах. Старая русская культура была убита 75 лет назад и от нее осталось лишь богатое, но практически забытое и неиспользуемое наследство. Новая советская культура за эти годы прогнила до основания и сейчас, по сути дела, также мертва. Отдельные вершины, которые остались после ее крушения, мало что меняют в общей картине. Неудивительно, что на это пустое место в общественном сознании хлынул потоком международный культурный ширпотреб низжайшего пошиба, а в помощь ему стремительно подрастает свой аналогичный. Остается надеяться, что прошлое всё же сумело заложить достаточно мощный фундамент для того, чтобы на нем смогло встать новое здание будущей российской культуры, а нынешнее печальное состояние - лишь временное явление.

Что же до экономики, то после семи десятилетий информационной изоляции от остального мира страна сейчас пока не в состоянии увидеть, что развитие международных экономических связей несет не только благо, но и зло. До тех пор, пока мы всем народом не осознаем (а точнее, не почувствуем печенкой), что при любом развитии международных связей должна господствовать опора на собственные силы и стремление к первоочередному развитию внутреннего рынка - до этих пор мы, как страна, обречены не столько на вторые роли - это было бы обидно, но до поры до времени можно и потерпеть, - но, идя курсом форсированного включения в мировую экономику, мы будем иметь в стране всё новые и новые источники социальной напряженности, мы будем нищать и разрушать свою собственную страну вплоть до ее раздела.

Если же общество сумеет осознать все эти проблемы, то оно сумеет добиться прихода к власти правительства, находящегося на высоте этих задач. В противном случае нас ждет чехарда недалёковидных, коррумпированных и жестоких правителей, каждый из которых, выступая под своими знаменами и лозунгами, будет разорять Россию и дискредитировать саму идею общероссийского единства примерно так же, как власть коммунистов дискредитиро-

вала саму идею единства народов, живших на территории СССР. Ныне практически уже нет шансов на то, что кому-либо удастся собрать воедино распавшийся Союз - у большинства его народов эта мысль вызывает отвращение, а возможные союзные власти представляются источником бед и нестабильности. Если граждане России не поймут, что сохранение единства страны и противопоставление интересов всех живущих внутри российских границ интересам всех, находящихся вне этой черты, есть основа для будущего нормального развития - распад станет неизбежным. А тогда нас всех ждут многодесятилетние споры новых "удельных княжеств" между собой о границах, наследстве и прочем - то, чем занимаются сейчас так увлеченно страны СНГ. Но если в случае с СНГ речь идет о спорах властителей, опирающихся на давние межэтнические противоречия, культурно-психологическую отчужденность и старые исторические претензии, то в России речь в основном (за исключением случаев типа Чечни и Татарстана) о региональных амбициях, местническом патриотизме и узколобом провинциальном эгоизме. Как бы не несерьезно ни выглядели все эти проблемы сегодня, не обращать на них внимание нельзя: "парад суверенитетов" союзных республик тоже первоначально воспринимался с иронией. Однако, где теперь СССР и какая уж теперь ирония...

Данная работа была попыткой проследить, какие закономерности существуют в нашем экономическом и политическом развитии, какими средствами можно противостоять нежелательным тенденциям, куда необходимо направить основные усилия общества, здравомыслящих политических сил и разумных властителей. Автор мало рассчитывает на то, что его скромный труд сможет сколько-нибудь заметно изменить положение дел в России. Однако, капля точит камень не силой, но частым падением.

* * *

*

Владимир МАХНАЧ

Имперская традиция в России

1. О чистоте терминов

Первоначальный смысл понятия.

Не размером единым.

Император и монарх

Одно из самых десемантизированных понятий в современном языке - понятие "империя". Оно утратило прежнее содержание, превратилось в общепринятое наименование нечистой силы.

Трудно сказать, когда это случилось. В понятие империи не вдумывались в минувшем столетии. А в XX веке сразу заговорили об имперском мышлении, имперских амбициях. Об имперской традиции, наконец, даже не обязательно с негативной оценкой. Но собственно сущность империи оставалась за скобками. Между тем, принципиально важно обратиться к первоначальному смыслу этого понятия.

...Невозможно представить себе, чтобы империю делали таковой только ее размеры. В 1261 году Михаил Палеолог вышвырнул из Константинополя крестоносных оккупантов и восстановил империю с ее имперской столицей. Это не вызвало всеобщего восторга, но было признано всеми без звука, в том числе и на Западе. Последние же два столетия Византийской империи до турецкой оккупации - это непрерывная агония, сокращение территории. Однако даже несчастный Константин XI Драгас, павший при защите Константинополя (доказав, что он был достоин

пурпурной обуви), владевший небольшим участком земли вокруг столицы, несколькими островками Эгейского моря и небольшим кусочком в южной Элладе, безусловно, оставался для всех василевсом - в латинизированной форме, следовательно, императором.

Более того, несмотря на то, что за имперской столицей все охотились, пожалуй, имперская идея почти на два века продлила жизнь Византии, которая, не будь она империей, прекратила бы свое существование, видимо, раньше. Византия XIV-XV веков - противоестественная держава, однако она живет.

На протяжении многих веков люди прекрасно улавливали различия между императором и просто монархом. Например, величайший из исландцев Снорри Стурлуссон в своей "Младшей Эдде" детально разбирает, какие кеннинги (то есть эпитеты, иногда с оттенком славословия) полагаются императору, а какие - только конунгу, королю, а какие могут доставаться ярлу и так далее.

Теперь присмотримся к самому титулу императора. "Imperium" - это вообще высшая власть в Риме еще республиканского периода. Кстати сказать, это являлось только почетным титулом главы государства. Как лицо уважаемое он был императором, но императором *не работал*. По должности он был принцепсом, "первенствующим", подразумевалось первоначально - первенствующим в сенате. Ладно, византийский титул мало о чем говорит, ибо василевс - это просто царь. Но вот персидский монарх столетиями назывался "шаханшах" - царь царей, именно в том смысле, что есть и просто цари. Например, царь армянский, царь лидийский или даже среди чисто персидского населения - царь саксаганский. И это не единственный пример.

Забегая вперед, скажу, что империя есть нечто "с царем царей" во главе, объединяющее государства, разумеется, потерявшие часть своей независимости, в основном внешней. По этому принципу была, например, смоделирована - смешно подумать, всего лишь 120 лет назад -

германская империя. Не совсем обычная, она ведь не была многонациональной. Но тем не менее, она была составлена из независимых государств, которые сохранили определенные прерогативы, и король прусский, став кайзером Германии, оставался всё тем же королем прусским.

2. Империя и провинция

Самобытность римских провинций.

Почта, дороги, водопровод и др.

как имперские учреждения.

Русь и Касимовское царство

Может быть, нелишне отметить, что впервые автора подтолкнуло к размышлению о сущности империи.

В 1971 году был выпущен сборник в двух выпусках, которые назывались "Рабство в западных провинциях Римской империи" и соответственно "...в восточных провинциях...". Листая этот сборник, автор, еще студент, с изумлением отметил, что рабства универсального там на самом деле не существовало. Рабство из школьных учебников, толпы невольников в огромных латифундиях - это встречалось, но только в Италии и в Северной Африке, и не везде. Совершенно другим, патриархальным, мелкозладельческим, было рабство в Элладе. Оставалось ветхозаветным рабство в Иудее с обязательством отпускать рабов в юбилейные годы. А в Египте и вообще никакого рабства не было, зато имелось зависимое, "крепостное" крестьянство, из чего надлежало сделать вывод, что египетская провинция была феодальной частью Римской империи.

Автор стал вникать в детали, обратился к другой литературе и пришел к кощунственному для того времени выводу: провинции, охватывающие почти всё Средиземноморье, благополучно сохраняли несколько не поврежденный Римом уклад жизни, со своими обычаями, часто со своим законодательством, со своими неповторимыми социополитическими, социэкономическими отношениями.

Да, их связывал чисто условный, выполнявший роль государственной присяги культ императора. Ну и еще такие чисто имперские учреждения, как почта, дороги, в какой-то степени регулируемое мореплавание - к общей радости провинций. И все они были разными, хотя и не все равноправными. Наиболее уважаемыми, наиболее самостоятельными были старые римские союзники, старые римские друзья, близкие по культуре или охотно принявшие Рим. Но все жили по-разному.

Таким образом, по крайней мере Рим подсказывал, что империя не может существовать без понятия провинции, а "провинция" - это не оскорбление, а обозначение некой самоуправляемой, сохраняющей свой неповторимый облик территории.

В истории Руси классическая иллюстрация сказанного - Касимовское царство, основанное целым кланом выехавших на русскую службу волжских татар во главе с царевичем Касимом. Касимовские царевичи неоднократно являли пример героизма на русской службе. Да, в XV веке Касимов - это некоторый противовес Казани, но в XVII веке - какая Казань?! Кто мог угрожать на этом направлении России? А тем не менее, никто не упраздняет Касимовское царство. Там чеканят свою монету. Оно остается действительно государством в рамках России. Разве что правители этого царства титуловались не касимовскими царями, а касимовскими царевичами. Царь - это ведь титул императорский. Единственная причина, по которой Касимовское царство было упразднено как самостоятельное государственное образование, это *пресечение династии*.

Другой пример. 1611 год, смута. Идет формирование второго земского ополчения князя Пожарского. Сохранился замечательный документ - Казанский земский приговор по этому поводу. Список собравшихся открывает митрополит, далее следуют представители чинов и сословий. Понятно, почему стремятся на бой ради освобождения столицы, родной земли русские. Можно с некоторым напряже-

нием объяснить участие в ополчении черемис, то есть марийцев. Но совсем, казалось бы, противоестественно участие татар. Ведь Казань шестьдесят лет как присоединена. По старинному правилу - враг моего врага мой друг - казанские татары должны были ударить в спину ненавистному оккупанту. И ни один историк потом не упрекнул бы их, как никто не упрекнет ирландцев, работавших в годы Первой мировой войны по возможности на немцев - слишком натерпелись от англичан.

Происходит же совершенно неожиданное: казанские татары садятся на коней и отправляются освобождать Москву. Мне встречались суждения, объясняющие это исключительным гуманизмом русских. Я же склонен объяснять этот факт имперским характером России, в которой уживались все, как прежде уживались в Риме. В том числе за шесть десятилетий вполне ужились с Россией и казанцы.

Вот примеры имперского духа и имперской идеи, того, без чего империя не существует и что является необходимым, хотя, может быть, и недостаточным условием для их существования.

...Рим создал идею универсальной империи как идею общего блага. Рим не навязывал принципов организации хозяйства, торговли, существования рабства или отсутствия такового, форм зависимости колоната, прохождения службы полисными, муниципальными чинами. Романизация - это дороги, почты, акведуки, водопроводы. Римская культура была необычайно водолюбивой. Достаточно сказать, что высокоцивилизованная Западная Европа только к рубежу XIX-XX веков начала в крупнейших городах доставлять на душу населения столько воды, сколько доставлялось в Риме. И такое навязывание всеми, безусловно, воспринималось как общее благо. Истребление пиратства, организация судоходства - безусловно, общее благо для всего Средиземноморья.

Рим правил, опираясь не только на титул римского гражданина, статус муниципия, на звание друга и союзни-

ка римского народа. Рим, безусловно, правил под лозунгом *единства во имя общего блага*. И этого хватало до тех пор, пока сохранялся имперский этнос.

3. Империя и провинциальная элита

Первый опыт создания империи.

Интернационализм знати как римская традиция.

"Москва - третий Рим".

Есть, разумеется, и другие общие черты империй. Каждая империя стремится создать имперскую знать, аристократию, в состав которой обязательно приглашаются представители знати народов, завоеванных империей или, что бывало часто, прибегших к помощи империи.

Представление о необходимости создания имперской знати относится к древнейшему и, как представляется, первому опыту создания империи - ассирийской, точнее, новоассирийской державы.

Начиная с Ашшурбаллита Первого, а особенно при великих монархах Синаххерибе, Асархаддоне интенсивно формируется имперская знать. Старинная аристократия Ашшура, связанная с древней столицей, уходит в тень. А в Ниневии интенсивно формируется имперская знать - не только из военных кругов предельно милитаризованной державы (по сути дела Ассирия - это народ-войско), но и из знати покоренных народов. Это был совершенно осознанный и правильный выбор. Заметим также, что Ассирия была не чужда сохранению и государственных образований внутри империи. Она сохранила вавилонское царство, но настолько третировала его, что спровоцировала вавилонское восстание, потом разрушение Вавилона. Здесь не было последовательности и разумной политики. Поэтому я говорю только о *первом опыте* создания империи.

Что же касается имперской знати, то это, безусловно, и римская традиция. Конечно, римская знать из провинциалов была романизирована, за исключением эллинской. На

романизацию эллинов римляне никогда не осмеливались. В конце концов: *"Греция, взятая в плен, победителей диких пленила"*.

Это не грек написал, а римлянин, Вергилий.

Романизируя, тем не менее, римляне создавали имперскую знать. Мы знаем знаменитейших римлян провинциального происхождения. Военная знать вообще могла пополняться кем угодно - и греками, и африканцами, и сирийцами, и галлами. Точно так же действует потом наследница римской политической традиции - Византия. Если опереться на исследования А. Каждана, то получится, что в средневизантийский период по крайней мере армян вместе со славянами в сумме было больше, чем фамилий истинно греческого, византийского происхождения.

...У русского народа имперская культура вполне сложилась к XVI веку. Известный тезис "Москва - третий Рим" не имел ни малейшего оттенка самодовольства. Напротив, он воспринимался как огромная тяжесть, которую христианский долг повелевает принять по той бесхитростной причине, что нет другого мощного проводника восточнохристианской культуры, больше некому после падения Константинополя этим заниматься. Тогда же вполне проявляется и важный аспект - включение сначала отдельных представителей, а потом и целых народов в имперскую культуру. Это не подразумевало превращение всех в русских. Культурные границы, в отличие от этнических, достаточно подвижны. А русско-имперская культура ухитрялась включать в себя даже представителей других религий, при всем том, что Россия никогда не забывала о своей миссии.

4. Империя и ее союзники

Вассал воюет за... предоставление гражданства.

О верных империалистах и продажных республиканцах

На римском примере мы можем увидеть, как в жесточайшей конкурентной борьбе этнос имперский победил и

рассеял этнос принципиально не имперский - пунов, карфагенян.

Рим - империя задолго до того, как его устройство сменилось с республиканского на монархическое. Кстати, переход был очень плавный, грани здесь нет, тенденция к установлению монархического образа правления много древнее Августа и после Августа очень долго держались республиканские традиции. Они, по-видимому, не противоречат факту существования империи.

Римляне, несомненно, были величайшими администраторами древности, величайшими государственными создателями. То, что было у персов на уровне чутья, гениальной интуиции, у римлян было предельно четко разработано. Римляне великолепно использовали различные градации признаваемого гражданства: италийское гражданство, латинское гражданство, наконец, на самом верху римское гражданство. И всё это даровалось.

Я думаю, что каждый приличный школьник знает о самнитских войнах. За что сражались самниты? Стереотипно мыслящие люди полагают - за свою независимость. Ничуть не бывало. Самниты обрушивались на римлян за то, что те затягивали предоставление Самнии латинского гражданства. Представим для сравнения, что Чечня объявляет сейчас войну России по причине непредоставления ей аналогичных прав... Если бы такие войны объявлялись, я бы считал, что с Россией всё в порядке.

Предоставлением этих иерархически организованных прав римляне создавали стройное здание имперского организма. Классическая формула: "Я - римский гражданин!" произносилась с такой значительностью и гордостью, что с этим считались везде, даже за пределами империи. Для парфян это тоже звучало. "Я - римский гражданин!" - произносит подозреваемый в антигосударственной деятельности апостол Павел. Это означает, что его нельзя пороть, нельзя пытаться, правда, можно казнить, но это будут решать император, имперский суд, для этого надо подозреваемого этапировать в Рим. Апостола и этапируют

в Рим, где казнят. Но по пути он обращает в веру Христо-ву тысячи и тысячи новых прозелитов (согласитесь, это не советский этап).

Действовал и статут города. Муниципий - это, в общем, и есть римский полис, только имперский, обладающий самоуправлением, полисными прерогативами, но в рамках империи. Статут муниципия даровался существовавшим полисам и его принимали с удовлетворением. Принимали не из страха перед римским легионом. Почему?

Римско-карфагенская парадигма давно занимает не только историков, но и поэтов, философов. Ее сущность блестяще раскрывает Гилберт Честертон в своем "Вечном человеке", может быть, даже не полностью. Карфаген как торговая держава был предельно эгоистичен. Все войны, которые он вел, - это войны в обеспечение торговых монополий. Карфагеняне терпели нехотя. У них были союзники, в основном из тех, кто опасался возрастания могущества Рима, но не любил карфагенян никто. Как любой торговый город-республика, он был слишком эгоистичен.

Карфаген мог даже по-обезьяньи копировать римскую политику. Например, лучшим своим солдатам-ливийцам мог пообещать карфагенское гражданство... и его не дать. Самый пламенный патриот Карфагена, великий Ганнибал, пытался немного корректировать эту эгоистичную политику, дарить карфагенские титулы ливийским царям, даровать ливийцам карфагенское гражданство. Карфагенская аристократия на это не шла и подозревала Ганнибала (может быть, и обоснованно) в стремлении установить царскую власть. Поэтому Карфаген легко лишился союзников. В решающем сражении при Эмме Ганнибал мог видеть против себя ту самую нумидийскую конницу, которая столько раз оказывала ему неоценимые услуги.

Карфаген предавал легко. Рим не предавал союзников никогда. "Друг и союзник римского народа" - вот, пожалуйста, еще один титул, которым оперировал Рим, создавая империю. Конечно, "друг и союзник римского народа" - это тот правитель, а иногда и город, который должен

срочно раскошелиться на военные нужды, предоставлять свои корабли, участвовать как союзник в войне римского народа. Никакого равноправия здесь не было, это был уважительный, но вассалитет. И Рим являлся властным сюзереном. Но римляне даже в безнадёжной ситуации не предавали союзников. Это запоминалось. Вот римский механизм созидания империи, его еще одна чрезвычайно важная черта.

Похожим образом вела себя Священная римская империя германской нации. Позднее - австрийская держава, защищавшая любых своих окраинных подданных или союзников от турецкой экспансии. Так вела себя Византийская империя по отношению к христианам Кавказа и Закавказья. Общеизвестно поведение Российской империи. Это не прерогатива России - быть честной по отношению к подданным и младшим союзникам, это имперская традиция. Все настоящие имперские организмы в той или иной степени выдерживали этот экзамен.

5. Империи-химеры

Завоевали - и не режут?!

Имперскость и (или?) унитарность.

Терпимость к народам

и терпимость к культурам

Кто впервые в мировой истории создал настоящее имперское образование?

Думается, Персия при Ахеменидах. Как высказался в неакадемической обстановке один человек, тонко знающий персидскую историю, все приняли радостно или, по крайней мере, терпимо Куруша (который действительно был велик) от удивления. Мол, странные какие-то люди эти персы - завоевали и не режут! Пожалуй, с ними можно жить...

Возьмем пример самый хрестоматийный. Могущественный Крез с репутацией богатейшего человека тогдаш-

него Средиземноморья вздумал воевать с Киром. Крез проиграл. Что мог сделать Кир? Мог великодушно выгнать вон, но тогда он создал бы себе непримиримого врага, реваншиста. Мог казнить - показательно, жестоко. Но он не делает и этого, а приглашает Креза во дворец, где нарочито титурует его царем. Крез считался лидийским царем, получал почести, даже доход, сохранял определенную власть в пределах Лидии и располагал своим войском. Стоит ли удивляться, что после этого побежденный при каждом удобном случае говорил, что Куруш - избранник богов, и если бы он понял это раньше, то не оказал бы ему сопротивления. Раздавленный монарх не говорил бы таких вещей. Потрясенный великодушием победителя - мог.

Ахемениды создали свою державу, и настолько успешно, что даже когда борьба с Персией была объявлена общегреческим делом, малазийские греки сохраняли верность своему царю персу и поставляли ему войска. А почему? А потому, что в державе Кира они жили в любезной их сердцу полисной организации. Было за что сохранять преданность Ахеменидам.

Теперь несколько слов - о самоназваниях.

Империями называли себя многие государства. Мне представляется целесообразным считать не все организмы, принимающие некоторые элементы имперского устройства, собственно империями. Выше была сделана оговорка: Ассирия пыталась создать империю, но это ей не удалось. Ряд государств в мировой истории даже напрямую называли себя империями, но таковыми не являлись.

Безусловно, самозванкой была так называемая Британская империя, обычная колониальная держава, имевшая основания на свое наименование ничуть не больше, чем, например, Нидерланды. Лишь признаки частей имперского организма в английской политической системе представляли не колонии, а доминионы. Но в них как раз доминировало англо-саксонское население. Это были тоже колонии, но в античном смысле этого слова, колонии с действующим лицом - не колонизатором, а колонистом.

Колониальные державы посему не есть империи, даже если они так называются.

Необычной являлась недолго просуществовавшая Германская империя. Она империя лишь постольку, поскольку конкурировала с Австрией за наследие Священной римской империи, очень старалась соответствовать своему названию, но была державой националистического, а не имперского характера. Населенная почти исключительно немцами, она не типична, это не вполне империя. Хотя, безусловно, это государство обладало рядом существенных черт имперской организации.

Еще два государства, которые обладали определенными имперскими чертами, но так полноценными империями и не стали: Турция и Китай. Турки-османы были блестящими администраторами, под стать римлянам. У них могло получиться. Однако их поведение в качестве хозяев положения было настолько непоследовательным, что они постоянно вызывали центробежные настроения не только у многочисленного восточнохристианского населения - славян, греков, сирийцев, но и подвластных им мусульман, например, арабов и курдов. Турция не создала единого организма, ее отношения с иноэтническими территориями походят на отношения европейских держав XIX века с колониями. Поэтому Турция очень легко потеряла свои нетурецкие территории. И хотя даже это повлекло за собой неприятные последствия для ряда малых народов, попавших под новое владычество, вряд ли можно сейчас найти среди бывших вассалов сторонников идеи возвращения в Турцию. Более того, и сами турки-османы не имеют внутренней установки на воссоздание империи.

Вероятно, это может означать, что Блистательная Порта при ее имперском аппарате, каком-никаком имперском устройстве, не имела имперской идеи. Ничто не удерживало ее на наднациональном уровне.

В аналогичной ситуации оказался и Китай, но здесь сыграли роль другие факторы. Китайцы были исключительно терпимы к представителям других народов. Одна-

ко - абсолютно нетерпимы к представителям других культур. Поэтому каждый раз, когда в состав Китая попадало значительное количество некитайцев, их бешено адаптировали. Полноценных китайцев из них не выходило, вместо империи образовывалась химера, ложное единство. Единый этнос в результате не возникал (он вообще вряд ли может быть рукотворным делом). Такие установки на объединение подтачивали Китай изнутри, появлялись в значительном количестве ложные китайцы, которые не воспринимали китайцев природных вполне своими. Поэтому Китай - страна, обладавшая и создававшая имперскую культуру, но абсолютно не чувствовавшая верной имперской политики.

Империи вообще - редкое явление. Но тем не менее, мы видим, что они существуют на протяжении свыше двух с половиной тысяч лет. И уже это обстоятельство позволяет полагать, что время империй не прошло. Так же, как и время монархий, время республик, которые, кстати, ничуть не моложе монархий.

6. Распад империй: причины и последствия

Распадается всё, но империя - долгожительница.

За "последними римлянами" уходит Рим.

*Малый и большой всегда объединяются
против среднего.*

Держава персов была разрушена Александром. Я склонен полагать, что причины крушения объяснила этнология Льва Николаевича Гумилева (старость имперского этноса).

Империя Александра не удалась, оказалась химерой, но после ее распада преемницей имперской идеи становится Селевкидская держава в примерно старых пределах. Потерпели фиаско Селевкиды. Следующие этапы - Парфянская держава, Сасанидская держава. Даже если исключить мусульманский период, то от начала Ахеменидов и до конца Сасанидов империя просуществовала четырнадцать

веков. В какой-то степени имперскую идею подобрал и мусульманский Иран.

Позволю себе замечание à propos Да, империи распадаются. В этом мире распадается всё, даже планеты и Земля когда-нибудь распадутся. Но из всех государственных образований империя - как раз долгожительница. Я не знаю, какая держава продолжительностью существования может конкурировать с Эраншахром. Можно привести много примеров, посмотреть, сколько просуществовала идея новой западной империи, если даже начинать ее не с Карла Великого, а с Отто Первого, тоже Великого. Всё это будут державы огромной продолжительности жизни.

Еще раз соглашусь с Гумилевым: Римская империя прекратила свое существование не потому, что разделилась, ибо она никогда не делилась. Не было восточной и западной Римской империи, а были восточный и западный императоры. У них были свои сферы управления, но империя воспринималась как целостный организм.

Если бы дело было только в разделении, то тогда почему не удалось восстановление былого единства? Ведь его блестяще провел к середине VI века император Юстиниан Великий. А дело вот в чем. Как мне кажется, империя, имея федеративное устройство (тем самым я утверждаю, что унитарная держава не есть империя), обязательно опирается на стержневой этнос. (Это наводит на осторожную гипотезу, что империя органичнее, например, федерации, она живой организм, она более связана с этносом.)

Действительно, мы всегда можем назвать имперские народы - персов, римлян, средневековых греков-византийцев (которые называли себя римлянами), немцев, русских. Нормальное окончание существования империи - это исчерпание сил имперского этноса. Где находим подтверждения? В истории Ирана - несколько раз. Во всяком случае, конец империи Ахеменидов и конец империи Сасанидов - это явно усталостные явления, закат этносов. У римлян это не оспаривает ни один исследователь античного мира.

Сначала полководца Азция, потом философа Бозция называли последними римлянами. После гибели последнего римлянина не мог существовать и Рим. Византия даже пережила свой век. Здесь закат средневекового греческого этноса явно проявился в 1204 году, когда крестоносцы взяли Константинополь.

Россия была, безусловно, полноценной империей, но она прекратила свое существование раньше, чем состарился имперский великорусский этнос. Не здесь анализировать причины распада Российской империи. Версий очень много. Одна - что никакого распада вовсе не было. Другая объясняет случившееся исключительно внешними по отношению к России факторами. Есть версия, что повторилась австрийская ситуация: стержневой этнос, русский, уклонился от выполнения имперских функций.

Если выстраивать аналогии, то вполне возможно, что в 1917 году повторился отнюдь не 1453 год Византии, а 1204-й, после чего, как известно, империя была восстановлена. Я думаю, что никто не будет всерьез утверждать, что имперская идея в России исчерпала себя и империя восстановлена быть не может.

...Представляется очевидным, что наиболее удобной, бесконфликтной является жизнь общества моноэтнического, но такое бывает чрезвычайно редко. Большинство из когда бы то ни было существовавших государств полиэтнично. Так вот, среди не моноэтнических государств наиболее удобные условия для этносов предоставляли как раз империи. Империя универсальна по своей идее, в силу этого она наиболее терпима.

Империя всегда уравнивает народы, а ведь было бы странным упрощением считать, что в государствах, тем более в имперских образованиях, существует только соотношение: большой народ - и множество малых. Среди подданных Рима существовали численно значительные копты, кельты, эллины, не столь значительные сирийцы, а иберов, последних этрусков было совсем немного. Жил какой-то странный народ на Балеарских островах, про который мы

даже не знаем, кто они такие. Они тоже были подданными Римской империи.

Мы вправе говорить о том, что существуют имперские и неимперские народы, этносы. Трудно сказать, врожденный ли это этнокультурный стереотип, который позволяет приступить к созиданию империи, или он приобретает в процессе созидания. Я склонен полагать, что он исторически складывается. Но способность выработать подобный стереотип - это условие и путь к созданию империи.

Если схематизировать этническую структуру некой обобщенной империи, то правильнее сказать, что ее населяет большой народ, несколько средних и известное количество малых. Так вот, для огромной части населения империи эта последняя - защитница малых от агрессии средних. Универсальный исторический закон, работающий в пользу империй, я бы сформулировал так: *"малый" всегда с "большим" против "среднего"*. Действие этого правила мы наблюдаем сейчас на территории нашей страны, анализ чего, кажется, не входит в наши задачи сегодня.

Поэтому распад всякой империи, чем бы он ни вызывался, - это всегда вселенская скорбь, всегда стон не только людей, а множества народов. Высвободившиеся из-под имперской опеки - не обязательно владычества, скорее опеки - более многочисленные средние, не имеющие навыка руководства имперским организмом, первым делом ужесточают положение малых народов. Немедленно! Империи даже не обязательно для этого полностью развалиться. Можно проверить это, отправившись в Угорскую Русь, в Закарпатье. Там прилично относятся к русским; весьма прилично к немцам, ничего дурного о них, австрийских властителях, не помнят. Но при слове "мадьяр"... я, пожалуй, воздержусь от цитирования русинских пословиц по их поводу. А все почему? При превращении Австрии в Австро-Венгрию территория досталась венграм. Венгры - не злодеи, конечно, а просто *средний народ, не имеющий имперских навыков*. И это тут же чудовищно ужесточило положение малых.

7. Имперская идея на Руси

*Созвучие идей универсальности Церкви
и универсальности государства.*

*Русский имперский этнос выковала
православная Церковь.*

От "своих поганных" к просто "своим"

Если уж мы заговорили о распаде империй, имеет смысл вернуться к тому, что удерживает их от распада, иногда вопреки стратегическим, этническим факторам, против которых, казалось бы, не попрешь. Речь об имперской идее. О Риме уже говорилось. То, что Рим нес благо общего спокойствия, гражданского благоденствия, признают даже авторы Нового Завета.

Рим сменяет Византия. У нее стержневая идея гораздо мощнее. Это христианская держава, для каждого ее подданного сохранение империи, ее оборона, защита ее интересов - христианский долг. Для него соотечественник - это любой другой подданный православного царства, более того, и каждый христианский мученик первых веков, кем бы он ни был, а они бывали очень замысловатого происхождения. Все они свои, все сородичи, такими их помнили.

Идея империи как христианского государства родилась задолго до того, как Рим признал христианство официальной религией (религией большинства, а не религией всех!). Почему так случилось? Думается, потому, что идеи универсальности церкви и универсальности империи, совершенно автономные по своему происхождению, оказались созвучными. Доказательства? Их очень много. Интересно, что когда после большого интервала на Западе была воссоздана империя (800 год, коронация Карла Великого), совершенно спокойно продолжали пользоваться наименованиями "западный император" и "восточный император". Хотя, конечно, налицо были разные государства, и не самые дружественные - империи Каролингов и Византия. Но в сознании народов империя оставалась единой. По

сути дела, несмотря на разделение церквей, эта традиция сохранялась вплоть до гибели Константинополя.

Надо сказать, что славянорусы домонгольского периода были совершенно не имперским народом, в общем, даже не этатистским, без особенного государственного инстинкта. Они формировались в последние века до нашей эры в обстановке спокойной, на обширном, малонаселенном ландшафте. Они были достаточно похожи на кельтов, своих отдаленных предков, своим вольнолюбием и установкой на федерализм.

Единая Киевская Русь существует только в школьных учебниках. Русь всегда была федерацией земель-княжеств. Среди князей выделялся для общего удобства первый среди равных, Великий князь Киевский, потом - Владимирский, но до централизованной державы было далеко. Все были за единство, однако - против единой державы. Усилия объединителей Андрея Боголюбского и Всеволода III, при всем их таланте и могуществе, были тщетны. Их не понимали. Русь и так была велика и обильна.

А русские, этнос XIII века, складывался в обстановке чудовищного давления как с Запада, так и с Востока, отторжения литовским, частично польским государствами западнорусских земель и Ордынского владычества. Идея Владимирской державы, идея Андрея и Всеволода, сразу стала не просто популярной, она стала всеобщей, стала этнокультурным стереотипом. В усобицах XII века дрались за добычу, престиж, искали "себе чести, а князю славу", дрались за сферы влияния и рынки. А усобицы XIV века - это борьба трех сторон за создание Владимирской державы: Суздаля, Твери и Москвы. И борьба двух сторон за создание империи: Владимира и Вильны.

Русские XIV века уже обладают государственным инстинктом. Что пока говорит лишь об определенной способности народа, потенциальной пригодности к воспитанию из него народа имперского. Импульс к созданию Российской империи, как представляется, был привнесен извне. Не из Орды, не из Византии как государства, а из кругов

православной Церкви, полагавшей себя вселенской. Церковь стремилась создать христианское царство как свою опору и приобрела его в Риме при Константине Великом. Церковь сохранила свое достоинство в виде Византийской империи. В XIV веке любой русский, который побывал в Константинополе или хорошо был осведомлен о тамошних делах, прекрасно представлял себе, что империя идет к закату и скорее всего не выживет. А уж грек-то в этом точно не сомневался.

Обратим внимание на характерную деталь. С момента Ордынского вторжения на русской митрополичьей кафедре сменялись очень разные люди. Галичанин Кирилл, грек Максим, галичанин Петр, москвич Алексей, болгарин Киприан, грек Фотий... Они разноэтничны и разнокультурны. А действуют как одно лицо. Даже политические симпатии у них не схожи. Не менялось одно: установка на созидание Российской державы. Церковь готовила в XIII веке союзницу слабеющей Византии, а к концу XIV - ее преемницу. У князей такой четкости не было.

Таким образом, созидателей государства из русских выковали враги, но как этнос имперский - идея православного царства, миссия защитника христиан.

Поэтому я полагаю, что религиозно и, что гораздо более существенно, культурно Россия как империя была запрограммирована.

Далее. Что программировало русский имперский этнос на, так сказать, обиходном, бытовом уровне? Тут многое разработано евразийцами, которыми так увлекаются в последнее время. Я укажу важный аспект, который они проморгали, не придали ему большого значения. Русь ухитрилась быть единственным государством в мировой истории, включившим в орбиту своего культурного влияния кочевников и полукочевников. Вот этого не достигли ни римляне, ни византийцы, ни даже персы, потерпевшие неудачу в Туране.

Русские сумели. Торки и берендеи, затем половцы в XI веке именовались "свои поганные", в смысле "свои

язычники”, без всякого уничтожения. В XII веке они остаются *своими*, но перестают постепенно быть *погаными*; среди половцев и особенно тюрков все больше появляется христиан. Политически подчинившись Орде, Русь незамедлительно организует в Орде миссионерскую деятельность. Подразумеваю основание Сарайской епархии в 1261 году. Тогда миссия не увенчалась успехом по причине явной слабости народа. Было просто рано.

8. Россия будущего: варианты выбора

*Изоляционизм как симптом
культурного упадка.*

Русский этнос в фазе надлома.

Важнее не сколько земель, а какие земли

Что бывает, когда имперский этнос начинает вести себя не "по-имперски"? По-видимому, это проявляется двояко: в отказе защитить старого союзника, старую провинцию, - и в отказе от самой идеи империи, в стремлении к изоляционизму.

В австрийском варианте, например, это в конце концов привело к изоляционизму, желанию замкнуться в южногерманском, австрийском анклав. В сегодняшней России такая тенденция есть, она достаточно широко распространена. Корни явления, конечно, не в сфере этнологии. Это чистейшей воды культурный упадок, который, в отличие от этнического, может преодолеваться. Смеем полагать, что если русские начинают легко переносить потерю бывших многовековых территорий Российской империи, то вскоре они перестанут по-имперски вести себя и с теми инородцами, которые остались на территории России. Это взаимосвязанные явления. Изоляционизм - опасная штука, изоляционисты гораздо менее справедливы и уж точно менее терпимы к малым сим, нежели империалисты. Если учесть, что русским уже объяснили понятие мигрант, будет не удивительно, если в самое ближайшее время о мигрантах заговорят русские.

Я принимаю, хотя и с известными оговорками, этнологическую теорию Л. Гумилева. Как ее осторожно ни применяй - у русских тяжелая фаза, фаза надлома. За выход из надлома немцы заплатили едва ли не тремя четвертями жизни, тридцатилетней войной. Но оставшейся одной четверти немцев вполне хватило не только на битву с численно превосходящим противником в двух мировых войнах, но и на создание немецкой классической философии, немецкого романтизма, потрясающей немецкой музыки, много еще чего и, наконец, нынешней вполне благоденствующей Германии. Сегодня по многим аспектам это мощнейшая держава в Европе.

Так что в нашей шкуре побывали и другие народы. И доказали, что из надлома все-таки выходят.

Неизбежен ли для нас 1453 год? Абсолютно неизбежен, в мире всё заканчивается. Завершается история народов, следовательно и государств, и империй. Правда, с одной маленькой оговоркой: бывают этнические подъемы и тогда имперская эстафетная палочка передается по наследству. Это прослеживается, скажем, на примере Ирана. Мы не знаем, кто явится нашим наследником через несколько столетий: восстановится ли Россия как имперский организм или распадется. А может быть, она передаст эстафетную палочку. Я не пророк.

Но позволю себе историческую аналогию. Когда в середине XIII века Александр Невский спасал Русь, Русь совсем не хотела, чтобы ее кто-нибудь спасал. Александр Ярославович скончался на 43-ем году жизни, хотя был крепким, здоровым, красивым мужем. Он надорвался, не вынес этой тяжести. Но исторически-то оправдан оказался Александр Невский! Он не знал этнологической теории Гумилева, руководствовался чувством долга, интуицией, не более того, как многие политики. И остался самым популярным правителем в исторической памяти нашего народа.

Во всяком положении нужно просто достойно себя вести. Что же касается ориентации на будущее, то, как я думаю, возможны три варианта выбора.

Можно стать на путь изоляции и породить, скорее всего, пренеприятнейшее государство, отпихивающее всех. Тогда большой культуры у нас впереди нет. Державин, Карамзин, Пушкин, Достоевский (ставлю многоточие), наконец, Бунин и Шмелев принадлежат имперской культуре. Если взять другие области, результат получится тот же самый. Мы порвем с собственной традицией. Это возможный путь - он, кстати, спокойный.

Возможно возвращение к имперскому самосознанию. Это вовсе не означает, что народ в обязательном порядке должен застолбить границы бывшего Советского Союза или Российской империи на 1913 год вместе с царством Польским и великим княжеством Финляндским. Это - готовность решительно сказать, что империя существует, мы ее сохраняем и готовы принять всех, кто желает остаться. Но исходить мы будем из приоритета существования империи, а не существования республиканских границ в Советском Союзе. Если есть желающие жить в составе исторической России, то они получают необходимую поддержку, любую. Но та территория будет частью империи.

Есть третий путь, не исключаяющий второго. Я бы его назвал *культурологическим*. Он наиболее продуктивен и возможен только в варианте подлинного культурного подъема. Прецедентов было полно в мировой истории, в том числе и в нашей. Я имею в виду ориентацию на верность органичной для нас культуре - *восточнохристианской*. Тогда нас интересуют, безусловно, все восточнохристианские дела, а это обременительно. Хочу подчеркнуть, что имею в виду не конфессиональную верность. Если вероисповедание - это личное дело каждого отдельного человека, проблема его отношения к Творцу, то вопрос о принадлежности к культуре - дело не человека, это дело народа. Будет культурный подъем - мы можем воссоздаться в таком ключе.

Тем русским, которые ориентируются на такой вариант выбора, важно, не сколько у них будет земель, а главное, какие это будут земли. Элементарная геополити-

ка подсказывает, что Россия как классическая двубереговая держава не может держаться за Балтийское и Черное моря мизинцами, а должна все-таки держаться руками.

Что подсказывает культурология вопроса?

Россия - страна восточнохристианского происхождения, восточноевропейская. Вследствие этого она не может подчиняться тем внутренним и внешним процессам, которые подталкивают ее сползание в глубь Азии. Что такое Россия без территорий по Днестру, без Закавказья, без Прибалтики, но со Средней Азией? Я никого не хочу обидеть, и пренебрежение к среднеазиатам мне чуждо, как и агрессивные амбиции в отношении тех, кто уже давно созрел для отделения. Я утверждаю только: Россия всегда экономически, политически, стратегически тяготела к Балканам и Ближнему Востоку. Россия - страна восточноевропейской культуры и должна тяготеть к Восточной Европе. Это ее нормальное состояние.

Отовсюду слышится вопрос: а что если Россия опять вернется к имперским амбициям? Я бы ответил так: если она вернется к имперскому сознанию, то честь ей и хвала, а если только к амбициям - тогда плохо. Амбиции - это сугубо территориальные претензии политиков. Гораздо более мощными мне кажутся заявления о том, что та или иная территория - наша земля, и отделяться они могут, оговаривая с нами границы, нормы внутреннего и внешнего поведения. Это было бы спокойной имперской политикой, кстати, уважительной по отношению к соседним этносам.

* * *
*

"Литература для себя",

или когда психология вытесняет культурологию

1

Какое странное, казалось, сближение... Язык японский - и язык русский, век XI - и век XX, женщина - и мужчина... "Записки у изголовья": фрагменты, дневниковые записи перемежаются с рассуждениями, описаниями природы, маленькими новеллами. "Ни дня без строчки" - почти всё то же. Заглавия фрагментов Сей-Сенагон: "то, что ночью кажется лучше чем днем" - и еще: "Прекрасна пора четвертой луны...", "хорошо поехать в горное селение..." - и начала (иногда - вопросительные) отрывков Олеши:

- "Как было приятно в эпоху первой любви..."

- "Что же и в самом деле прекрасное из того, что я видел на земле?"

- "Нет для меня счастливей тех минут, чем те..."

- "Какую первую книгу я прочел?"

Совпадение интонации, совпадение самого способа видеть мир:

"Когда в ясную ночь при лунном свете переправляешься в экипаже через реку, бык на каждом шагу рассыпает брызги, словно разбивает в осколки кристалл" (Сей-Сенагон).

"Ветренный день. Стою под деревом. Налетает порыв. Дерево шумит. Мускулистый ветер. Ветер, как гимнаст, работает в листве" (Олеша).

И полная воля в выборе темы. "...я писала... о том, о

сем, словом, обо всем на свете, иногда даже о совершенных пустяках”, - легкое женское перо. ”Писать можно, начиная ни с чего... Всё, что написано - интересно, если человеку есть что сказать, если человек что-то когда-либо заметил”, - более твердый - со склонностью ”обобщить” (и себя убедить) - мужской росчерк.

Мимолетный, неповторимый момент окружающей жизни, - в Японии XI-го и в России XX-го. И там, и здесь - сюжет почти исчезает. Мелькают ”картинки”. И всё явственней ”фон”: автор наедине с миром, и еще уже - наедине со своими записями.

Две книги. Между ними - никакой культурной преемственности. Но состояние человека в момент рождения слова настолько явственно проступает сквозь ”текст”, что этот психологический ”параметр” решает всё. Если перевести обе книги с земного языка на марсианский, читатель-инопланетянин зачтет их по одной ведомости.

2

Давнее: редакция солидного журнала, свет в окне, моя рукопись на столе, заваленном бумагами. ”Берут - не берут. Берут - не берут...” Всё-таки не берут: ”У вас тут Сей-Сенагон, Паскаль, Ренар, Олеша... Сходство, правда, иногда поразительное. Но оно - случайно. Это разные культуры...” И - сам себе: ну как же! Все мы одной культуры: земной. И после - Любищев, отвергающий привычное со школы эволюционное ”дерево” и дарвиновское ”происхождение видов”. И - смешные мои, детские по мысли, заметки на полях: ”Параллелизм. Ум ”прорастает” не только на земле (чел-к), но и в воде (дельф.), и не только у ”зверей”, но и у моллюсков (осьминог с его жуткой головой - не вопрошателя жизни, но сумеречного созерцателя)”.

Метод аналогии только тогда лишь хорош, когда сравнение не буксует: ”смотри-ка, что-то похожее!”, - а подталкивает: ”давай, давай, выходи-ка на свою дорогу”.

Параллелизм форм в живой природе. Он не объясняет странные сходства в литературе. Он только намекает.

Но ведь они, мои авторы, и сами ощущали это подобие.

"У Жюля Ренара есть маленькие композиции о животных и вообще о природе, очень похожие на мои.

Когда-то я, описывая какое-то свое бегство, говорил о том, как прикладываю лицо к дереву - к лицу брата, писал я; и дальше говорил, что это лицо длинное, в морщинах, и что по нему бегают муравьи...

У Ренара похоже о деревьях: семья деревьев, она примет его к себе, признает его своим... Кое-что он уже умеет: смотреть на облака, молчать.

Мне всегда казалась доказанной неделимость мира в отношении искусства. В разных концах мира одно и то же приходит в голову" (Олеша).

Совпадение было и более серьезным, особенно если с ренаровских "композиций" перевести взгляд на его "Дневники":

"Солнце садится там, вдали, как красивый золотистый фазан на ветви..."; "Цыпленок на его спичечках".

У Олеша - та же "припечатывающая метафора":

"Парикмахер весь в белом, как вафля"; "кружка была похожа на синюю корову"...

Они - способны **видеть** звук (у Ренара смех "как будто спускается со ступеньки на ступеньку и останавливается только у самой земли", у Олеша соловьиная трель - это "огромное звенящее колесо", а вся его песня - множество движущихся колес: "они были выше деревьев, катились стоймя, прямо и, вдруг задребезжав, мгновенно исчезали"). Иногда сходство оптики - почти мистическое: "Голова его поворачивалась на шее медленно, как подсолнечник" (Ренар), "из воротника, красиво легшего на оба плеча, растет, как прекрасный стебель, его белая шея" (Олеша), "ветер невидимой рукой проводит по листьям" (Ренар), "ветер, как гимнаст, работает в листе" (Олеша).

Глаз - как фотоаппарат: щелк! - картинка, и никакого

продолжения: щелк! - "ласточка в смокинге; щелк! - "каштан - ёж среди плодов"; щелк! - "когда ешь вишни, то кажется, что идет дождь" (Ренар - Ренар - Олеша).

Они "мечены" своим зрением. И, принимаясь излагать свою "теорию писательства", говорят одно и то же, хоть и на разных языках. Голоса звучат почти в унисон: "В противоположность тому, что сказал Бальзак, я говорю: разве у меня есть время писать? Я наблюдаю" (Ренар), "Я развлекаюсь наблюдениями" (Кавалеров-Олеша); "Ничто не важно, поскольку литературу можно делать из всего" (Ренар), "Писать можно начиная ни с чего... Всё, что написано - интересно, если человеку есть что сказать, если человек что-то когда-либо заметил" (Олеша); "Меня не хватает надолго, - я читаю урывками, урывками пишу. Но уверен, что такова участь истинного художника" (Ренар), "Современные прозаические вещи могут иметь соответствующую современной психике ценность только тогда, когда они написаны в один присест. Размышление или воспоминание в двадцать или тридцать строк, максимально, скажем, в сто строк - это и есть современный роман" (Олеша).

Если о раннем Бунине Чехов мог сказать: "написано мастерски, но чувствуется рука", - то здесь чувствуется "глаз". Зрение вытеснило сюжет, интригу; писательское дыхание сжалось до отрывка, ушли конфликты, столкновения героев, на первый план вышла мука писательства.

3

И всё же ощутимо было и различие: в Ренаре жил не только ниспровергатель литературных канонов. Иногда в нем пробуждался новоявленный Ларошфуко:

"Друзья - как одежда. Нужно покидать их, пока они не износились. Иначе они покидают нас"; "Как часто люди хотят покончить жизнь самоубийством, а кончают тем, что рвут свои фотографические карточки".

Есть в этой афористике "крестьянина" Ренара дворянская страсть к остроте, к точности, граничащей с искусством фехтовальщика: "Педант - это тот, кто страдает несварением ума".

Ренар точен в словах и точен в датах. Время четко "квантовано" по дням. Олеша - смазывает внешнюю хронологию, прислушиваясь к внутренней. В его памяти прошлое смешивается с настоящим. Он - растерян, иногда походит на удивленного ребенка, Ренар - работяга, мужик. От удивленного ребенка (век XX) всё-таки ближе до лиричной и женственной Сей-Сенагон (век XI), чем до писателя с мозолистыми руками (век XIX), способного выругаться: "Они провоняли искусством, эти господа!"

4

Мы слишком привыкли к образу дерева: корень, ствол, ветви... Но семя прорастает вверх - к солнцу - в ограниченном земном мире. Рост "сам по себе" - как взрыв: из центра - волнами - во все стороны. Корень окружен стволами, ствол - ветвями, ветви - листьями, "шарообразно". И каждое "кольцо" (стволов, ветвей, листьев) - со своим строением, со своей "непохожестью". Культура европейская и культура "дальневосточная" - разные стволы из одного семени.

Произведение рождается, живет, умирает, возрождается - не только в "лоне культуры", не только с дыханием времени, но и в сознании автора. Чем меньше "читателя" в его произведении, тем ближе сам он не к произведению как "продукту", но к произведению как "писанию", тем явственней он чувствует само "рождение" книги, тем отчетливей слышит не шум листьев, но гудение корневища (звук лопнувшего, взорвавшегося ростком семени расслышал, кажется, только Розанов). И - менее заметен диктат культуры, и ощутительней диктат "психологии творчества", состояния: "человек наедине с собой".

Святые демоны*

Никому не дано право заниматься убийствами.

Имп. Николай II

Я буду говорить не только о книге, но и об авторе, в котором я вижу не алгебраический знак, а живого человека. Книга его далека от мертвого и бесчеловечного объективизма; далек от объективизма и я. Для персоналистов, — а я хочу им быть, — писанное важно не само по себе, а той живой личностью, которая одновременно и проявляет, и скрывает себя в своих писаниях.

В. М. Зензинова мы знаем давно по его прекрасным книгам. С приездом его в Европу мы свели с ним личное знакомство. Он оказался стихийным гуманистом и обаятельным человеком. Броня старых социалистических предрассудков плотно облегла его душу. Несмотря на это, симпатия, которую он вызывал к себе с первых минут знакомства, не ослабевала, а крепла. Крайне устарелое и давно разбитое жизнью мировоззрение, во власти которого находился В. М. Зензинов, не могло заслонить его личности, а личность человеческая всегда первее ее мировоззрения и никогда им не исчерпывается.

В. М. Зензинов написал книгу, вероятно, лучшую из выпущенных до сих пор Чеховским издательством. От многих ее страниц веет прелестью и свежестью, которых долгие годы не коснется увядание. Укажу некоторые наудачу: нежнейший юношеский роман, деловое описание московского восстания, вынужденное путешествие из Якутска в Охотск, — эти и многие другие страницы обогащают русскую литературу; есть и способные украсить хрестоматию. О достоинствах книги, несомненно, будут много писать. Но не об этих изумительных иногда страницах пойдет здесь речь. Я должен говорить о терроре, который является центральной темой книги В. М.

* В. Зензинов "Пережитое". Издательство им. Чехова, Нью-Йорк, 1953. Рецензия Н. Осипова напечатана в журнале НТС "Мысль" № 5.

Зензинова. В. М. Зензинов сделался террористом, в сущности вопреки своей природе. Не могу отделаться от впечатления, что террор вторгся в его душевную жизнь как инородное тело, и оно поработило его душу, как топор поработил того несчастного убийцу, о котором мы знаем из знаменитой когда-то защитительной речи С. А. Андреевского. Поистине, В. М. Зензинов был рожден не для того, чтобы проливать человеческую кровь, и не даром дался ему "подвиг террориста".

Героизма личного, боевого в В. М. Зензинове было много. Но подняться до мужественного признания в страшной ошибке его жизни, до осуждения террористического прошлого своей партии у него не хватило сил. Это не мудрено: силы для такого шага понадобились бы титанические.

В. М. Зензинов был гуманистом. Гуманист и я. Но трудно было бы нам столкнуться, слишком сложен и мучителен вопрос о гуманизме.

Гуманизм – нежнейшее растение. Впрочем, тот, кто видел, как бледный подземный росточек поднимает огромные комы земли, тот знает, что нежность и сила не исключают друг друга. И всё же гуманизм существует на нашей планете, может быть, только как счастливая случайность, и гибель угрожает ему со всех сторон. Гуманизм, не вооруженный насилием, тоже гибнет; в единении же с максимализмом он превращается в свою противоположность. Гибель гуманизму несут враги, но ту же гибель несут и друзья, и мы, русские, знаем, как это делается. Проблема гуманизма в наши дни есть проблема спасенья, проблема остроты чрезвычайной.

Было бы величайшей несправедливостью отрицать гуманистическую струю в мировоззрении социалистов-революционеров. И несомненно, что эти самые социалисты-революционеры нанесли гуманизму тяжкие удары. Они возвеличили террор. Впрочем, как ни преступно их заблуждение, они нравственно оказались выше социал-демократов, которые террор отвергали. Марксисты остались верны себе, ибо они были против террора просто потому, что находили его нецелесообразным. У марксистов даже воздержание от злодейства совершается по безнравственным мотивам.

Дело с русским гуманизмом обстоит плохо, хоть мы и обладаем гуманнейшей литературой в мире. Гуманизм в крови у русского человека. Были у нас гуманисты и левые и правые, а подлинного гуманизма почти не было, всегда он осложнялся антигуманистическими элементами, – то социалистическим утопизмом, то нежностью к земскому начальнику.

Гуманизму очень трудно существовать, не заражаясь

антигуманистическими или псевдогуманистическими веяниями. Не только всяческое якобинство или "маратовская любовь" к человечеству губит гуманизм, но кротчайшее толстовство с его непротивлением, но и дерзкие попытки вместить полноту христовой истины в предел сей юдоли. Всякие подобные опыты всегда приводили к самым разрушительным для гуманизма последствиям.

У нас гуманизм проявился в чудовищном сочетании с терроризмом. Псевдогуманизма у нас теперь, хоть отбавляй.

В. М. Зензинов служил тому, что Н. Н. Страхов назвал в письме по поводу убийства императора Александра II теоретическим убийством.

"Теоретическое убийство – не по злобе, не по реальной надобности, а потому, что в идее это очень хорошо. Меня всё раздражает: и спокойствие, и злорадство, и даже сожаление. Нет, мы не опомнимся. Нужны ужасные бедствия, опустошения целых областей, пожары, взрывы целых городов, избияния миллионов, чтобы люди опомнились. А теперь только цветочки".

Таковы глубины русского понимания. Им социалисты-революционеры, с настойчивостью маньяков противопоставляли глубины русского непонимания.

Теоретическое убийство – это диктатура *отвлеченного начала* (В. В. Соловьев) над чувством и совестью человека и, что самое ужасное, человека зачастую хорошего. Социалисты-революционеры утверждают, что к ним шли лучшие, а в Боевую Организацию – лучшие из лучших. Пусть так. Но тогда это означает, что легендарный дракон, которому в древности отдавали на съедение юношей и девушек, переселился в Россию, где многие юноши и девушки добровольно и с восторгом спешили стать его кушаньем.

Социалисты-революционеры, эти раскольниковы русского общества, разрешили себе кровь. Под бременем этого своего преступления лучшие из них оказались душевно изуродованными.

Слава Богу! Это делает им честь. Самодовольный террорист в наши дни представлял бы отвратительное зрелище. Но осудить свое преступление социалисты-революционеры не в состоянии. Очевидно, самоосуждение не под силу тем, у кого героизма оказывалось достаточно, чтобы швырнуть бомбу и пойти на виселицу. Не осуждают себя, – оправдывают. Но столько муки и надрыва в этих самооправданиях, что, по крайней мере для постороннего слуха, звучат они, как смертный приговор терроризму. Все эти самооправдания – только попытка защититься от кровавых мальчиков в гла-

зах. И это – осуждение террора в будущем, исходящее из уст самих террористов, пусть даже против их собственной воли, – осиновый кол в могилу террора вбит не только Азефами, но и Зензиновыми, их исповедями и самооправданиями. Книга Зензинова может обжечь не одну чуткую совесть. Но она не воспитает ни одного террориста.

Логически защита террора у Зензинова слаба:

“Убийство при всех условиях остается убийством. Мы идем на него только потому, что правительство не дает нам никакой возможности проводить нашу политическую программу, имеющую [целью] благо народа” (стр. 102).

Тут всё дело в молчаливой гордыне, в претензии на непогрешимость, в детской вере, что программа, сочиненная “русскими мальчиками” действительно несет благо народу. Если бы эсеры были способны усомниться в своем праве монополии на представительство народных интересов, если бы они почувствовали, что их программа вовсе не талисман всеобщего счастья, а просто продукт революционного педантизма, – они, конечно, не обагрили бы своих рук человеческой кровью.

Знаменитая программа-минимум была, по правде сказать, совершенно сумасшедшая. Но тогда и этот градус сумасшествия казался недостаточным, почему и была изобретена еще программа-максимум. Это была та самая программа молочных рек и кисельных берегов, замешенная на потоках крови, которую позднее с такой энергией принялись осуществлять большевики.

Проводить в жизнь такую программу можно только демагогическими способами, эксплуатируя аграрный психоз крестьянства, политический радикализм молодежи, отсталость рабочих. При плачевном культурном уровне народа и общества, при отсутствии политических свобод соблазн самоуправства был велик. Кровавые бесчинства оправдываются высоким моральным уровнем революционеров: “люди, бравшиеся за страшное оружие убийства – кинжал, револьвер, динамит – были в русской революции не только чистой воды романтиками и идеалистами, но и людьми наибольшей моральной чуткости” (стр. 271). К этому свидетельству Зензинова следует прибавить, что чуткость эта была односторонняя.

Следствием осуществления эсеровской программы было бы не только истребление русского культурного слоя, что уже само по себе было бы страшным ударом по России, но и истреблением Чайковских и Зензиновых и торжеством Нечаевых. Восторжествовало бы не гуманистическое, а бесов-

ское начало ПСР. Логике революционного процесса, который они стремились развязать, лучшие эсеры не понимали.

*

Трудно говорить о терроре спокойно. Я не хочу рядиться в тогу объективизма, как не хочет этого делать и В. М. Зензинов. Сколько раз я должен был прерывать чтение его книги: волна возмущения заливала душу. Трудно подавить это возмущение, когда в своем апологетическом рвении В. М. Зензинов с умилением приводит излияния Каляева, полные отталкивающего мазохизма, о сладости смерти на эшафоте (стр. 273). История русского революционного движения напоминает страницы из учебника психиатрии.

"Святой сатана", – сказал пронизательный современник о Григории VII. "Святые демоны", – хочется сказать о русских террористах, заблудившихся между ложным гуманизмом и душевной болезнью.

Террор эсеров был с большой психологической трещиной. Они, несомненно, несли в своих душах неосознанные фашистские настроения. Иные из русских революционеров были законченными фашистами: Нечаев, Ткачев – наиболее яркие фигуры. Но большинству очень далеко было до гитлеровских с-с-овцев и даже до молодцов Муссолини. Наш террорист – это русский вариант сверхчеловека. Западный был вовсе лишен совести и социальных инстинктов, русский страдал гипертрофией совести и был переобременен социальными эмоциями. Замученные совестью неисправимые рецидивисты теоретических убийств потерпели страшное поражение и не переродились в чистых фашистов именно из-за своей совестливости. Но шли они по дороге к фашизму. Люди, рожденные для служения "высокому и прекрасному" сделались орудием зла. Но этого они так и не захотели осознать, так и не захотели заметить, что качели террора качал чёрт. Азев был имманентной карой за измену гуманизму, которому они хотели служить так искренне, так страстно.

Я не хочу снижать духовного облика эсеров, не хочу игнорировать их многих редкостно-драгоценных свойств. Каюсь: было время, когда я относился к эсерам с таким примерно чувством, с каким В. М. Зензинов относился к несчастным "акакиям" (анархистам-коммунистам, стр. 368). Я давно уже убедился в своей ошибке и теперь рад случаю открыто в ней сознаться. Нет, не "акакии", конечно. Лучшие из них могли бы стать украшением любой страны. Почему же у нас они оказались проклятием России, и тем более страшным, чем дальше они отстояли от "акакиев"? За что, за какие грехи Бог так карает несчастную Россию?

*

Азеф... О нем В. М. Зензинов говорит скупом. Азеф, по его словам, лишил эсеров наивной доверчивости к людям, вследствие чего у них остыла любовь (стр. 414). Но дело не в душевных переживаниях эсеров, а в объективном значении такого явления, как Азеф. Об этом В. М. Зензинов не говорит ничего и, вероятно, ничего не думает. Еще бы, стоит только подумать, и мирозерцание, которому всю жизнь был верен В. М. Зензинов, рушится в пропасть.

Азеф – тень террора. Террор – это заведомо безнравственное средство для достижения благородной цели. Азеф – возмездие, Азеф – рок. Азеф нанес смертельный удар не только Боевой Организации, но и самому принципу террора. Азеф сделал доброе дело, без всякой, разумеется, заслуги со своей стороны. По великой милости Божьей злой человек сделался орудием добра. Шок, пережитый социалистами-революционерами после разоблачения Азефа, мог стать для них началом нравственного возрождения. Для многих, вероятно, и стал.

*

”Пережитое” – жуткая книга, написанная прекрасным человеком. Он родился под несчастной звездой. Кровавый психоз властвовал над душами многих, и отнюдь не худших, русских людей. Не поддаваться этому бесчеловечному гипнозу оказалось особенно трудным для людей, в душах которых били светлые родники человечности. Таков был один из самых горьких парадоксов русской действительности. Здесь – трагедия русского гуманизма, над которой у нас еще очень мало задумывались. Книга В. М. Зензинова в особенности замечательна тем, что задумана она как оправдание террора, а действует, как его обличение. Это – запоздалый диалог русского гуманизма со своим соблазнителем, тем демоном, который похваляется:

Я в сердце юноши вложу восторг убийства
И в сердце девушки кровавые мечты...

И книга рассеивает остатки злого и отвратительного демона.

Н. Осипов

СОДЕРЖАНИЕ "ГРАНЕЙ"

№№ 171-174 за 1994 год

ПРОЗА

АЛЕКСАНДРОВ Геннадий

Через Поножовщину. *Рассказ*, 171

ВАРЛАМОВ Алексей

Здравствуй, князь! *Повесть*, 173

Старое. Тутаев. Чистая Муся. *Рассказы*, 174

ЕСЕНКОВ Валерий

Дуэль четырех. *Повесть*, 171

ЗАКУРЕНКО Александр

Иринола. Вечер с одалиской. *Рассказы*, 174

КАРЛИН Михаил

Путешествие Василисы. *Рассказ*, 172

ОБУХОВА Елена

Дары. Ожидание чуда. Рождество. *Рассказ*, 173

ПРИХОДЬКО Олег

Действующие лица и исполнители. *Повесть*, 172

ПОЭЗИЯ

ГРАЧЕВ Евгений

Ода гармонии (*Солнце потерь. - Праздник потерь. -
Осенние стансы. - Перехваченное письмо. - Совесть. -
Белый пух. - Элегия. - Белый снег. Покой. - Бессмертник.
- Белая березка. - Ода гармонии*), 171

ЗАКАТИНА Ирина

"Если бы ветер был немного добрее..." (*"Идти вдоль
дороги..." - Первый портрет. - Из цикла "Записки на-*

блюдателя". - Натюрморт. - "Холодно. Хочется спать" - "Они стали жить вместе..." - Ощущения. - "Он взглянул на часы..." - Двустийшия. - Медитация с зеркалом. - Освобождение. - "Целую вечность..." - "Два белых голубя..." - "Солнце спустилось с небес..." - "О, Безысходность щедрая моя..." - "Песни разучивали годами..." - Весенняя зарисовка. - "Свеча любила огонь..." - "Мудрая неподвижность берегов..."), 172

КУБРИК Алексей

"Параллельные места" ("Спят мои домашние потери..." - "Кому он нужен - ранний белый снег..." - "Мне холодно в этом обжитом мире..." - "Листва теряет дерево заката..." - "Говорил долго, чтобы понимать сразу..." - "Высокий берег меня не достал..." - "Мандельштам сидит у камина..." - "По простору Лукомора..." - Возвращение с моря. - "Пока земли касается ладонь..." - "В талантах шитых нам равнин..." - "Мама моя не желает шить..." - "Еще я вижу все ее движенья..." - "Голоса в камышах и дощатый на сваях настил..." - "...и вот ни духом и ни сном..." - "Это из моего окна..."), 174

ОБУХОВ Виктор

Обрывки 1994 года (На Рождество. - "Пора домой..." - "Город спит..." - На прогулке. - "...Это было всего-то мгновенье..." - Мимоходом. - "...и никто не умеет помочь..." - Отрывок. - "Всё уходит. Меркнет. Стынет". - Возвращение), 174

ПЕРОВСКИЙ Николай

"Бывает острое прозрение..." (Соблазн. - Простота. - Лебеди на Орлике. - Благовест. - Ворон. - Флоксы. - Прозрение. - Паутина), 173

РЕВА Владимир

Пора возврата... ("В начале есть есть конец..." - "Куда торопит век, никто не знает..." - "Пустые дни и тягостные ночи..." - "Нет никого, куда иду, не знаю..." - "Суровый Дант и Гете величавый..." - "Будь проклят день, определивший жребий..." - "О, время материнства наших женщин..." - "Когда забьются родники трево-

ги..." - "Послушай, дочка, прилетел гонец..." - "Луна повисла, словно гильотина..." - "Рыдать без слез и хохотать без смеха..." - "Наш век не называют идеальным..." - "Друзей своих мы сами выбираем..."), 173

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНТОНОВ Алексей

Роман-кентавр Анатолия Кима, 171

БЕЛОВ Сергей

Тринадцать ступеней (*Петербургские аномалии-символы у Достоевского*), 173

БЛАЖЕЕВ Евгений

Роман Булгакова как опыт русской бездны, 174

ЛИННИК Юрий

Поэзия Николая Моршена, 171

МАЛЫЦЕВ Юрий

Элизиум памяти (*Глава из новой книги "Иван Бунин. 1870-1953"*), 172

МЫШАЛОВА Диана

Реалист ли Бунин? (*О поэтике цикла "Тёмные аллеи"*), 171

ШНЕЕРСОН Мария

По разным дорогам в одном направлении
(*А. Солженицын и А. Твардовский*), 174

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

БЕЛОВ Сергей

Новое о Ф. М. Достоевском в архивах США, 174

ЖИЛКИНА Татьяна

Родился гением (*Об Александре Вампилове*), 172

КЕРБЕР Леонид (Г. ОЗЕРОВ)

На воле (*2-я часть воспоминаний автора "Туполевской шараги"*) , 174

КОРНИЛОВ Михаил

Почему я оказался на земле финнов, 171

Р. ХИН-ГОЛЬДОВСКАЯ

Очарованье старины - Из дневников (*Продолжение.*

Публ. и предисловие М. М. Ситковой), 173

ИСТОРИЯ

ЯКОВЛЕВА Н. А.

Февральская революция и Сибирское земство, 171

ПУБЛИЦИСТИКА

ГАБЕ Б., ЛЕЩИНСКИЙ Б.

Баррикадные закономерности, 172

САМОХИН Андрей

США на пороге XXI века, 171

ЭКОНОМИКА

ГАБЕ Борис

Социальная сторона проблем российской экономики

(*Начало*), 173

(*Окончание*), 174

РОЩИН Михаил

Старообрядчество и труд, 173

ОЧЕРКИ

ЛАНДА Яков

Плакатный, 172

ОРЛОВ Александр
Мертвые сраму не имут..., 171
ПАЛАМАРЧУК Петр
Контрол-олт-дел, 172
СОФРОНОВ Вячеслав
"Что во поле пыльно...", 172

ОЧЕРКИ БОЛЬШЕВИЗМОВЕДЕНИЯ

Проф. ШТЕППА К. Ф.
Какое общество построили большевики?
(Главы из рукописи книги), 173

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

ЕСАУЛОВ Иван
Человек-вещь и христианское сознание, 171
ЛИННИК Юрий
Национальные основы российского солидаризма, 173
МАХНАЧ Владимир
Имперская традиция в России, 174
НЕРОЗНАК Владимир, КЛЕЙМЕНОВА Раиса
Восхождение к здоровой словесности, 171
СЕНДЕРОВ Валерий
"...И сумрачный германский гений", 171
После абсурда, 172
ХЕЛИМСКИЙ Яков
Языковая ситуация в России, 172
ФЕДЯКИН Сергей
"Литература для себя", или Когда психология
вытесняет культурологию, 174

ПУБЛИКАЦИИ

Проф. ЗЕНЬКОВСКИЙ В. В.

Детская душа в наши дни, 173

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КРУЧИК Игорь

Потусторонняя свирель

(Рюрик Ивнев. "Мерцающие звезды". М., 1991), 171

САМОХИН Андрей

Ответственность общества

(Л. М. Мид "Общественные обязанности граждан".

Нью-Йорк - Лондон, 1986), 171

ОСИПОВ Николай

Святые демоны

(В. М. Зензинов. "Пережитое". Изд. им. Чехова.

Нью-Йорк, 1953), 174

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЖУРАВЛЕВА Зоя

Будьте милосердны, люди!, 171

* * *
*

Георгий Константинович Гинс
"Предприниматель"
224 сс., тв. пер.
в "Посев", 1992, Москва

Издательство "Посев", существующее в эмиграции более 45 лет остановило свой выбор на этой книге в качестве своего первого издания на родине. Г. К. Гинс (1887-1971) - русский ученый-правовед, экономист, социолог, первым предложивший солидаристическую модель общества, в котором граждане исповедуют принципы солидаризма (не как идеологии, а как правил "мирного гражданского сосуществования" в обществе), роль же государства в обществе сведена к роли правового регулятора, светофора". Написана книга была в конце 30-х годов и издана в Харбине в 1940 г. очень малым тиражом. Но в то время миру было не до экономики, а потому книга не получила должного распространения. После войны восстановление разгромленной Германии пошло фактически по пути, предложенному Гинсом. С этой книги издательство "Посев" начало свою жизнь на родине.

Книга "Предприниматель" - это не пособие к вопросу, как немедленно разбогатеть. Свободное общество - синоним свободной экономики, рынка. Не может быть свободного общества без свободной, неполитизированной экономики, которая не должна быть ни капиталистической, ни социалистической, ни еще какой-то, а должна быть просто здоровой, чтобы обеспечить человеку в обществе экономическое достоинство. И как не родит земля без хозяина, без крестьянина, так и нет здоровой экономики без здорового предпринимательства, без созидательного предпринимателя.

В книге интересно и без потерь для научных принципов рассказывается об истории мирового предпринимательства, в том числе и российского, о том, как создавались богатства в мире, как они использовались на благо общества, говорится о психологии предпринимательства, о механике взаимоотношений предпринимательства и государства и т. п.

Книга может и должна стать настольным учебником для вступающего во взрослую жизнь нового поколения России. Но она интересна и для самого широкого читательского круга.

В. К. Штрик-Штрикфельдт
"Против Сталина и Гитлера".
Мягк. перепл. 444 стр.
© Посев, 1993, Москва

Этой книгой издательство "Посев" закладывает начало открытого обсуждения на родине одного из самых трагических и болезненных вопросов не только Второй мировой войны, но и России в целом - феномена, уже вошедшего в историю под названием "власовского движения". Не признать, не заметить этого феномена не могла даже всесильная сталинская пропагандная машина, но вся ее тоталитарная мощь была направлена на одно - оболгать само движение и саму идею, а всех к этому причастных либо утопить в крови, либо сгноить в лагерях. Невиданный в истории войн размах взятия в плен - по большей части в безвыходных условиях, целых армий (число пленных до сих пор не сосчитано, но и известные цифры складываются в миллионы). По одну сторону война превращается в священную войну за освобождение Родины от иноземных захватчиков - даже Сталин понял, что только идея отечественной войны поможет ему выиграть в этой всемирной бойне, - а по другую сторону среди миллионов пленных и оккупированных народов, оказавшихся между двумя жерновами, вспыхивает объединяющая и дающая волю к сопротивлению идея "третьей силы": как против гитлеровской чумы, так и против сталинской.

Мемуары Штрик-Штрикфельдта занимают особое место в военной иконографии. Русский немец, воевавший в Первую мировую в рядах русской императорской армии, капитан-переводчик, участник антигитлеровского движения среди немецких офицеров, он был первым немецким офицером, встретившимся с пленным генералом А. А. Власовым, и прошел с ним в дружеском сотрудничестве до самого конца войны. Штрик-Штрикфельдт же стоял у истоков самой идеи российского освободительного движения против Гитлера и Сталина, ценность которой была для него неоспоримой для судеб Германии и России.

Мы рекомендуем эту книгу для библиотек всех учебных заведений, чтобы ее могли читать студенты исторических факультетов да и все, кто интересуется еще такой недавней историей своей Родины.

Юрий Мальцев

"Иван Бунин. 1870-1953"

**432 сс., мягк. глянц. пер.
в "Посев", 1994, Москва**

В Москве вышла новая книга известного литературоведа, профессора-слависта Юрия Владимировича Мальцева.

Эта книга представляет собой результат многолетнего огромного труда по исследованию жизни и творчества "последнего русского классика", замечательного русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1933 г.) Ивана Алексеевича Бунина.

Иван Бунин, покинувший Россию после революции уже сложившимся, известным на родине писателем, академиком, творчеством своим опрокинул сложившееся представление о пагубности эмиграции для писателя - лучшие его, наиболее глубокие произведения были созданы им именно в эмиграции, в которой он провел добрых три десятилетия до своей смерти.

Юрий Мальцев, чье литературоведческое творчество расцвело тоже именно в эмиграции (с 1974 г.), известен читателям русского Зарубежья со своей первой книги "Вольная русская литература. 1955-1975", которая и сегодня - пока единственный наиболее полный серьезный историко-литературоведческий труд по свободной русской литературе второй половины XX века (и это несмотря на многочисленные газетно-журнальные публикации в России, начавшие появляться с 1985 года).

Это же утверждение справедливо и для выпускаемой книги о Бунине.

Ю. Мальцеву свойственны живость и увлекательность изложения, и книга предназначена не только для специалистов (в ней более 70 страниц занимают примечания к главам, а также наиболее полная библиография по жизни и творчеству Бунина), но и широкому читателю.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ". Еженедельная газета
Париж - Москва

Подписка за рубежом (включая рассылку):

	<u>6 мес.</u>	<u>1 год</u>
<u>Обычной почтой</u>		
Франция - франки:	250	400
Др. страны - фр./дол.:	400/73	600/110
<u>Авиапочтой</u>		
Вся Америка, Южная Африка		
- фр./дол.	550/100	790/144
Европа, Северная Африка		
- фр./дол.	450/82	680/124
Австралия, Япония - фр./дол.	650/119	860/157
Израиль, Иран - фр./дол.	510/91	720/131

Адрес: "La Pensée Russe"
217, rue du Faubourg St. Honoré,
F-75008 Paris
Тел: 4225-5681, -5794
Почтовый счет: CCP 5883-44 K. Paris

Подписка в Москве в 1993 г. для всех стран СНГ
(вместе с доставкой):

на 1 м. - 320 руб., на 2 м. - 630 руб.,
на 3 м. - 1000 руб., на 4 м. - 1300 руб.

Адрес: 127635, Москва И-635
а/я 52

Елисеенко Валентину
(с указанием на бланке перевода: "Русская мысль")
Доставка - по обратному адресу на бланке перевода.

От Издательства

При существовании советской власти многие печатали в журналах "Посев" и "Грани" свои произведения под псевдонимами. Зачастую даже Издательству было неизвестно, кто скрывается под псевдонимом. Выплата гонораров была невозможна. Поэтому Издательство в своем обращении говорило, что гонорары хранятся вплоть до свержения советской власти и тогда будут выплачены авторам по их требованию. Советская власть была свергнута в середине 1991 года. Журналы "Посев" и "Грани" с того же года издаются в Москве. За истекшее с тех пор время требования предъявлялись и были удовлетворены. По истечении 2-х лет, начиная с августа 1993 года, Издательство претензий по выплате гонораров за прошедшие годы не принимает. Это касается и всех других претензий того времени.

Одновременно ставим всех авторов в известность, что претензии по текущим гонорарам принимаются в течение полугода со дня выхода журнала в свет.

* * *

Просим всех авторов учесть, что присланные в Издательство или редакции рукописи не возвращаются.

* * *

Издательство просит рукописи статей для журнала "Посев" направлять на адрес зав. московским филиалом редакции:

**117602, Москва; Аб. ящик № 325
Горбаневский Михаил Викторович**

Рукописи же статей, а также книг просим посылать на адрес зав. московским филиалом Издательства:

**103031, Москва К-31
Русаков Константин Владимирович.**

* * *

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения редакции. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных, географических названий и иных собственных имен и прочих сведений, за оценку событий и персоналий, а также за то, что в материалах не содержится данных, не подлежащих открытой публикации. Редакция оставляет за собой право публиковать рукописи в сокращенном виде.

Непринятые рукописи не возвращаются.

Редакция не может высылать авторам рецензии на их произведения, давать консультации литературоведческого или юридического характера и выступать ходатаем в официальных учреждениях. Направляемые в адрес редакции рукописи должны быть напечатаны на машинке через два интервала четким шрифтом (допускается аналогичный компьютерный вариант) без правки, вставок и вклеек. Рукописи представляются в редакцию в двух экземплярах. Объем каждого предлагаемого материала не должен быть более трех авторских листов. Рукописи, превышающие указанный объем, редакцией рассматриваться не будут.

При перепечатке ссылка на "Грани" обязательна.

УЧРЕДИТЕЛЬ :

Филиал Коммандитного товарищества "Издательство "Посев"

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации Российской Федерации.

Свидетельство о регистрации N 011038 от 13.01.1993

Адрес московского филиала издательства "Посев" для оформления подписки, заказов на отдельные экземпляры и комплекты журналов "Грани" и "Посев",

на книги издательства "Посев" и писем:

103031 Россия Москва К-31 Русакову К.В. Факс: 927.25.47

© ГРАНИ-GRANI

Индекс 73078

Подписано к печати 12.09.1994. Формат 84 x 108 1/32.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20.

Усл. кр.-отт.15. Уч.-изд. л.16. Тираж 3000 экз.

Заказ №

Отпечатано с оригинал-макета в ДПК.

142040 Моск.обл. г.Домодедово, Пионерская ул., 18.

ЖУРНАЛ "ПОСЕВ"

"Посев" - общественно-политический журнал, выходящий с 1945 года. До 1990 г. "Посев" выходил за рубежом и был органом свободной российской оппозиции, трибуной свободного слова из России. И вот третий год журнал выходит в самой России, следуя своим прежним принципам участия во внутрироссийской политической борьбе за право, свободу и справедливость. Эта задача определяет направленность журнала, который:

- поддерживает российское освободительное движение во всех его гуманных проявлениях;

- стоит на позициях национально-государственных интересов России;

- участвует в обсуждении современных и будущих проблем российского государства (политических, экономических, социальных, идеологических, духовных);

- стремится к выявлению в России конструктивных сил, осознающих необходимость оздоровительных перемен во всех областях жизни страны и готовых к активному участию в их проведении.

Журнал "Посев" выходит 6 раз в год (каждый второй месяц) на 128 страницах.

**Продолжается подписка
на журналы "Грани" и "Посев"
на 1995 год.**

Индекс журнала "ГРАНИ" по каталогу "Роспечати" -
73078 (четыре номера в год)

Индекс журнала "ПОСЕВ" по каталогу "Роспечати" -
73308 (шесть номеров в год)

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

Начиная с осени 1994 года Вы имеете возможность подписаться на журнал "ГРАНИ" непосредственно через новый отдел подписки филиала издательства "Посев" в Москве. Это хорошая возможность получать журнал строго в срок, в нашем конверте и наложенным платежом - *значительно дешевле* традиционной подписки в "Роспечати". Экономия средств - от 40% до 600% в зависимости от региона. На первое полугодие 1995 года каждый номер журнала будет стоить Вам всего *одну тысячу шестьсот* рублей плюс пересылка бандероли. Талон абонеента на льготную подписку на первое полугодие 1995 года напечатан на вкладыше.

При отсутствии талона абонеента Вы также можете оформить подписку на журнал "ГРАНИ" - перечислив почтовым или банковским переводом (по Вашему выбору) **ТРИ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ** рублей издательству "Посев" в Москве

(за два номера журнала, т.е. за первое полугодие 1995 г.).

АДРЕС ДЛЯ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ: 103031 Россия Москва К-31
Русакову К.В.

НОМЕР СЧЕТА ДЛЯ ОПЛАТЫ ЧЕРЕЗ БАНК: Расч.счет 1810591 в Марьиноорошинском ОСБ; ОПЕРУ МБ СБ РФ в г.Москве. Кор./счет банка 164110, код ВА; МФО 201906. Новый МФО 44583342 (указывать оба МФО). На бланках переводов напишите: "Посев-Филиал", "Журнал ГРАНИ -подписка на первое полугодие 1995 г.".

Точно укажите **ВАШ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС**
С ИНДЕКСОМ - по нему к вам будет высыпаться журнал.

ISBN 5-85824-002-X